

*НОВЫЙ
Журнал*

112

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карнович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать второй год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1973
Quarterly No. 112
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Н. Эрдман</i> — Самоубийца	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	25
<i>В. Шаламов</i> — Геркулес. Ягоды	27
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	33
<i>А. Кузнецов</i> — Августовский день	34
<i>И. Елагин</i> — Стихи	55
<i>В. Эллис</i> — В бегах	56
<i>Сусанна Мар</i> — Стихи	71
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	73
<i>Вас. Бетаки</i> — Стихи	91
<i>А. Донсков</i> — Предвестники «Вишневого сада»	93
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	100
<i>Н. Натова</i> — Столетие «Бесов» Достоевского	102
<i>Виолетта Иверни</i> — Стихи	118
<i>В. Вейdle</i> — Звучащие смыслы	120
<i>А. Величковский</i> — Стихи	148

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>А. Раппопорт</i> — Русский суд до революции	149
<i>Ю. Кротков</i> — КГБ в действии	163
<i>Ж. Медведев</i> — Рассказ о родителях	190
<i>М. Грин</i> — Из дневников И. А. Бунина	208
<i>Г. Струве</i> — Из переписки З. Гиппиус с М. Кантором	227

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Г. Андреев</i> — Только верой	240
<i>Д. Анин</i> — Н. В. Валентинов о Ленине	262
<i>Е. Каннак</i> — П. Дэкс об СССР и Солженицыне	276
<i>Р. Рутман</i> — Уходящему — поклон. Остающемуся — братство	284
<i>Ж. Медведев</i> — Конец «инакомыслия» или урок на будущее?	298

БИБЛИОГРАФИЯ: *Ю. Иваск. В. Вейdle. О поэтах и поэзии.*

<i>Письмо в редакцию</i>	308
--------------------------------	-----

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011



САМОУБИЙЦА

Николай Робертович Эрдман родился в 1902 году и был по происхождению из семьи прибалтийских обрусевших немцев. Один из самых ярких талантов среди советских драматургов двадцатых годов, он начал с того, что написал для Театра Сатиры в Москве ряд миниатюр и много пародийных и агитационных пьес. Из этого опыта работы Эрдмана в Театре Сатиры выросла его первая большая пьеса, *Мандат*, написанная в 1924 году. Премьера состоялась 20 апреля 1925 года в театре имени Мейерхольда, и постановка сразу получила общее и единодушное признание. Согласно историкам театра, это был один из немногих спектаклей Мейерхольда, о которых не спорили, а которыми все дружно восхищались. Сам Мейерхольд оценивал комедию Эрдмана исключительно высоко. На 100-м представлении *Мандата*, 20 марта 1926 года, он огласил приветствие актерам, как «создателям масок первой советской комедии». («Правда», 25 марта 1926 года). Он считал, что «наибольшую художественную ценность комедии составляет ее текст», («Вечерняя Москва», 6 апреля 1925 года), и заявил, что «основная линия русской драматургии — Гоголь, Сухово-Кобылин — найдет свое блестящее продолжение в творчестве Николая Эрдмана, который стоит на прочном и верном пути в деле создания советской комедии». («Вечерняя Москва», 23 марта 1925 года).

«Блестящее продолжение», увы, не осуществилось. Вторая большая пьеса Эрдмана, *Самоубийца*, написанная в 1928 году, не уступала *Мандату* в сатирической и языковой остроте. Комедией увлеклись сразу и Мейерхольд и МХТ, и в обоих театрах энергично приступили к репетициям, причем Мейерхольд вызвал МХТ на «социалистическое соревнование» в отношении *Самоубийцы*. Однако, когда Мейерхольд показал подготовленные отрывки из пьесы на закрытом просмотре в 1932 году, комедия разрешения не получила: пьеса отпала, отпала она и в МХАТе.

Эрдман, подавленный судьбой *Самоубийцы*, новых пьес не писал.* С тех пор он перешел на литературную поденщину. В середине

*Это не точно. Н. Эрдман написал еще одну пьесу «Заседание о смехе», которая вызвала негодование властей. И за нее то он и попал в Сибирь. РЕД.

В виду обилия материала мы к сожалению в этой книге даем только первое действие «Самоубийцы». РЕД.

Copyright by The New Review, New York, 1973

тридцатых годов он был арестован и отправлен в ссылку на три года в Енисейск и Томск, после чего ему разрешили переехать в Калинин. Во время войны Эрдман служил в советской армии. Умер он в Москве в 1970 году.

До сих пор его пьесы *Мандат* и *Самоубийца* не публиковались в Советском Союзе. Под конец 1960-х годов, Театр Киноактера в Москве сделал попытку возобновить постановку *Мандата*, но не смог привести замысел в исполнение. Незадолго до смерти, Эрдман, уже лежа в больнице, узнал, что *Самоубийца* наконец-то увидел свет рампы, но не в Советском Союзе, а в Цюрихе; пьеса в пределах Советского Союза никогда и нигде не ставилась.

Л. Милн (Кембридж)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

(Комната в квартире Семена Семеновича. Ночь)

Явление первое

*(На двуспальной кровати спят супруги Подсекальничковы
Семен Семенович и Мария Лукьяновна)*

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Маша, а Маша, Маша, ты спишь?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА *(кричит)*: Ааааа...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что ты, что ты — это я.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты, Семен?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Маша, я хотел у тебя спросить.
Маша... Маша, ты опять спишь? Маша!

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА *(кричит)*: Ааааа...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что ты, что ты — это я.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Это ты, Семен?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну да, я.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты, Семен?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Маша, я хотел у тебя спросить.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Ну... Ну чего ж ты, Семен... Себя!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Маша, я хотел у тебя спросить. Что
у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Чего?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я говорю — что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Ну, знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала, но чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал — этого я от тебя ожидать не могла. Это

такая нечуткость, такая нечуткость! Целые дни я как лошадь какая-нибудь или муравей работаю, так вместо того, чтобы ночью мне дать хоть минуту спокойствия, ты мне даже в кровати такую нервную жизнь устраиваешь. Знаешь, Семен, ты во мне этой ливерной колбасой столько убил, столько убил... Неужели ты, Сеня, не понимаешь: если ты сам не спишь, то ты дай хоть другому выспаться... Сеня, я тебе говорю или нет? Семен, ты заснул, что ли? Сеня!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ааааа...

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты, что ты — это я.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Это ты, Маша?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Ну да, я.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что тебе, Маша?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Я говорю, что если ты сам не спишь, то ты дай хоть другому выспаться.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Погоди, Маша.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Нет, уж ты погоди. Почему же ты в нужный момент не накушался? Кажется, мы тебе с мамочкой все специально, что ты обожаешь, готовим, кажется, мы тебе с мамочкой больше, чем всем, накладываем.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А зачем же вы с вашей мамочкой мне больше, чем всем, накладываете? Это вы не задаром накладываете, это вы подчеркнуть перед всеми желаете, что вот, мол, Семен Семенович нигде у нас не работает, а мы ему больше, чем всем, накладываем. Это я понял, зачем вы накладываете, это вы в унизи­тельном смысле накладываете, это вы...

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Погоди, Сеня.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, уж ты погоди. А когда я с тобой на супружеском ложе всю ночь голодаю безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Да разве я, Сеня, выгадываю? Голубчик ты мой, кушай, пожалуйста. Сейчас я тебе принесу. *(Слезает с кровати. Зажигает свечу. Босая, со свечкой в руке, идет к двери)*. Господи, что же это такое делается? А? Это же очень печально так жить. *(Уходит в другую комнату)*.

Явление второе

(Темно. Семен Семенович молча лежит на двуспальной кровати)

Явление третье

(В комнату возвращается Мария Лукьяновна. В одной руке у нее свеча, в другой тарелка. На тарелке лежит колбаса и хлеб)

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Тебе, Сенечка, как колбасу намазывать — на белый хлеб или на черный?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Цвет для меня никакого значения не имеет, потому что я есть не буду.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Как не будешь?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Пусть я лучше скончаюсь на почве ливерной колбасы, а есть я ее все равно не буду.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Это еще почему?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Потому что я знаю, как ты ее хочешь намазывать. Ты ее со вступительным словом мне хочешь намазывать. Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь, а потом уже станешь намазывать.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Ну знешь, Семен...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Знаю. Ложись.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ложись, я тебе говорю.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Вот намажу и лягу.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, не намажешь.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Нет, намажу.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Кто из нас муж, наконец, ты или я? Ты это что же, Мария, думаешь: если я человек без жалованья, то меня уж можно на всякий манер регулировать? Ты бы лучше, Мария, подумала, как ужасно на мне эта жизнь отражается. Вот смотри, до чего ты меня довела. *(Семен Семенович садится на кровати. Сбрасывает с себя одеяло. Кладет ногу на ногу. Ребром ладони ударяет себя под колено, после чего подбрасывает ногу вверх)*. Видела?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что это? Сеня!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нервный симптом. *(После этих слов Семен Семенович снова ложится и накрывается одеялом)*.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Так, Семен, жить нельзя. Так, Семен, фокусы в цирке показывать можно, но жить так нельзя.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как это так нельзя? Что же мне, подыхать, по-твоему? Подыхать? Да? Ты, Мария, мне прямо скажи, ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего до-

могаешься. И доможешься. Только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария, ты — сволочь.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА:

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Сволочь ты! Сукина дочь! Чорт!

(Подсвечник вываливается из рук Марии Лукъяновны, падает на пол и разбивается. В комнате снова совершенно темно.

Пауза)

Явление четвертое

(В темноте в комнату входит Серафима Ильинишна)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Объясни ты мне, Маша, пожалуйста, почему у вас ночью предметы падают? А? Вы всех в доме так перебудите. Маша! А Маша! Маша, ты плачешь, что ли? Семен Семенович, что такое у вас здесь делается? Семен Семенович! Маша! Я тебя, Маша, спрашиваю. Почему ты, Мария, плачешь? Почему ты молчишь? Мария!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Принципиально.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Господи Боже ты мой, это что же за новые новости за такие? А?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Пусть Семен говорит, а я говорить не буду.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Семен Семенович! А Семен Семенович! Почему вы молчите, Семен Семенович?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Это он из нахальства, мамочка.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вы зачем же, Семен Семенович, пантомиму такую устраиваете? А? Семен Семенович!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Сеня!... Семен!...

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Семен Семенович!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: А вдруг с ним удар, мамочка?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ну что ты, Мария! С чего это? Что ты? Семен Семенович!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Я пойду посмотрю, мамочка. *(В темноте раздаются осторожные шаги Марии Лукъяновны).* Сеня!... Сеня!... Семен!... Мамочка!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что случилось?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Зажигай свечку.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Боже мой, что с ним?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Зажигай свечку, тебе говорят.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Где она? Где?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: На полу она, мамочка, на полу. Шарь, мама, на полу. На полу шарь. Сеня, голубчик ты мой, не пугай ты меня, пожалуйста! Сеня!... Мамочка, что же ты?

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Я, Маша, ползаю, ползаю.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Ты не там, мама, ползаешь. Ты у фикусов ползай, у фикусов. *(Наступает тишина, затем что-то падает)*. Господи, что это?

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Фикус, Машенька, фикус.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Я с ума сойду, мамочка, так и знай.

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Обожди, Машенька, обожди, я еще у комода не ползала. Мать Пресвятая Богородица, вот она!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Зажигай ее, зажигай!

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Обожди, Машенька, я сейчас. *(Чиркает спичку)*

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Я больше, мамочка, ждать не могу, потому что здесь ужас что делается.

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: *(подбегая со свечкой)*: Что же с ним? Что?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА *(откидывая одеяло)*: Видишь?

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Нет.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: И я нет.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Нет его, мамочка! И постель вся холодная. Сеня!... Сеня!... Ушел!

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Как ушел?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Так ушел. *(Мечется по комнате)* Сеня!... Сеня!...

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА *(со свечкой, заглядывая в соседнюю комнату)*: Семен Семенович!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА *(подбегает к кровати)*: Свечку! Свечку сюда! *(Выхватывает у Серафимы Ильинишны свечку ставит ее на пол, становится на колени и смотрит под кровать)*. Батюшки мои, у самой у стенки! *(Лезет под кровать)*.

СЕРАФИМА ИЛЫНИШНА: Что ты, Маша? Куда ты? Очухайся!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА *(из-под кровати)*: Я на улице, мама, на улице. *(Вылезает с дамскими ботинками в руке)*. Вот они. *(Начинает надевать)* Подавай, мама, юбку. *(Серафима Ильинишна бросается к комоду)* Свечку, свечку оставь. *(Сера-*

фима Ильинична бросается к кровати, ставит свечку и снова бросается к комоду). Стой, я сама. (Останавливает Серафиму Ильиничну. Подбегает к стене и срывает с гвоздя юбку).

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Да куда же ты, Машенька? Бог с тобой.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Воротить его надо, обязательно воротить. Он в таком состоянии, в таком состоянии. Он в кровати мне даже симпом показывал.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Матерь Божия!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Знаешь что?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ну?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вдруг он что-нибудь над собой сделает?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что ж ты раньше, Мария, ду-мала? Обувайся скорей! Обувайся!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Кофту, кофту давай!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Слава Господу Богу, штаны!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что штаны?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вот штаны. Раз штаны здесь, значит и он здесь.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: А что, если он без штанов ушел? Он в таком состоянии, в таком состоянии...

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Человек без штанов что без глаз, никак он уйти не может...

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Ну, а где же он, мамочка?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Он должно быть по надобности.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вот он там над собой и сделает.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Как это? Что ты?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Очень просто. Пук и готово.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Мать Пресвятая Богородица!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Как же нам быть теперь? А? Вдруг он...

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Тише!... Слышишь?...

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Нет! А ты?...

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: И я ничего не слышу.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Господи, ужас какой! Я пойду постучусь к нему, мамочка, будь что будет.

Явление пятое

(Мария Лукьяновна уходит. Серафима Ильинишна обращается лицом к иконе и осеняет себя крестом)

Явление шестое

(Вбегает Мария Лукьяновна)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица...

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Дверь на крючке и не открывается.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: А ты с ним разговаривала?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Разговаривала.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ну, и что же он ?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: На вопросы не отвечает и звука не подает.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Как же мы, Машенька? А?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Я сейчас Александра Петровича разбужу, пусть он, мамочка, дверь выламывает.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Александра Петровича беспокоить нельзя.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Как нельзя?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Александр Петрович мужчина под впечатлением. Он на прошлой неделе жену схоронил.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Вот и чудно, что схоронил, значит он понимать теперь должен, сочувствовать. *(Подбегает к дверям)*.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Как бы, Машенька, хуже не вышло.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Все равно, нам мужчина необходим. Без мужчины нам, мама, не справиться. *(Стучит в дверь)* А не может быть, мамочка...

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что, что, я не знаю что, мало ли что. *(Подбегает к Серафиме Ильинишне)* Ты сходила бы, мама, послушала, вдруг он там зашевелится. *(Серафима Ильинишна уходит)*

Явление седьмое

(Мария Лукьяновна подбегает к двери)

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА *(стучит)*: Александр Петрович!... Товарищ Калабушкин!... Товарищ Калабушкин!...

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Кто там?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Не считите за хамство, товарищ Калабушкин, это я.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: А?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Это я. Подсекальникова.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Кто?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Подсекальникова. Мария Лукьяновна. Здравствуйте!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Что?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вы мне очень необходимы, товарищ Калабушкин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Как необходим?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Как мужчина.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Что вы, что вы, Мария Лукьяновна. Тише!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вам, конечно, товарищ Калабушкин не до этого, но подумайте только, товарищ Калабушкин, я одна, совершенно одна. Что же мне делать, товарищ Калабушкин?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Вы холодной водой обтирайтесь, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что?... Товарищ Калабушкин... А, товарищ Калабушкин!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Тише, чорт вас возьми!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Мне придется, товарищ Калабушкин, дверь выламывать.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ *(за дверь)*: Ради Бога! послушайте! Стойте! Да стойте же! *(Дверь с шумом распахивается)*

Явление восьмое

(В дверях возникает Маргарита Ивановна. Огромная женщина)

МАРГАРИНА ИВАНОВНА: Дверь выламывать? Интересное времяпрепровождение для молоденькой дамочки! Ах вы, шкура вы эдакая, извиняюсь за выражение.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Это как же такое? Помилуйте... Александр Петрович!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы зачем Александру Петровичу набиваетесь? Мы сидим здесь в глубоком трауре и беседуем о покойнице, а вы дверь в это время хотите выламывать.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Да я разве же эту хотела выла-
мывать? Что я, жульница, что ли какая-нибудь.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Современные дамочки хуже
жуликов, прости Господи, так и ходят и смотрят, где кто плохо
лежит. Ах, вы...

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (*высунув голову*): Маргарита
Ивановна!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Что тебе?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Если вы ее бить собираетесь,
Маргарита Ивановна, то я этого вам не советую, потому что вы
здесь не прописаны. (*Голова скрывается*)

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Но позвольте... за что же вы?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: А зачем вы чужого мужчину об-
хаживаете?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Вы не так меня поняли. Уверю
вас. Я же замужем!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Понимать здесь особенно нечего
— я сама замужем.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Но поймите, что он стреляется.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (*высунув голову*): Кто стре-
ляется?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Семен Семенович!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Где стреляется?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Не подумайте лишнего, Александр
Петрович, в уборной. (*Голова Александра Петровича скры-
вается*)

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Кто ж, простите, в уборной
стреляется?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: А куда же безработному больше
пойти?

Явление девятое

(Из двери выскакивает Александр Петрович)

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Так чего же вы, чорт вас возьми,
прихлаживаетесь? Надо что-нибудь делать, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Вот за этим я к вам и пришла,
Александр Петрович. Человек вы воинственный — тиром заве-
дуете, помогите мне с мамочкой дверь к нему выломать.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Почему же вы сразу мне этого не
сказали?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Что ж вы ждете?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Идемте, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Я боюсь — как мы станем ее вылавывать, он возьмет да и выстрелит.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Мы к нему подкроемся и разом, Мария Лукьяновна. Только тише... Вот так, на цыпочках. *(Александр Петрович снимает туфли и крадется к двери, за ним Мария Лукьяновна и Маргарита Ивановна)* Тс...

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Тс... *(Раздается крик: «А!»)*

ВСЕ *(отшатнувшись)*: Ой!

Явление десятое

(В комнату вбегает Серафима Ильинишна)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Не ходите туда! Не ходите!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Боже мой!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Что случилось?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вы представьте себе, пожалуйста, там совсем не Семен Семенович, а Володькина бабушка с той половины.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что ты, мамочка?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Честное слово! Я своими глазами видела. Только что вышла. А я, Маша, как дура, стояла, подслушивала. Тьфу!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Получается ляпсус, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: В этом, мамочка, ты виновата. Я тебе говорила, что он на улице. Умоляю вас, Александр Петрович, побежимте на улицу.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Как же он без штанов и на улицу?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: А скажите, вы в доме везде искали?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Совершенно везде.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Разве только на кухне.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вот на кухне. действительно, не искали. Побежимте на кухню, товарищ Калабушкин. *(Бросаются к двери, Маргарита Ивановна устремляется за ними)*

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Нет, уж вы не ходите за нами, Маргарита Ивановна, — мы вдвоем. *(Убегают)*

Явление одиннадцатое
(Серафима Ильинишна, Маргарита Ивановна)

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: До чего он любитель вдвоем уходить, это прямо психоз у него какой-то. Побежимте, давайте, и мы.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА (*бежит за ней*): Нет, зачем же! Послушайте! Стойте! Да стойте же!

(*В этот момент со стороны кухни в последовательном порядке раздается: слово «Стой!», выкрикнутое Александром Петровичем, грохот захлопнувшейся двери, нечеловеческий визг Семена Семеновича и, наконец, шум падающего тела, после чего наступает совершенная тишина*).

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Это что же такое? Царица небесная!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Кончен бал! Застрелился он, обязательно застрелился.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Как же мы теперь? А?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Я сейчас закричу или что-нибудь сделаю.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Ой, не делайте!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Я боюсь.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Я сама боюсь.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ой! Идут!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Где идут?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ой, несут!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Что несут?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ой, его несут.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Ой, куда несут!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Так и есть, несут!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Ой!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Несут!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Несут!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Чтой-то будет! Чтой-то будет!

Явление двенадцатое
(Александр Петрович почти втаскивает перепуганного Семена Семеновича)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Чтой-то было? Чтой-то было?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Не волнуйтесь, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вы зачем меня держите? Вы зачем... Отпустите! Пустите меня! Пустите!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Не пускайте!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Держите его! Держите!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Где же Машенька? Мама где?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Мама ваша на кухне валяется.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Как валяется?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: В крупном обмороке, Серафима Ильинишна.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ой, да что ж это будет? Святые угодники! *(Убегает из комнаты. Маргарита Ивановна за ней).*

Явление тринадцатое

(Александр Петрович, Семен Семенович)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Виноват! Вы зачем же в карман ко мне лезете? Что вам нужно? Оставьте меня, пожалуйста.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы сначала отдайте мне эту штуку.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что за штуку? Какую штуку? Нету, нет у меня ничего. Понимаете — нету.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я же видел, как вы ее в рот засовывали.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Врете вы, ничего я себе не засовывал. Отпустите! Пустите меня сейчас же!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Хорошо, я пущу вас, Семен Семенович, но вы дайте мне слово, Семен Семенович, что пока вы всецело меня не выслушаете, вы себе над собой ничего не позволите. Я как друга прошу вас, Семен Семенович, только выслушайте, только выслушайте.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Говорите. Я слушаю.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Ну, спасибо. Садитесь, Семен Семенович. *(Усаживает его. Встает перед ним в позу)* Гражданин Подсекальников... Подождите минуточку. *(Подбегает к окну. Раздвигает занавеску. Нездоровое городское утро освещает развороченную постель, сломанный фикус и всю невеселую обстановку комнаты)* Гражданин Подсекальников! Жизнь прекрасна!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, а мне что из этого?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: То есть как это что? Гражданин

Подсекальников, где вы живете? Вы живете в двадцатом веке! В век просвещения! В век электричества!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А когда электричество выключают за неплатеж, то какой же, по-вашему, это век получается? Каменный?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Очень каменный, гражданин Подсекальников. Вот какой уже день как в пещере живем. Прямо жить из-за этого даже не хочется. Тьфу ты чорт! Как не хочется? Вы меня не сбивайте, Семен Семенович! Гражданин Подсекальников! Жизнь прекрасна!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я об этом в «Известиях» даже читал, но я думаю — будет опровержение.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вот напрасно вы думаете. Вы не думайте! Вы работайте!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Безработным работать не разрешается.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы все ждете какого-то решения. С жизнью надо бороться, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Разве я не боролся, товарищ Калабушкин? Вот смотрите, пожалуйста. *(Вынимает из-под подушки книжку)*

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Это что?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Руководство к игре на бейном басы.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Как? На чем?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Бейный бас — это музыка. Духовая труба. Изучить ее можно в двадцать уроков. И тогда открывается золоченое дно. У меня даже смета уже составлена. *(Показывает листок бумаги)* Приблизительно двадцать концертов в месяц по пяти с половиной рублей за штуку. Значит, в год получается чистого заработка тысяча триста двадцать рублей. Как вы сами, товарищ Калабушкин, видите, все уже приготовлено, чтобы играть на трубе. Есть желание, есть смета, есть руководство, нету только трубы.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Это общая участь, гражданин Подсекальников. Что же сделаешь, все-таки надо жить.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Без сомнения надо, товарищ Калабушкин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы согласны?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Согласен, товарищ Калабушкин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Значит, я убедил вас! Спасибо! Ура! Отдавайте револьвер, гражданин Подсекальников.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как револьвер? Какой револьвер?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы опять начинаете. Я же видел, как вы его в рот засовывали.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Боже мой! Я засовывал. Для чего?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы зачем из меня иднота устраниваете? Все же знают, что вы стреляетесь.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Кто стреляется?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы стреляетесь!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Боже мой! Подождите минуточку. Лично — я?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Лично вы, гражданин Подсекальников.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Почему я стреляюсь, скажите, пожалуйста?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Что вы сами не знаете?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Почему — я вас спрашиваю?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Потому что вы год как нигде не работаете и вам совестно жить на чужом иждивении. Разве это не глупо, Семен Семенович?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Подождите минуточку. Кто сказал?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Да уж будьте покойны, Мария Лукьяновна.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ой! Уйдите! Оставьте меня одного. Вон отсюда к чертовой матери!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вот отдайте револьвер, тогда уйду.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, вы сами поймите, товарищ Калабушкин. Ну, откуда я мог бы его достать?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: В наше время револьвер достать нетрудно. Вот Панфидыч револьвер на бритву выменивает.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Неужели на бритву?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: А задаром отдашь! Разрешения нету. Нагрянет милиция. Хоп! Шесть месяцев принудительных. Отдавайте револьвер, Семен Семенович!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Не отдам!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Ну, простите, пеняйте тогда на себя. Я физической силой его достану. *(Хватает его за руку)* Все равно, вам теперь от меня не уйти.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Не уйти! Ну, так знайте, товарищ Калабушкин, если вы моментально отсюда не выйдете, я сейчас же у вас на глазах застрелюсь.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Не застрелитесь!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вы не верите? Хорошо! Я считаю до трех. Раз!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Ой, застрелится!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Два!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я ушел! *(Пулей в свою комнату)*.

Явление четырнадцатое

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Три! *(Вытаскивает из кармана ливерную колбасу)*. Ой, куда же, куда же ее положить? Где тарелка? *(Кладет колбасу на тарелку)* Все как было. До смерти не догадаются. Ну, Мария, стой, я тебе докажу. *(Подбегает к столу, начинает рыться)* Я тебе докажу... как мне совестно жить на твоём иждивении. Ну, стой! Докажу! Вот она! *(Достаёт бритву)* Шведской стали. Отцовская. Эх, наплевать, все равно мне не бриться на этом свете *(убегает)*.

Явление пятнадцатое

(Александр Петрович выходит из своей комнаты. Серафима Ильинишна и Маргарита Ивановна втаскивают бесчувственную Марию Лукьяновну).

СЕРАФИМА ИЛЬНИШНА: Что вы делаете? Что вы делаете? Ноги в руки возьмите. Маргарита Ивановна!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Осторожнее, осторожнее!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы совсем обезумели. Для чего же вы женщину волоком тащите? Ставьте, ставьте ее на пона.

СЕРАФИМА ИЛЬНИШНА: Ну, теперь расстегните все.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: С удовольствием.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Кто здесь?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Все свои, не стесняйтесь, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Где он? Что с ним? Он умер, товарищ Калабушкин?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Умереть он не умер, Мария Лукьяновна, но я должен вам честно сказать — собирается.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Побежимте к нему!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: И не пробуйте даже, Мария Лукьяновна, вы все дело изгадите. Он мне сам говорил. Если вы, говорит, мой порог переступите, я у вас, говорит, на глазах застрелюсь.

СЕРАФИМА ИЛЬНИИШНА: Ну, а вы?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я и так, я и сяк, и молил, и упрашивал — ничего не подействовало.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Здесь приказывать надо, а не упрашивать. Вот пойдите сейчас, заявите в полицию, пусть его арестуют и под суд отдадут.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Нет такого закона, Маргарита Ивановна. К жизни суд никого присудить не может. К смерти может, а к жизни нет.

СЕРАФИМА ИЛЬНИИШНА: Где же выход?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: В трубе, Серафима Ильинишна.

СЕРАФИМА ИЛЬНИИШНА: Как в трубе?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Есть такая труба, Серафима Ильинишна, труба бе, геликон или бейный бас, в этом басы весь выход его и спасение.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Для чего же, простите, ему труба?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Для нажития денег, Мария Лукьяновна. Если эту трубу для него достать, я могу гарантировать, что он не застрелится.

СЕРАФИМА ИЛЬНИИШНА: На какую же сумму такая труба?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Полагаю, рублей на пятьсот или более.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: На пятьсот? Да когда у нас будет пятьсот рублей, он тогда и без этой трубы не застрелится.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Это верно, пожалуй, Мария Лукьяновна.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Нужно будет моим музыкантам сказать, пусть они ему трубу напрокат спротежируют.

СЕРАФИМА ИЛЬНИИШНА: Неужели у вас музыканты свои?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: У нее в ресторане, Серафима Ильинишна, грандиозный оркестр симфонической музыки.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Под названием — трио свободных художников.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ради Бога, голубушка, по-толкуйте с художниками.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Попросите у них.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: И сейчас, не откладывая.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Мы поедем к ним вместе, Маргарита Ивановна. Собирайтесь скорей! *(Маргарита Ивановна и Мария Лукьяновна уходят в комнату Александра Петровича).*

Явление шестнадцатое

(Александр Петрович, Серафима Ильинишна)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Я боюсь, как бы он до трубы не того-с.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Раз вы здесь остаетесь, Серафима Ильинишна, вы его до трубы отвлекайте от этого.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Чем же мне отвлекать?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я вам так предложу, Серафима Ильинишна. Вы ступайте в полном нахальстве в ту комнату и под видом, что вы ничего не знаете, начинайте рассказывать.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что рассказывать?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Что-нибудь отвлеченное: про хорошую жизнь, про веселые случаи. Вообще юмористику.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Я такого не знаю, товарищ Калабушкин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я не знаю. Придумайте. Зять на карте стоит, Серафима Ильинишна, это дело не шуточное. Расскажите ему анекдоты какие-нибудь, кви-про-кво или просто забавные шуточки, чтобы он позабылся, отвлекся, рассеялся, а мы тут подосеем к нему с трубой — и спасли человека, Серафима Ильинишна. Ну, идите, не бойтесь, рассказывайте. *(Уходит в свою комнату)*

Явление семнадцатое

(Серафима Ильинишна останавливается перед дверью)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Боже мой, что я буду ему рассказывать? Ну, была не была. *(Входит в свою комнату).*

Явление восемнадцатое

(Входит Семен Семенович. Беспокойно осматривается. Вынимает из кармана револьвер. Садится за стол. Открывает чертильницу. Отрывает листок бумаги)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(пишет)*: В смерти моей...

Явление девятнадцатое

(Серафима Ильинишна выходит из своей комнаты)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Нету. *(Заметила Семена Семеновича)* Батюшки! С добрым утром, Семен Семенович. Ох, я случай сейчас вам расскажу. Обхохочетесь. Вы про немцев не слышали?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет. А что?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Немцы мопса живого скушали.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Какие немцы?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вот какие не помню, а только скушали. Это муж мой покойный у нас рассказывал. Еще в мирное время, Семен Семенович. Уж мы все хохотали тогда, до ужаса. *(Пауза)* Мопс — ведь это собака, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Мопсов люди не кушают.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ну, а немцы вот скушали.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Всё.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что всё?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Боже мой, что я буду ему рассказывать? А вот тоже случай смешной вроде этого.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вы бы лучше ушли, Серафима Ильинишна...

ЕСТАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вы со смеху помрете, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Не мешайте, я занят. Вы, кажется, видите.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Нет, вы только послушайте. Можете себе представить. Был в военное время у нас в деревне пленный турок, в плену. Ну, конечно, контуженный. Нашим войском контуженный. Всё бывало вот так головою трясет. Умориительно. Что тут делать? Придумали. Вот как вечер, сейчас же народ собирается, кто там хлеба берет — и к нему. Ну, прихо-

дят, на студень, на хлеб показывают, говорят: «Хочешь есть?» Турку до смерти студня хочется, а не может по-русскому говорить. Только вскочет, от голоду весь заволнуется и сейчас же вот так головой затрясет. Будто «нет» затрясет. А народ только этого и дожидается. Моментально обратно всю пищу завертывает. Ну, не хочешь, как хочешь — и по домам. Ох, и смеху что было над этим турком. Что вы скажете?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Убирайтесь сейчас же ко всем чертям! Понимаете?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что вы, что вы, Семен Семенович! Вот тоже был случай при коронации. *(Семен Семенович вскакивает, хватая ручку, бумагу, чернильницу)* Стойте, стойте! Куда вы, Семен Семенович! *(Бежит за ним)* Александр Благословенный во дворцовом парадном жиде прищемил. *(Семен Семенович убегает в соседнюю комнату)*

Явление двадцатое

(Серафима Ильинишна, одна, перед дверью)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Не рассеялся. Где же взять мне еще для него юмористики? Боже мой! *(Убегает за ним)*

Явление двадцать первое

(Из комнаты Александра Петровича выходят: Александр Петрович, Мария Лукьяновна, Маргарита Ивановна)

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Едем, едем скорей, Маргарита Ивановна!

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: А не страшно нам Сеню одного оставить?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Он же с тещей, не бойтесь, Мария Лукьяновна, я ее научил. *(Убегают)*

Явление двадцать второе

(Из соседней комнаты выскакивает Семен Семенович с чернильницей, ручкой и бумагой в руке)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(кричит в дверь)*: Если вы еще раз мне про мопса расскажете, я с вас шкуру сдеру. Не ходите за мной. Идиотка вы старая! *(Захлопывает дверь. Подходит к столу, расправляет листок бумаги. Дописывает)* Не винить. Подсекальщиков.

З а н а в е с

(Окончание следует)

Н. Эрдман

1

Сердце сожмется — испуганный ежик —
В жарких ладонях невидимых Божьих.

Ниточка жизни — лесной паутинкой,
Летней росинкой, слезинкой, потинкой.

Листья в прожилках, как темные руки.
Время грибное, начало разлуки.

Лично известный и лесу, и Богу,
Листик летит воробьем на дорогу.

Крыша, гнездо. И стоит, будто аист,
Время твое, улететь собираясь.

Скоро в ладонях невидимых Божьих
Сердце сожмется — испуганный ежик.

2

Эгейский ветер, шорох слабый
Как будто издавна знаком.
Как в море маленькие крабы,
Часы бегут, бочком, бочком.

В корзине шевелится рак,
Тенистый дворик — вроде сада,
И под навесом полумрак
Курчавых кружев винограда.

Уже созрелый виноград
Ласкают пальцы Навзикаи,
И пьет вино Алкивиад,
Из дали светлой возникая.

А после — комната и мгла,
Ременный пояс, теплый мускул.
Тот запах пота и тепла
(Отчасти укус, больше мускус).

Как Телемах, как Ипполит,
Как тонкий профиль Александра.
И счастье легкое лежит —
Соломинка и саламандра.

3

В серебряном небе звенели хрустальные птицы.
Пустая тюрьма отзывалась Эоловой арфой.
Белел водопад в синеве опустелой больницы.

Гуляли убитые в небе с Марией и Марфой
И раны их пели, как мелкие Синие Птицы.
Кровавые пятна в слезах целовали убийцы.

Последние слезы, как фейерверк, в небе сияли
И Моцарт играл в облаках на хрустальном рояле.

Но ты не поверил, ответил: едва ли, едва ли.
И глухо плеснули угрюмые воды Печали.

4

Каждый листик надеется стать соловьем
И минуты хотят опадать лепестками,
Персик, розовый персик — летать снегирем,
Валуны — вдалеке проплывать облаками.

Хочет вечер безлунный стать «Песней без слов».
И цикады мечтают: они — Геспериды.
О, волшебник Искусство! Лишь несколько слов —
И Плеядами станут сухие акриды.

И колючки на розе — лучами. О, да!
Посмотри: только несколько жестов артиста,
И морская звезда — Голубая Звезда,
И медуза, как чайная роза, душиста.

Игорь Чинюв

ГЕРКУЛЕС

Последним запоздавшим гостем на серебряной свадьбе начальника больницы Сударина был врач Андрей Иванович Дударь. Он нес в руках плетеную из лозы корзину, завязанную марлей, украшенную раскрашенными бумажными цветами. Под звон стаканов и нестройный гул пьяных голосов пирующих Андрей Иванович поднес корзину юбиляру. Сударин взвешивал корзину на руке.

— Что это?

— Там увидите.

Сняли марлю. На дне корзины лежал большой красноперый петух. Он невозмутимо поворачивал голову, оглядывая раскрасневшиеся лица шумливых рьяных гостей.

— Ах, Андрей Иванович, как кстати, — защебетала седая юбилярша, поглаживая петуха.

— Чудесный подарок, — лепетали врачихи. — И красный какой! Это ведь наш любимец, Андрей Иванович, да?

Юбиляр с чувством пожал руку Дударя.

— Покажите, покажите мне, — раздался вдруг хриплый тонкий голос.

На почетном месте в голове стола, по правую руку хозяина сидел знатный приезжий гость, давний приятель Сударина, прикативший еще утром на персональной «Победе» из областного города за 600 верст на серебряную свадьбу друга.

Корзина с петухом явилась перед мутными очами приезжего гостя.

— Да. Славный петушок. Твой, что ли? — перст почетного гостя указал на Андрея Ивановича.

— Теперь мой, — улыбаясь, доложил юбиляр.

Почетный гость был заметно моложе окружавших его

лысых и седых невропатологов, терапевтов, психиатров. Ему было лет сорок. Нездоровое желтое вздутое лицо, небольшие серые глазки, щегольской китель с серебряными погонами полковника медицинской службы. Китель был явно тесен полковнику, и было видно, что он был сшит еще тогда, когда брюшко еще не обозначалось отчетливо и шея еще не наваливалась на стоячий воротник. Лицо почетного гостя хранило скучающее выражение, но от каждой выпитой стопки спирта (как русский, да еще и северянин, почетный гость не употреблял других горячительных) оно становилось все оживленней, и гость все чаще поглядывал на окружавших его медицинских дам и все чаще вмешивался в разговоры, неизменно стихавшие при звуках надтреснутого тенора.

Когда душа-мера достигла надлежащего градуса, почетный гость выбрался из-за стола, толкнув какую-то не успевшую отодвинуться врачиху, засучил рукава и стал поднимать тяжелые лиственничные стулья, ухватя заднюю ножку одной рукой, то правой, то левой попеременно, демонстрируя гармонию своего физического развития.

Никто из восхищенных гостей не мог поднять столько раз те стулья, которые поднимал почетный гость. От стульев он перешел к креслам, и успех по-прежнему сопутствовал ему. Пока поднимали стулья другие, почетный гость своей могучей дланью привлекал к себе молоденьких розовых от счастья врачей и заставлял щупать свои напряженные бицепсы, что врачихи исполняли с явным восхищением.

После этих упражнений почетный гость неистощимый на выдумки перешел к национальному русскому номеру: рукой, поставленной на локоть, он прижимал к столу руку противника, поставленную в том же положении. Серьезного сопротивления седые и лысые невропатологи и терапевты оказать не могли, и только главный хирург продержался несколько дольше других.

Почетный гость искал новых испытаний для своей русской мощи. Извинившись перед дамами, он снял китель, немедленно подхваченный и повешенный на спинку стула хозяйкой дома.

По внезапному оживлению лица было видно, что почетный гость что-то придумал.

— Я барану, барану, понимаете, головы назад заворачиваю. Крак и готово. — Почетный гость поймал за пуговицу Андрея Ивановича.

— А у этого твоего... подарка — у живого голову оторву, — сказал он, любуясь произведенным впечатлением. — Где петух?

Петуха извлекли из домашнего курятника, куда он был уже выпущен рачительной хозяйкой. На севере все начальники держат в квартирах (зимой, конечно) по несколько десятков кур; холосты начальники или женаты — во всех случаях куры очень, очень доходная статья.

Почетный гость вышел на середину комнаты, держа в руках петуха. Любимец Андрея Ивановича лежал все так же спокойно, сложив обе ноги и свесив на сторону голову. Андрей Иванович года два таскал его так в своей одинокой квартире.

Мощные пальцы ухватили петуха за шею. На лице почетного гостя сквозь нечистую толстую кожу проступил румянец. Движением, каким разгибают подковы, почетный гость оторвал голову петуха напрочь. Петушья кровь забрызгала отглаженные брюки и шелковую рубашку.

Дамы выхватили душистые платочки, бросились наперерыв вытирать брюки почетного гостя.

Одеколону!

Нашатырным спиртом!

Водой холодной замойте!

Но сила, сила! Вот это по-русски! Крак — и готово, — восхищался юбиляр.

Почетного гостя потащили в ванную отмываться.

— Танцевать будем в зале, — суетился юбиляр. — Ну, геркулес...

Завели патефон. Зашипела иголка.

Андрей Иванович, выбираясь из-за стола, чтобы принять участие в танцах (почетный гость любил, чтобы все танцева-

ли), наступил ногой на что-то мягкое. Наклонившись, он увидел мертвое петушиное тело, безголовый труп своего любимца.

Андрей Иванович выпрямился, огляделся и ногой задвинул мертвую птицу поглубже под стол. Затем торопливо вышел из комнаты — почетный гость не любил, когда опаздывали на танцы.

ЯГОДЫ

Фадеев сказал: — Подожди-ка, я с ним сам поговорю, — подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы. Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы — у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой — и конвоиры, и заключенные — всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я — лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

— Слушайте, старик, — сказал он, — быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы — явный симулянт. Вы — фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

— Я не фашист, — сказал я, — я — больной и голодный человек. Это ты — фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением — я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше.

— Послушайте, — сказал Фадеев, когда повернул меня

лицом к небу носками своих сапог. — Не с первым с вами я работаю, и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир — Сорошанка.

— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой...

Началось избиение. А когда кончилось:

— Понял?! — сказал Сорошанка.

— Понял, — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленную кровавую слюну. Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей — они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Сорошанка вывел нас на работу — в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой — пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Сорошанка «развесил вешки», связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками «запретную зону».

Наш бригадир развел на пригорке костер для Сорошанки — костер на работе полагался только конвою, — натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндеветная трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темнолиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубицы — яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе непохожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш «перекур» и даже в те минуты, когда Сорошанка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду — сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи — хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам «зоны» — вешки повисли над нашей головой.

— Смотри-ка, — сказал я Рыбакову, — вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела ветка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце, и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

— Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительным.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и Бог весть — сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды — я ведь знаю, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел, — сказал Серошапка, — да ведь не сунулся, сволочь!..

В. Шаламов

ПРОГРАМКА

Высоким театральным ярусом
Нам будет нынешний апрель,
Листок программки — нашим парусом
И нашим небом — акварель.
И вместе с удлиненьем света
И хрустом почек — мы вдвоем
Как легкий ялик из газеты
По дням и суткам поплывем.
И сокрушая косность узости
И будни Моцартом круша
Листок программки брызнет музыкой
И хлынет оперой душа.
Мы встретимся на стыке узком
Бродвея и Сорок Второй,
А вечером, когда в Бургундском
Заря встречается с зарей,
Когда заря зарю вбирая,
Нам улыбается хитро,
Как «Похищение из Сераля»
Или «Женитьба Фигаро»,
Как только день пойдет на убыль,
Сверкая огненной рекой,
За гулкой площадью Колумба
Ударит в клавиши Линкольн.
А я пишу стихи на случай
Поверх программки для тебя
И из варьянтов самый лучший
Дарю, немного поскребя.
Другие выпущу в окошко
С двенадцатого этажа:
Пускай проветрятся немножко
В гранитных выступах кружа.
Строфа, на солнце бронзовея
И чувство высоты любя,
Как змей, над крышами Бродвея
Взмывает, Моцартом трубя,
И нашим будущим апрелем
И шумом и скоплением дел,
Которые всегда — острее,
Чем наш сегодняшний предел.

О. Ильинский

АВГУСТОВСКИЙ ДЕНЬ

Разбирали дело о зверском убийстве без повода. В доме директора сельской школы были зарублены топором его жена, двое детей, а сам он обнаружен висящим на веревке, закончивший, в кладовке.

Способ повешения был странный: запястья рук директора были обвязаны кусками веревки, руки заведены за спину, и веревочные кольца на запястьях соединены и заперты висячим замком, ключ от которого не нашли.

Возникло подозрение об убийстве и последующей симуляции самоубийства. Однако, в доме и на окровавленном тополе не отыскали следов кого-либо постороннего.

Более недели в колхозе работал следователь, опросил десятки людей, но дело не прояснилось. Все показали, что убитый, или убийца, очень любил жену и детей, врагов не имел, зарабатывал прилично, и жена его тоже — она была заведующей птицефермой. В общем, жизнь семьи была благополучна и счастлива.

На всякий случай арестовали школьного сторожа-истопника, на том основании, что накануне он заготавливал директору дрова на зиму — как раз тем самым топором. Он содержался в районной тюрьме, толку от него не добились, он рыдал и клялся, что непричастен, хоть его и пробовали бить слегка и прочее.

Приехали из района сам прокурор по фамилии Попелюшко и начальник милиции Крабов, скорее для очистки совести, так как ничего нового не смогли выяснить.

В конце концов дело их измучило, надоело, обмусоленное со всех сторон. Свидетели, которые наплели три короба вздора и ничего по существу, были отпущены. Прокурор с начальником милиции собрались уезжать.

Они присели на дорогу в кабинете председателя колхоза — выкурить по сигарете. Настроение было ниже среднего, еще кабинет нагонял уныние. Он был пуст до неприличия, из мебели только стол и продавленный диван, по углам усеянный высохшими оболочками клопов. У окна красовался пыльный пук кукурузных стеблей, призванный свидетельствовать о неких феноменальных урожаях, а на голом столе — стеклянная пепельница с водой, из которой веером торчали размокшие окурки.

Курили по пятой сигарете, давно пора было ехать. Но августовское солнце так щедро жгло, воздух был так горяч и раскален, что никто не отваживался подняться первым. Говорили о разных хищениях, нарушениях, скрывая досаду, что бессмысленно тащились так далеко, и зудело ощущение, что — вдруг маленькое усилие, зацепись крючочек за какую-то нить, и вытащилось бы такое...

Может, только казалось? Из-за жары, полднейной одури, нежелания трястись на раскаленном фиолетовом милицейском мотоцикле, ожидавшем на улице под окном.

На этом мотоцикле, обпылившись и изжарившись до последней степени, они приехали из района втроем: за рулем начальник милиции Крабов, за его спиной прокурор Попелюшко, в коляску из вежливости посадили председателя колхоза Савина. Километров за десять до колхоза заднее седло под прокурором выстрелило и сломалось. Пересадили прокурора в коляску, на седло сел тощий Савин, и так с грехом пополам дотащились.

Все потому, что прокурор был чудовищно толст. У него были тумбоподобные слоновьи ноги, руки в рыжих волосах и веснушках раздулись как баллоны, под огромной жирной головой — пять или шесть подбородков, из-за необъятного живота он никогда не видел, куда ступает. Как выражался Крабов, нерачительная природа, по какому-то, видимо, блату, отпустила ему столько материала, что хватило бы с избытком троим смертным, то-есть налицо перерасход и растрата. Ему делали одежду персонально, в обкомовском спецателье. Вышитая сентиментальными цветочками рубаха была объемом

с одноместную палатку, в штанины брюк вошло бы по человеку. На больных ногах Попелюшко носил не ботинки, а растоптанные матерчатые тапочки; на голове — соломенную шляпу и очки, которые уменьшали и без того заплывшие глазки и сами казались несоразмерно крохотными на лопающемся от сала поросячье-розовом лице. Зато на затылке у него вились артистические кудри, делавшие его похожим на писателя Алексея Толстого, чем он втайне гордился. Гигант этот был хворый, мучился одышкой, голос у него был тонкий; он страдал от духоты более других и непрестанно утирался платком.

Как на смех, начальник милиции был длинен и худ, как жердь, являя разительный контраст коллеге. Если природа по благу дала прокурору гору пухлого теста, то Крабову, видимо, теста не осталось, пошли в ход чурбаки, черепки, дубины, разные жесткие ошметки, какие удалось наскрести. Он весь ушел в жилу и бугры, черты лица были резки и преступны, он еще испортил себя прической с коротким чубчиком, делавшей его похожим на беспризорника или битого боксера.

— Подвязать седло проволокой разве, — размышлял он вслух сиплым пропитым басом. — А вы, прокурор, поедете в коляске, и молитесь всю дорогу, чтоб выдержала.

— Проволоки я сейчас принесу, — сказал председатель Савин, не делая, впрочем, никакого движения. — А то можно в кузню, хлопцы приклепают, если не пьяные.

— Хрен с ним, доедем...

— Говорят, у вас на складе украли пять мешков пшеницы? — тоненько, задыхаясь, пропищал гигант-прокурор.

— Кто украл? — насторожился милиционер.

— Откеда я знаю? — развел руками председатель. Возчики, может, на самогон.

— Ну, нар-род... Заявили?

— На фиг? — удыбнулся председатель. — Пустяк... Фу ты, мерзавцы, уже успели донести.

— Так у вас все пустяк, а потом убийства, работай тут, — проговорил милиционер.

— Ах, оставьте, не заедайтесь! — простонал бессильно

прокурор. — В такую жару не работать — сидеть по горло в пруде.

Савин задумчиво посмотрел сквозь пыльное окно.

— Это вообще можно, — сказал он. — Пруд есть. Не очень пруд, но вода. Может, правда, искупаться?

— А что? Идея! Давайте в самом деле, — оживились гости.

Все трое поднялись, — при чем Крабов сразу снял гимнастерку, — вышли из конторы и направились гуськом к пруду. Впереди пошел добродушный, невзрачный Савин, за ним, выступая, как журавль, начальник милиции в белой, взмокшей от пота, майке, а прокурор, тяжело сопя, загребая тапочками пыль, с первых шагов отстал, и на него из-под лопухов загоготали и зашипели гуси.

Деревня была безлюдна, как вымерла. Вдоль пустынной улицы виднелись кое-где под плетнями куры, лежавшие в пыли, открывшие пересохшие клювы, и еще одна древняя-древняя старуха, вся в черном, отрешенно сидела в тени крыльца, опираясь на суковатую палку, она проводила прохожих тусклым, недобрый взглядом.

— Прудов у нас, правду говоря, два, — объяснил Савин. — Верхний — Утятник, в нем уток разводим, а нижний, Утопелец, пока пустует.

— Что за название такое веселое? Глубок?

— Лужа. Да лет семь тому старый председатель в нем утопился.

— Спьяну?

— Черт его знает, вроде не. Не выяснили. Хочу утками занять. Жрут только много утки. Одни перерасходы, в гроб его...

— Эт-та что ж такое?! — вдруг, насторожившись, спросил милиционер и остановился, вслушиваясь, как гончий пес.

Где? — удивленно спросил Савин.

Кричат!

Откуда-то, из-за куп деревьев, донесся все нарастающий панический крик народу, тысяч народу, какие-то гулкие удары,

выкрики, скрежет и сплошное «ала-ла-ла-ла...» Глаза прокурора округлились, милиционер автоматически потянулся рукой к кобуре. В крике слышались ноты предельного отчаяния.

— Так утки же, — сказал Савин, улыбаясь. — Это их кормят на верхнем пруду. Мы привыкли, не слышим.

— Так много?

— Двадцать восемь тысяч.

— Фью!

Они вышли на склон и теперь своими глазами увидели большой загороженный пустырь, усеянный, словно пухом из разорванной подушки, белыми живыми точками. Ничего не росло на грязеподобной от помета земле, за исключением островка крапивы в одном месте, высокой, как молодые деревца, жесткие стволы ее были обглоданы так высоко, как только птицы могли достать.

Неизвестно, где кончалась земля и начиналась вода, потому что утки сплошной массой покрывали берег и пруд, двигались, как в водовороте, концентрическими кругами, стремясь к центру, где маячила фигурка работницы, и там творилось нечто подобное кипящему котлу. Видимо, птицы были свирепо голодны.

Кусты под изгородью зашевелились, вышел хромой черный человек, неся в обеих руках за лапы, как охотник, с дюжину мертвых уток, крылья волочились по земле. Взглянул волком и круто ушел снова в кусты.

— Эт-та что, зачем он? — закричал подозрительно милиционер; был такой шум, что приходилось кричать.

Дохнут, окаянные!

— Почему?

— А я знаю? Дак столько тысяч — и с голоду, и которая какую дрянь сглотнет, и затопчут при корыте. Почитай, целый город народу, так сказать процент смертности. Как у людей ведь.

— Ах, это заведующая этой фермы и была убитая? спросил прокурор, близоруко вглядываясь сквозь очки.

— Ну да, заведующая птицефермой.

— Не обнаружены ли здесь хищения?

— Какие там хищения! Средь этих уток самому б живому быть.

— Сколько сторожей держите? — деловито поинтересовался милиционер.

Вот этот один, хромой.

— На такое хозяйство? Не мало?

— Нет. Собственно, и ему делать нечего, разве вот дохлых собирает.

Что он за человек?

— Хороший человек.

— Скажите пожалуйста, неужели не воруют? — недоверчиво покачал головой прокурор, разглядывая кое-как натыканную, гнилую изгородь, которую перешагнул бы и теленок.

— Заграждения слабы, — согласился Савин. — Воровать не воруют, но сами иногда сквозь щели уходят. На Утопелец, там их трудно взять.

— Списываете или как?

— Зачем? Далеко не уйдут. Ха-ха, куда им от своей судьбы уйти? Как больше соберется, тогда гоним их лодкой. На воле им лафа, бывает, неделями живут, отъедаются похлеще, чем на наших харчах.

— Помилуйте, но я не совсем понимаю: ведь так каждый может взять утку без спросу! — воскликнул прокурор.

А кому они там нужны.

Вы ее сперва поймите попробуйте, — заметил Крабов.

Ночью можно, спящую.

Закричит!

Ну, я не знаю, но уж каким-нибудь способом, народ на выдумки хитер. Как не нужны? Что, у вас в колхозе от мяса столы ломаются?

— Нет, не ломаются. Утку мы сдаем государству. По счету.

— Тогда не понимаю, все это очень странно...

Ответы Савина прокурору не понравились, он пожимал плечами и все оглядывался на гнилую изгородь.

На склоне к нижнему пруду негусто были разбросаны вишневые деревья, усеянные чернеющими ягодами. Среди них паслись две стреноженные лошади, третья распуталась и бродила, волоча за собой веревку.

Крабов оглядел всё и остался недоволен:

— А сад у вас совсем скверно охраняется.

— Это не сад. Это так, вишни, — беззаботно сказал Савин. — Беспризорные — общественные.

— Как — безпризорные?

— Да они нерентабельны. Был когда-то давно на этом месте старый барский сад, потом захирел, в войну «катюшами» выжгло, и не восстанавливали, это так, само себе прозябает, дичок.

Прошли мимо десятка деревьев, косясь на спелые вишни, наконец, прокурор не удержался, нерешительно сорвал одну.

— А ничего! — сообщил он и торопливо сорвал еще. Ничего вишня! Крабов, попробуйте.

Начальник милиции, словно нехотя, попробовал.

— Ого, — буркнул он. — В магазине днем с огнем не найдешь, едрена мать, у спекулянтов на базаре два гривенника стакан, а вы говорите нерентабельна.

— Людей нет собирать. Да тара, транспорт, доставка, государство же платит всего-ничего, так и нерентабельно выходит... Вы покушайте, — усмехнулся председатель, видя, что гостям хочется вишен, но вместе с тем они как будто не решаются. — Тут можно поискать, вон то дерево не худое.

— Крабов, идите сюда! — воскликнул Попелюшко, тяжело, с треском, как носорог, продираясь сквозь ветки. — Нет, положительно ничего вишня! Удивительно, до чего вкусна.

Начальник милиции положил на траву гимнастерку и пошел за ним. Оба стали рвать и есть не так чтобы жадно, но довольно споро. Председатель, улыбаясь, сорвал одну-другую вишенку, пососал, морщась, с отвращением.

— Хороша вишня! — сообщил прокурор с полным ртом, обеими руками проворно обирая ягоды. — Ах!... Хороша вишня, м-м.. а вот! Нет, вы идите сюда, сюда идите!

За листвою уже виднелась только его соломенная шляпа, и трещали, тряслись ветки.

Милиционер лакомился молча и обдуманно. Он подтянулся на руках, как ловкий гимнаст, взлетел на ветку, сел в развилку верхом — и торопливо принялся огребать самые спелые гроздья с верхушки, как заправский сорванец, забравшийся в чужой сад и набивающий рот, пазуху, карманы, пока сторож спит.

— Ах! Ох! Что за вишня, какая вишня! — доносился голос прокурора. — Послушайте, Савин.

— Да?

— Я говорю: чем хороша жизнь у вас в деревне... М-м, вот где они спелые, ух, лопаются... У вас природа, здоровье, воздух — за это тысячи отдать. Крабов, да где же вы? Идите, ну, идите же скорее сюда.

Начальник милиции тяжело, с треском сверзся на землю, вытер липкие, в вишневом соке, руки о галифе.

— Сидишь, как сволочь проклятая, мечешься, как пес... — вдруг злобно сказал он.

— Что вы говорите? — переспросил Савин.

— Ничего... Говорю: наряды, вызовы, аресты, обыски, драки, прописки, жида... Света не видишь. Тьфу! Вам не по-
нять.

— Тут тоже хватает, — равнодушно возразил председатель. — За бедами не замечаешь природы этой.

— Ах, хороша вишня, — твердил прокурор с нотками, близкими к истеричным. — Ах, это сказка. Ах, ах, хороша-а-а!..

— Илья, зараза, мурло, прохиндей, что подкормку не возил? — вдруг взревел председатель и исчез за кустами.

Слышно, он остановил телегу, отвратительно ругался, теребя заворачивать, и он знать не знает, что у них там дома, у дармоедов, мордovorотов, пропойц, а чтоб подкормка была сей же минут.

Телега заскрипела, повернула обратно. Савин, красный, сердитый, вернулся, походил вокруг и предложил:

— Да ну ее к растакой матери, эту вишню, может, хотите малины?

— Где малина у вас? — с интересом тотчас спросил прокурор.

— У меня в огороде растет, детей нет, одни насекомые ее едят.

— Что ж раньше не сказал, — обиделся Крабов, утираясь гимнастеркой. — Вишь, сперва кислятиной накормил Плюшкин.

Савин развел руками. Все трое опять гуськом пошли по тропке, но быстрее, чем прежде, и теперь впереди семенил гигант-прокурор, спрашивая: «Куда? Сюда? Сюда?», за ним четко вышагивал Крабов, а председатель плелся последним.

Пролезли сквозь дыру в заборе и очутились в дальнем конце огорода Савина. За яблонями виднелась соломенная крыша его избы. Вдоль изгороди сплошным кустарником росла малина — роскошная, густая, но пополам с крапивой.

— Ах, да хороша малина! — взвизгнул прокурор, немедленно забираясь в самую гущу, набирая на шляпу паутины и сухих листьев. — Крабов! Крабов! Нет, это чудо, это не малина, это чудо. Я помню, однажды как-то в детстве мы... М-м-м!

— А у меня, знаете, с малиной... удивительный случай. Это было в Эстонии, пришли мы арестовать одного в очках... начал было рассказывать Крабов с полным ртом.

Но по листьям хлестко ударил дождь.

Неведомо откуда, как и когда — на небе появились седые низкие тучи, солнце еще скрывалось, а дождь уже хлынул, залопотал, и — недаром парило! — раскатились, один нагоняя другой, разряды грома.

Савин и Крабов бросились под густой вяз, листва которого зашумела, как водопад. Но прокурор только глубже нахлобучил шляпу. Он не мог уйти; поправляя мокрые сползающие очки, он рвал, рвал, отправлял в рот сочные, сладко-кислые, ни с чем не сравнимые ягоды. Савин и Крабов кричали ему, звали под дерево, а он лишь отмахивался.

Под старым вязом было сухо, уютно, как в шалаше; по стволу бежали вверх и вниз муравьи.

— Вы славно живете. Как при коммунизме, — сказал Кра-

бов. — Общественные вишни, уток не воруют, малину никто не ест.

— Ну, этого добра у нас есть, — уклончиво отвечал Савин. — Хорош дождичек, на картошку.

— Да, для картошки хорошо, для всего хорошо. Мотоцикл я собирался мыть, теперь и не надо.

— Пьют у нас, вот где бич, — вдруг глухо сказал Савин. — Словно одичали. Бьюсь, бьюсь, невыходы на работу, драки, сведения счетов, самогон, хамство. Ничего святого. Работать не хотят, а всем все — до лампочки... В зверя вырождается народ. Не кончится это добром.

Ну, пессимизм. Бросьте. И не говорите это нигде.

— Верно. Это я так... Дождик точно, мировой, очень кстати.

Они постояли молча, наблюдая за прокурором. Сквозь листовняной шатер просочилась, наконец, и потекла первая струйка.

— Эх! — махнул рукой начальник милиции и полез под дождь, в мокрые кусты. — Эх, вот когда она свежа!

Чтобы не оставаться одному, председатель, поеживаясь, тоже вышел, сорвал две-три ягодки, потом неожиданно разохотился, стал проворно выбирать.

— С того края заходите, там от солнца она ядренее!

А прокурор, поливаемый дождем, рвал горстями, спешил, чавкал, хлюпал губами, он прямо-таки пришел в исступление; от малинового вкуса его пробирала дрожь; спина желтела под мокрой прилипшей рубахой, штанины были в земле и репьях, со шляпы струйками текла вода, а он все продирался, обжигался о крапиву, бранился, бросался к богатым, щедрым веткам:

— Ах, хороша малина! Ах, хороша-а-а!

— Да, может, в дом пойдем? — сказал председатель, с улыбкой и жалостью глядя на желтую спину прокурора.

— Пойдем, пойдем, Сейчас! М-м...

Дождь, что называется, пришпарил.

Тут уж не выдержал и прокурор. Теряя тапочки, он грузно побежал по картошке, а за ним начальник с председателем.

Они ввалились в сени, хохочущие, толкаясь, как мальчишки; выяснилось, что прокурор бежал с сорванной веткой, которую общипывал на ходу.

— Вот это малина! Ну и малина!

Разулись и вымыли ноги под щедрыми струями, бежавшими с крыши на крыльцо. Дождь перешел в ливень, молнии так и сыпались, с близким шипением. На прокуре не осталось сухой нитки.

— Пропала шляпа, теперь тебе жена всыплет, — сказал Крабов злорадно.

— А мы ее высушим, — жалобно сказал Попелюшко. — Вот бумаги напихаем и высушим.

Хозяин тут же принес ворох газет, стал делать из них ком, но что-то обнаружил и вчитался.

— Что?

— Тьфу ты, — хмыкнул Савин. — Тут меня, оказывается, кроют... а я не читал. За какое это число?

Начальник милиции расхохотался, раскатисто, с кашлем, захлебываясь от смеха:

— Его кроют... ах, ах, а он не читал! Вот это коммунист, ох, держите меня, его, дери его мать, партийная печать кроет, а он... не читал! Ох, умру!

Савин смущенно изучал статью, моргая глазами.

— Полит-организационная работа не на высоте, — с обидой сообщил он. — Вот, нашли корень зла. И жертву. А! Чему быть, того не миновать. Прошу, входите.

Гости вошли в избу.

Сперва была голая — только грубый стол да скамья — маленькая комнатуха, и, полагая, что это пустая боковушка, гости прошли дальше, но там была узкая промежуточная комната поменьше, без стульев, заваленная мешками с зерном, какими-то приборами и пучками овса; они толкнулись еще дальше, но войти не смогли, ибо дальше была только клетушка, вся заполненная двуспальной кроватью, — ею изба кончалась, поэтому им, несколько сконфуженным, пришлось вернуться в первую комнату, принятую за пустую боковушку, но

которая, оказывается, была парадной комнатой дома, а также столовой, судя по валявшимся на столе коркам и обглоданным костям.

Пол давно не подметался, на подоконниках валялись дохлые мухи, и вообще во всем виднелось то унылое запустение, какое способны разводить, кажется, одни немолодые мужчины без женской опеки.

— Хотите мяса поесть? — спросил хозяин, открывая печь.

В печи оказался керосиновый примус, на нем большой, черный от копоти, чугунок с каким-то мутным, с плавающей сажой, варевом. Гости посмотрели и отказались.

— А то давайте, — радушно предлагал Савин, извлекая из чугуна едва ли не целый бараний бок. — Жена моя гостит второй месяц у родителей, а я, как умею, готовлю себе пропитание: знаете, мясо беру, водой залил, соли туда — и ничего...

— И что это у тебя, как я погляжу, не дом, а пещера? — покачал головой Крабов. — Нехорошо. Ты ж номенклатурный человек, а стреха соломенная.

— Да это старый дом. Я председателем только первый год, — добродушно сказал Савин. — Уже там над прудом строюсь. Там и будем устраивать буржуйскую жизнь, а покада жену отправил отдыхать, мне ж одному просторно и, право, как-то все равно.

— Моя жена вечно в городе сидит, — вздохнул Попелюшко. — У тебя детей нет, твоей просто, махнула себе, а ты барана сварил в горшке, обглодал — порядок.

А у вас много детей?

Восемь.

У-у!

Старшие трое в лагере, скоро вернутся.

Однако силен, бродяга, — сказал Крабов. — У меня двое, и то... Но жена у меня, хлопцы, мировая. Преданная, полный друг, эх, какая у меня жена. А вот у него — ведьма.

— Ну, допустим! — обиделся прокурор; ему захотелось тоже похвастать женой, и он сказал: — Она у меня красивая, захотела сбросить десять кило и сбросила, не то что я.

— С такой оравой и сорок кило сбросишь, — заметил Крабов. — Но я что-то не заметил, уж и слониха, в пару тебе. Шучу, шучу!

— Детей бы на лето в деревню вывозить, — мечтательно сказал Попелюшко. — Чтобы они на вишни лазили. Малину бы ели...

Хозяин, улыбаясь, встал и отворил окно. В него ворвался свежий воздух с дождевой пылью, прохладный и вкусный, как ключевая вода. На дворе быстро темнело, часто полыхали молнии. Савин пощелкал выключателем.

Вот мудрецы — как гроза, выключают свет.

— Может, в этом есть какой-то смысл?

— Какой там смысл. Невежество. В Бога не верят, а грома боятся. Иконы порубали, вернулись к язычеству. И домовых видят, и уж заведующую птицефермой убитую видели, как ходит привидением с кровавым топором в голове — из-за этого топора высока, рассказывают. Я говорю: кто встретит, пришлите ее ко мне, для выяснения.

— Однако! — встревожился прокурор. — Шутки шутками, но как же мы теперь поедим?

Дождь продолжался затяжной, и было ясно, что сумерки, пришедшие с ним, уже не разойдутся, а грунтовые дороги развезло и затопило.

— Оставайтесь ночевать, — предложил Савин.

— Не могу. У меня завтра суд, — сказал прокурор. Слушается важное дело, мне надо, хоть расшибись.

— А мне к восьми на службу.

— Так всем надо, — сказал Савин. — И меня вон в горком вызывают зачем-то.

Греть будут?

Конечно уж.

Нет, но как же мы поедем?

— Вы спите у меня, — беззаботно сказал председатель. — В два часа ночи за мной придет машина, я вас разбужу, вместе поедем. Учитывая дорогу, к восьми в город доберемся, а застрянем — скопом вытащим; видите, двойная выгода.

Видя, что гости заколебались, добавил:

— О мотоцикле не беспокойтесь, мои кузнецы починят, потом подошлете милиционера.

Крабову очень не улыбалось ехать на мотоцикле ночью, в грязь, по незнакомым дорогам, и он сообразил, что, как начнут биться в колдобинах, коляска под прокурором точно сломается, как пить дать.

— Идет, — сказал он. — Где у тебя сапоги высушить?

Они развесили мокрую одежду на холодной печке. Прокурор остался в необъятных черных трусах, а милиционер в солдатских холщевых кальсонах, застегивавшихся у пяток на пуговики.

Улеглись вдвоем на хозяйскую кровать. Хотя кровать была двупальная, им было тесно при прокурорской ширине. Савин накинул дождевик и куда-то ушел.

В спальной клетушке была крошечная темнота. Некоторое время лежали молча. Но каждый затаился, боясь потревожить соседа, и знал, что сосед также не спит, а думает о чем-то. И так они думали, думали.

Вдруг сквозь шум дождя донесся отчаянный гам, выкрики, плач, какие-то жуткие завывания и скрежет. Крабов вздрогнул, сперва подумав о привидениях, но тут же вспомнил, что это — крик утиного народа. Что их, наверное, кормят. Но было странно, почему их кормят в темноте? Впрочем, они голодны, ничего удивительного: прибыл корм поздно из-за дождя. Вспомнил странного хромого сторожа и подумал, что охрана никуда не годится, но если председатель не увеличивает, значит здесь воруют как-то иначе, и делают преступления иначе, так что сторожа и наряды милиции бессильны, и это его, как милиционера, вдруг оскорбило, хотя о своем бессилии он знал уже давно.

— Истопника надо выпустить... — сказал прокурор, словно слушал мысли Крабова.

— Да. Закроем дело, как самоубийство в невменяемом...

— Кто поверит? Порядочный человек, активный, выступал на областной партконференции, школа знамя держала.

— По секрету, — тихо сказал Крабов. — Он уже был включен в список на избрание в ревкомиссию обкома. Мог бы до членов обкома дойти. Не говори это нигде.

— Вот так живешь, ходишь, встречаешься с людьми, думаешь, что их знаешь, а на самом деле...

— Меня смущает этот замок. Зачем он запер себе руки на замок? Не мог он сам этого сделать! — воскликнул Крабов.

— Мог, — возразил прокурор. — Всю жизнь запираем себя на замок. Перед смертью он мог логично подумать, что замок — надежно.

— Ну тебя к черту! Давай спать валетом! — взревел Крабов и, забрав подушку, перекатился к противоположной спинке кровати. — Габариты у тебя, мыслитель, смотреть противно. Худел бы в самом деле... Не обижайся.

Прокурор не обижался, только глубоко вздохнул.

— Жена, наверное, с ума сходит, — задумчиво сказал он. — Не позвонил ей.

— Моя приучена, — грубо сказал Крабов. — Семнадцатый год, каторжная, со мной мается, закаменела. К чему, заради чего?.. Ты знаешь, она, бедолага, у меня ведь эстонка, в столовой официанткой работала, простая, — зачем-то добавил он.

Затихший было горестный утиный крик возобновился с новой силой. Положительно казалось, что там не в порядке, какое-то бедствие или избиение. Молния вспыхивала, но уже беззвучно: гроза удалялась. Тикали с прискрипом ходики, не замеченные прежде. Вдвоем в постели было жарко.

— Говорили мне, из верных рук, — сказал прокурор, что в Москве уже есть детектор. Надевают человеку шлем, велят петь в уме мотив песни — а динамик отображает тот же мотив вголос.

А когда человек мысли думает? — шевельнулся Крабов.

Это еще нет, не подработано. Но дойдут, наука дойдет, вопрос нескольких лет, говорят.

Паршивое дело...

Конечно, следовательская и судебная практика облегчается. Многое облегчается. Почему, изобретение полезное.

— Гм. А что, если тебе вложат шлем на башку?

Что: мне? Мне нечего скрывать.

Да. Мне тоже... Однако, душно здесь. Тебе не страшно? Чего?

А что вот сейчас явится привидение. Заведующая птицефермой с топором в голове, Савин ее пригласил же, и объявит нам нечто...

— Перестань, дурак.

— Сам дурак, хоть и прокурор. Слушай, я тебе загадаю армянскую загадку. Что такое: снизу пух, сверху страх? Это прокурор лежит на перине.

— Во-от с такой бородой, невежа, — раздраженно сказал прокурор. — Я слышал это еще пацаном... Бр-р!

— Что?

— Ничего, вспомнил, что был пацаном. Вообрази себе, что я был нормальным, и совсем не толстым, в детстве... Посмотреть было отнюдь не противно. С ума сойти, был ведь. Учился в школе номер шестнадцать. Тьфу!.. Боже, эти утки меня с ума сводят, почему они так кричат?

Крабов рывком сел на постели.

— Слушай, без дураков, — сказал он решительно, — не нравится мне с этой фермой. И хромой этот сторож не нравится, и жена директора была заведующей.

— Не хочу я больше об этом деле, — капризно сказал прокурор. — Оно закрыто и меня больше не интересует.

А я говорю: надо.

— А я говорю: не хочу.

— Надо! Есть такое слово: надо. Чему тебя учили в школе номер шестнадцать?

— Многому учили, Крабов... О, многому... Но я прошу тебя, давай прекратим разговор. Давай спать.

Крабов посидел, без слова, с минуту. Затем опрокинулся в подушку. Помолчав напряженно, они заснули. Время от времени прокурор чувствовал, как острые коленки начальника милиции препротивно бьют его в мягкий нежный живот. «И чего бы сучить!» — возмущался он во сне и обижался до слез.

Но потом все перевернулось, ему стало сниться, что это мать положила его в одну кровать с умершей еще в детстве сестричкой, которую он так любил, сестричка лепетала ему что-то неразборчивое, смеясь и шая, ему стало так сладко-хорошо.

Приходил Савин, подтягивал гирию на часах, озабоченно говорил с Крабовым: нужно было кого-то срочно ловить, погружать в клетку, это повторялось много-много раз, но прокурору не хотелось расстаться с сестричкой, невысказанно было проснуться узнать, что стряслось, какая клетка: перед лицом счастья ему было на все, на все наплевать, только было жарко.

Но, наконец, он почувствовал и прохладу, и невыразимо сладостное долгожданное освобождение. Приоткрыв хитрой щелочкой глаз, он не обнаружил на кровати соседа. Содрав с прокурора одеяло и завернувшись в него, Крабов спал на полу. Прокурор с наслаждением и торжеством заграбастал всю кровать руками, ногами и по-настоящему вкусно, по-детски крепко заснул.

— Вставайте, транспорт пришел, — сказал Савин.

— А ты сам где спал? — кряхтя и морщась от света, спросил Крабов.

— Я не спал, замучился совсем. Утки в клетки грузили. Тысячу штук.

— Дня им нету... — возмущенно пробормотал прокурор, весь залитый досадой, что оборвалось такое забытое, много лет уже с ним не бывалое, безмятежное счастье сна.

— День-то я в основном с вами ухлопал, — добродушно сказал Савин. — Тут трезвонят из сельхозотдела: давай тысячу, хоть лопни. И вот так завсегда. Уф!..

— Ну, завтра бы отвез.

— Забыли? Завтра у меня на горком день пропал.

Сонные, недовольные друг другом, гости оделись, вышли, поживаясь, на крыльцо — и остановились, пораженные. Непогоды и следа не осталось.

Божий мир был прекрасен.

Небо было фиолетово-черное, без единого облачка, потому

что всюду, куда ни глянь, мерцали яркие, объемные звезды — одна поближе, другая подальше, а роскошный Млечный Путь с его неведомыми мирами — уж совсем в невообразимой дали. Было так понятно-наглядно, как земля несется в черной бездне средь прочих звезд, откуда-то, куда-то в непостижимом мироздании. Было свежо после дождя, дышалось гулко, жадно.

Из тьмы показался огненный глаз, исчезал за деревьями, блуждал, сопровождаемый брехом собак, раздвоился на два глаза, выскочил совсем рядом и с дребезжанием мотора остановился перед крыльцом. Было странно, но приятно, что это он их повезет, видимо, потому, что они заняты важными делами, весомые и ценные существа в данный момент.

— Где заведующая птицефермой? — торжественно спросил Савин.

— Здесь я, — отозвался женский голос из кабины, и только тут Крабов с Попелюшко ошалело сообразили, что это не та, убитая в голову топором, а новоназначенная, другая.

— Сенца я полкопешки бросил, — говорил шофер. Через Полетаевку поедem или через Клины?

— Лучшие давай через Клины, да не гони, мы поспим немного. Садитесь, дорогие гости.

Гости приблизились, но с недоумением остановились перед транспортом. Это был обшарпанный, выдававший виды колхозный грузовик. В кузове скамеек не имелось. Согласно правилам ОРУДа, так ехать не разрешалось, и начальнику милиции уж конечно это было известно. Но кузов доверху был завален пахучим свежескошенным сеном, трое мужчин провалились и потонули в нем. Крабов и Попелюшко ползали на коленях, не понимая, как же пристроиться: сидеть ли по-турецки, лежать на боку либо на спине, — а грузовик тронулся, и они повалились друг на друга.

— Очень славно! Очень мило! — радостно сказал прокурор, отыскивая в сене очки. — Признаться, я лет сто не ездил на сене.

— Ну, — сказал облегченно Савин, — до начальства выско, до города далеко, я спать буду. И вам советую.

Он выгреб яму, подбил под голову, уткнулся в сено и сдержал слово: как лег, так сразу и уснул, и не просыпался более, хотя грузовик прыгал, вскидывал задком и качался, как в море челнок.

Грузное тело прокурора всей массой пришло в движение. Оно затряслось и заколыхалось, как кисельное, так что на ухабах забивало дыхание. Несмотря на это, он чувствовал в себе необычайный подъем, почти истерический восторг.

Крабов лег на спину, заложил руки за голову, воображая, что ему покойно, и его острые колени мотались туда-сюда в такт раскачиванию машины. А прокурор крутился, проваливался, сползал, наконец уцепился за борт, встал на колени и выглянул вперед из-за кабины.

Ему в лицо ударил ледяной встречный ветер. Он увидел два длинных луча, бегущих перед радиатором, освещающих колею и лужи воды. Но дорога в целом уже была суха, неправдоподобно белеса, с бархатно-темными каймами травы по обочинам, и по обеим сторонам стояла спелая пшеница, которая вся вспыхивала, просвечивалась насквозь, когда фары нацеливались на нее, и даже васильки были отчетливо видны, голубовато-белые в искусственном свете.

Впереди что-то ярко заблестело, сверкнули два огненных изумруда, и не успел прокурор сообразить, что это чьи-то глаза, а машина уже пронеслась мимо кого-то серого, мохнатого, затаившегося в пшенице. Все, что над пшеницей — было густой, фантазмагорической тьмой, которую можно было щупать рукой, пигмей-грузовичок отчаянно старался резать ее лезвием луча, но она тотчас смыкалась за ним.

Коленям стало больно, прокурор выпустил борт, упал на спину, и живот заслонил ему половину звезд. Сено шуршало и больно кололо сквозь рубашку. Только что у него был восторг, а теперь вдруг мелко застучали зубы. Он пытался унять, но челюсть не подчинялась и стучала.

— Послушай, а та звездочка, кажется, движется? — сказал Крабов, прямо глядя в небо.

— Где?

— Во-он та, сперва троечка, а она левее.

Прокурор попытался сосредоточиться взглядом на звезде, но провалился головой и из-за живота едва видел.

— Нет, показалось тебе.

— Ничего мы не знаем, — сказал Крабов. — И звезд мы не знаем.

Прокурор лежал опрокинутый, с леденеющим сердцем прислушиваясь, как в нем перемешиваются печенки с селезенками, и челюсть била барабанную дробь.

— Нет, я не понимаю, чему нас научили, эти учителя, эти самые директора, — сдавленно, задыхаясь, пропищал он. — Ладно, мы доверчивы, мы дубины, но директора не могут не знать, что учат, мерзавцы, не тому...

Видимо, Крабов сквозь шум не расслышал, потому что не ответил, и прокурор обрадовался, потому что язык сплел не то, что хотелось выразить. Он не умел выразить. Ему хотелось, чтобы кто-то объяснил ему, как из мальчика далеких лет он превратился в себя теперешнего, как он шел по лестнице жизни к сияющим вершинам и вдруг как бы пришел в выгребную яму. А, может, просто прошедший день был так прост и естественен, сено в машине так пахуче, небо так бездонно, а жизнь была такой необъятной тайной, что прокурор показался сам себе в эту минуту нелепостью.

Эта мысль за его долгую практику ни разу не приходила ему. Он работал, делал карьеру, судил-гвоздил-рядил, добивался приговоров и приговоров: так надо. И вдруг явилась мысль, после невыносимой жары августовского дня, беспризорных вишен (ах, хороши были вишни), грома и грозы, сестрички во сне, малины (о, как малина была хороша!).

— Учат правильно, — жестко сказал Крабов; оказывается, он слышал. — Другое дело: сдохнем, никто добрым словом не помянет, ну и плевать, едрена мать, мы делали работу; мы ассенизаторы, прокурор.

— Мы не ассенизаторы, — сказал Попелюшко, как пьяный. — Мы говно.

Грузовик завизжал, круто затормозил и остановился.

Вокруг были избы, деревня. У плетня, освещенные фарами,правляли одежду девка и парень, видимо вскочившие прямо с дороги.

— Что, другого места не нашли? — разъяренно кричал из кабины шофер. — Вот рыла вам набъём!

— Сами рыла, паразиты. Ехали где? Ну и ехайте стороной, ехайте! — грубо, с ненавистью отвечал парень.

— Эт-та что? Много себе позволяешь, ты! — крикнул из кузова Крабов, профессионально свирепея. — Как фамилия? Какой деревни?

Девка испуганно потянула парня, и они сразу исчезли в темноте.

— Клины это деревня, клинские они, — угодливо объяснил шофер.

Распустился народ. Ты его знаешь?

— Да кто ж его знает? Хотите, можем наздогонить?

— Не возьмем, они задами пошли. Ладно, дела поважнее ждут. Поехали!

Машина тронулась, Крабов бухнулся в сено, сделав вид, что спит. Савин храпел, не просыпаясь. Прокурор долго боролся с тряской, пока ему удалось с дикими, неприличными усилиями опять приподнять на колени свою тушу, выглянул из-за кабины и увидел то же: два луча, на одно мгновение в вечности прокладывающие лезвие в тьме, по узкой колее между стенами хлебов.

Он понял, что не может жить. И знал, что нужно делать. Нужно убить жену, убить детей и убить себя. Нет, себя не убить — уйти в поле, зарости волосами, одичать, разучиться говорить, думать. Забиться в густую пшеницу и блеснуть от туда зелеными глазами.

Анатолий Кузнецов

По жолобку на потолке
Проскальзывает занавес.
А врач в халате, в колпаке,
Качается невдалеке,
Как будто из тумана весь.

По комнате туда-сюда
Плывет сестрица-рыбица,
А у врача-то борода
Как водоросли дыбится!

И начинается возня:
Надвинулись халатами,
Чтобы наверх тащить меня
Цепями и канатами.

А я лежу на самом дне,
На самом дне беспамятства,
А доктор что-то в ухо мне
Рычит тартарарамисто!

Меня, наверно, воскресят.
Случаются ведь странности.
И к человечеству назад
Препроводят в сохранности.

Я снова стану сгустком чувств,
Я снова стану хищником,
Я снова жадно восхищусь
Каким-нибудь булыжником!

Иль облупившейся стеной
С какой-нибудь царапиной,
Иль в дождь дорогою ночной,
Закапанной, заляпанной.

Иван Елагин

В БЕГАХ

С 43-го до 73-го — тридцать лет, а вот смотрю и не получается, ему никак не больше 27-ми, а тогда в Умани 25 было. Точно Олег, только одет приличнее. На родном языке, непонимающему продавцу, в Риме на вокзале, объясняет какую ему игрушку нужно и записку показывает. Тяжело не вмешаться.

— Олег, ты? — говорю, — чего скандалишь?

Смотрю в записку, по-русски написано: английские модели старых автомобилей «матчбокс». Да я же такие позавчера тунисским чехам покупал, здесь же на вокзале.

«Аривидерчи» продавцу, за рукав Олега, и в магазин рядом, бодро объясняю, на всех языках сразу, что требуется. Продавец расторопный — дюжину на прилавок. Заулыбался Олег:

— Ну, теперь Россия спасена, наповал хозяина!

И мне, озабоченно: — А вы, что здесь в Риме в посольстве работаете? Откуда меня знаете? Я не Олег.

Рассказал, что я в самовольной отлучке из Туниса, начальство разъехалось, разставил тунизийцев на узкие места, а сам на неделю в Рим. После такого признания, Олег только один раз меня на вы назвал.

Рассматривал модели, шесть облюбовал, а когда узнал, что по 770 лир за штуку, три в сторону, и по деловому объяснил:

— Нужного человека надо теплым держать, всё сразу нельзя, потом еще привезу.

Я заплатил за три: — Передай от меня хозяину. От неизвестного возьмет?

— Возьмет заграничное от всех, он у нас Комбайн.

За десять минут знакомства, — доверие друг к другу, как будто вместе подкоп делали для побега из лагеря военноплен-

ных. Советует покупку не обмывать, валюту беречь, а в Москве первым гостем буду. Мамаша у него правильная, готовит борщ как молодая богиня.

— А для меня, — говорит, — в Риме «дядькой» будешь, меня не спрашивал как зовут, и я тебя не буду.

Нашлось общее; пошли смотреть где жил Гоголь. Дом сумрачный на узкой улице, в нем только про мертвые души и написать можно. А вот кафэ «Греко», где Гоголь встречался с приятелями, больше перемен пережило, современное, нет и духа прошлого, особенно в ценах. Олег опять свое: — Ты «дядька», не выдергивайся, не траться, пошли в общественную столовую.

До столовой не дошли. На другой стороне улицы маленький толстый официант, у дверей ресторана, кричит: — Бона сэра камарад! — Кричу в ответ: — Вива сицильяно!

— Каман, биттэ!, — и машет двумя руками.

Нельзя не зайти, вчера здесь завтракал, и выяснили, что в том же 42-м году он и я были в Сталино в Донбассе, и очень гордился, что сицильянцы первыми начали удирать из под Сталинграда. Сицильяно — чуть-чуть по немецки и по-английски, а я столько же по-итальянски и испански, у нас сотня общих слов, только мы не знаем какое к какому языку относится.

Я уверенно заказал «риготани авэк абаккио, плюс уно синзано», и когда принесли баранину с мелкими макаронами, и две бутылки «синзано», Олег посмотрел на меня с уважением. Вторую бутылку — сицильяно от себя, за то что какая то русская женщина в 44 году в Донбассе, дала ему несколько мешков старых. Обматывал поверх ботинок, и ноги от мороза спас.

«Синзано» крепкое, после первой бутылки и Олег признался, что в самовольном приземлении находится, возвращается из Каира в Москву. Много народу сейчас летает, и останавливаются, не только в Софии, а и в Афинах и в Риме. Не использовать возможность Рим посмотреть грешно: приземлят в Союзе, ведь никто не знает когда; от политики партии зависит,

и будешь всю жизнь жалеть, что не использовал возможность. Редко докапываются, а докапаются — хозяин заступится.

После второй «синзано», спросил почему долларами платил за модели?

Сказал, что в Африке у американцев работаю, сам из Калифорнии. Помрачнел, насупился Олег, начал о мощи своего хозяина рассказывать: — все может, до Громыко ему три ступеньки, а по Комитету Государственной Безопасности четыре осталось, до самой высшей точки. До суда дело не дойдет, Олега в обиду не даст. Комбайном его называют, начальство заграничными вещами снабжает, и модели «матчбокс» не себе, кому-то на высшей ступеньке протянет. И мне басом: — Ты «дядька» не темни, думаешь, если заказал по-итальянски рубленые макароны с бараниной, так я и поверю, что ты американец, начну перед тобой «раскалываться», в Америку проситься. Материал «завалить» меня организовываешь. Брось не получится. Виза у меня «громовая», в Каире поставили, и меру я знаю. Не хватит моих грехов для твоей карьеры. Я уже три года езжу, благодарности в послужном списке. Зачем на модели потратился?

По разному алкоголь действует, кто после выпивки весь мир братьями считает, а Олег друга в предательстве заподозрил. Расплатился и спрашиваю: — Завтра, как, встретимся?

— Встретимся, — отвечает, — рассчитаюсь за всё.

Вышли и оказалось полезно быть вместе, «синзано» крепкое, нуждались во взаимной поддержке. Три квартала, и Испанская лестница в цветах, на ступеньках молодежь разноцветная, со всего мира. Если бы не «синзано» на ступеньки не сели бы, мы же не гиппи и не студенты. Все говорят громко, мы тоже. Русской речью привлекли внимание новозеландцев. По-русски они чуть-чуть, и Олег первым делом попросил проверить их, какой я американец.

В беспорядочно крикливом цветнике, показалась плотно организованная стайка, в пиджаках при галстуках. Тесно им в новой одежде, движения скованные, по акценту холодногорцы из Харькова.

— Заходи, — говорю, — голова сильрады дома!

Молодые сели, а постарше стоят, подозрительно на нас смотрят, как будто встретили родственников в непристойном месте. У молодого в петлице советский университетский значок. Вот такой в Африке я хотел выменять у москвича за две бутылки французского коньяка, с Наполеоном на ярлыке. Мне полагается, а до войны не выдавали. Он коньяк забрал, а потом со старшим товарищем посоветовался, и извинился, сказал что не этично отдавать университетский значек, да еще в Африке, за границей, а коньяк, — сказал, — с Вами этично не связан, вы же американец, а он французский. Начал этот случай рассказывать, Олег меня в сторону, завтра обещает такой-же принести. Меня как посольского чиновника представил. Народ подтянулся, а мне, как и всем, лестно когда уважают и побаиваются. И на собраниях я с 1937 года не выступал, а тут такой случай. На свежем воздухе проветрился, стал на ступеньку выше, и выступил как старший товарищ на комсомольском собрании, по честному, чтоб ребят ободрить:

— Если осложнения, не забывайте что в Риме «наше» посольство, заходите меня спросите и будете как дома. Новозеландцы наши проверенные товарищи, они вам Рим со всех сторон покажут. И новозеландцам речь «толкнул» по-английски:

С русскими надо во всем соглашаться, только тогда они начнут сомневаться в своей правоте, близость к ним таких людей как вы поможет облагораживанию.

И еще что то, не помню. Новозеландцы заулыбались, а ребята решили, раз товарищ из посольства подсказывает якшаться с западным миром, то бояться нечего. Все остались довольны; я убедился, что не потерял способность выступать на общем собрании, новозеландцы повели холодногорцев церковь Тринити де Монти рассматривать, и Олег рад:

— Теперь ты «дядька» у меня на крючке, я же тоже могу доложить, как ты ребят в капиталистический омут к новозеландцам толкнул.

Утром звонок. Дежурный гостинницы удивлен, почему

по-русски меня спрашивают. Олега привели, сдали с рук на руки. Не обманул, коробочку обтянутую синим бархатом из кармана вынул, в ней университетский значек, и последний раз на вы меня назвал. Уважение к образованию!

Возмутился, что за значек в Африке две бутылки коньяка хотели, в Москве этот коньяк спекулянты у вестибюля гостиницы «Метрополь» по 50 рублей за бутылку продают. Внимательно оглядел мой номер:

— Ты давно из Союза? Или только для авторитета заграничное завел? И не портфель у тебя, а атташка самсонитовая, за такую кинооператоры по 150 рублей платят. Сколько здесь такая стоит?

— Здесь не знаю, в Лос Анжелосе 30 долларов заплатил.

— Ты мне, дядька, брось про Америку. Насчет атташки, сколько за неё хочешь? В середине как, для четвертушки отделение есть, посмотреть можно?

Зачем думаю ему в атташку смотреть, может подвох какой? Всегда в таких случаях свидетели полезны.

— Не спеши, позавтракаем.

И нажал кнопку коридорному. Узнав, что завтрак принесут в номер, Олег смутился: — Это-же умаляет человеческое достоинство итальянца, мы же не больные, можем и вниз спуститься. О человеческом достоинстве, говорил более естественно, чем о четвертушке. Грубое добродушие и искренность, как у того Олега в Умани в 43-м. Много таких было на пути от Хабаровска до Кёльна.

Смотрел на Олегову широкую кость, акуратность пышущую здоровьем. Вспомнил как вчера пил, без энтузиазма, немело, нехотя, компанию поддерживать, а если и басил то не своим голосом. Не он ко мне на вокзале подошел, а я первый. Стыдно стало, что испугался и свидетеля вызвал. Хочу как то оправдаться:

— Если насчет атташки договоримся, поверишь, что я американец?

— Зачем мне верить, атташка не для меня, хозяину. Я не

хочу ребят в Союзе заграничным дразнить, завидовать будут и врагов наживешь.

Открыл для него атташку. Замки мельком посмотрел, а немецкий «Шпигэль» полчаса занял, просил перевести. Американский Ридэр'с Дайжест больше ему знаком, за ним в Москве гоняются. Положил перед ним атташку, возьми, говорю, что-нибудь на память, и пошел коридорному дверь открывать. Закрыв Олег атташку, не заглядывая, поставил в угол. После завтрака совсем к ней остыл, а у меня зуд надоедливый подарить ему что-нибудь. Большой чемодан открыл — гавайскую рубашку предлагаю, не берет. Раздражает его моя навязчивость. Вышли, на улице начал отчитывать:

— Зачем как бедному родственнику предлагаешь. Не поморяцки. Мне не нужно, себе редко привожу, больше начальству. Побывать в Египте или Марокко не так просто. Раз послали, а потом еще больше тянет. Не-интересно только из Москвы в Сызрань. Это у меня вроде алкоголизма. Раз даже, все мавританские сувениры, и английский отрез на костюм отдал, чтобы второй раз в Грецию и Марокко попасть.

Приглашал Олега посмотреть фонтаны в Тиволи. Не может, говорит, поручение у него, рассмотреть итальянское рабочее движение.

— Какой сегодня день? — спросил неожиданно.

— Первое.

— Эх, ты темнота, не «первое», а первое Мая, день смотря сил международного пролетариата! Сувениры это товар второстепенный «хозяевам» и «дядькам», хочешь пойдем со мной за основным товаром, рассматривать Первомайскую демонстрацию в Риме.

— Ты что, спрашиваю, в Союзе не находился? Комсорга здесь нет, путевку за активность не получишь.

— Получу. За подробности писатели по Московскому Морю три дня, на казенных харчах катать будут, а потом их в литературу. Я уже три года в этом деле. Рассказал студенту Литфака, как греки в Афинах в маленьких мастерских мебель делают, а он все это под классовым соусом подал: «акулы

капитализма эксплуатируют кустарей одиночек». В писатели студент попал. Хвалили, премировали, греческую действительность здорово изобразил, а сам дальше Серпухова никуда не ездил. На каком-то творческом совещании про меня рассказал, и я теперь нарасхват. Даже какой-то начальник сказал молодым писателям, чтобы вместо выпрашивания творческих командировок за границу, ко мне обращались за всеми подробностями. С писателями интересней, после знакомства с ними за границу осмысленней рассматриваешь, а кинорежиссеры много не разговаривают, покажут макет, спросят что не так, и сразу же насчет барахла. За заграничное больше всех платят, даже стыдно за них.

Спрашиваю, как же так; в самовольном приземлении, и будешь дома о Риме рассказывать?

— Интерес у них большой, раз даже хозяин к важному старику на шикарную дачу послал, тот про Грецию долго расспрашивал, и за наблюдательность похвалил.

Проходили по тихим улочкам. Чугунные ограды, в глубине, за деревьями особняки. На кривой улочке заблудились. Девушка на другой стороне из калитки вышла, спрашиваем как пройти к Сан Джиовани Латерано, там трибуна Первомайской демонстрации. Приятно удивилась, узнав что мы русские. По-немецки хорошо, но больше к Олегу, а я только как переводчик. Рассказала, что её соседка в прошлом году дома перессорилась, и на зло родителям тоже ходила на Первомайскую демонстрацию. Решила нас провести до вокзала. По дороге, как гид, о достопримечательностях рассказывала; здесь из маленького чердачного окошка, итальянская кинозвезда выбросилась, не могла перенести измены испанского матадора и выбросилась на асфальт. Спустились чуть вниз, большое здание с американским флагом. Олег спросил кто тут живет, а я у Марго, к несчастью оказалось американское посольство.

Олег злорадно смеется: как-же так, говоришь, американец, а посольства не знаешь? Где же ты регистрировался?

Не верит, что регистрироваться не обязательно.

Справа от вокзала, между книжными рундуками, сегодня

закрытыми, невыспавшиеся длинноволосые ребята разложили на асфальте уже бывшие не в одной демонстрации полотнища и поправляют белые буквы на красном фоне. После того как Марго перевела содержание плаката — что-то о кооперативах, и против частной торговли, и Олег записал в блокнот, заявила, что проведет с нами целый день. Через несколько кварталов — большая группа на углу, студенты, бодро разговаривают и поют. Марго, не спросив, представила нас как московских корреспондентов. Мне интересно, а Олег испугался. Самый крикливый студент громко заявил, на двух языках, что коммунизм в Москве не правильный. Марго честно перевела, но после этого, пыл у веселого гида потух. Дальше встретили взрослых, со свернутыми плакатами идут к Сан Джиовани Латерано. Хочу к ним пристать. Марго согласна, а Олег протестует: — От нее, просит, отделаться, доведет нас до больших неприятностей, если хозяин узнает что выдавали себя за представителей ТАСС'а. Скажи ей спасибо, и что нам некогда. Марго половину поняла, и скисла до конца. Я смеюсь, а Олег взял на себя инициативу и сказал ей на двух языках, ауфидэрзеен и аривидерчи, и разбежалась молодежь от меня в разные стороны. Догнал Олега, и он предложил мне ни с кем не связываться, рассматривать и прислушиваться. Для официального представительства, если надо будет, пришлют людей опытных. Хозяин предупредил, что завязнуть на улице в политическом споре — больший грех чем самовольное приземление. Руководство перешло к Олегу.

Впервые увидели демонстрацию мощи рабочего класса за пределами СССР. Бледнее чем было описано в «Комсомольской Правде». Громкоговорители вещают, но их еще не закончили монтировать, раскосы для устойчивости прибалчивают. На трибуне человек двадцать, по очереди приветствуют проходящие шеренги, но как-то не особенно мобилизующе на борьбу, нет искры из которой может возгореться пламя. Между колоннами часто просветы, метров по сто, и в это время вождям на трибуне делать нечего, и девать себя некуда, похожи на актеров забывших свою роль. На тротуарах зрителей нет, я и Олег.

Публика, что на полянке перед собором, занимается своим делом, мальчишки играют в футбол, старички, папы и мамы сидят на скамейках и, нам кажется, демонстративно игнорируют рабочее движение.

Вот колонна работниц, в синих спецовках и белых косынках, самая организованная из всего нами виденного. Вожди повеселели, и приветствовали, даже не дождавшись когда достигнут трибуны. Работницы подравнялись, пробовали идти в ногу. За работницами опять случайные люди с тротуара, человек сорок, даже перед самой трибуной о чем-то своем разговаривали. Толпа, а не колонна. Опять просвет, метров двести. Олег записывал и со мной делился, чтобы мысли лучше сформулировать: — «Организованность слабая, много лишней накипи, чуждого элемента, случайных людей с тротуара. Не пропаганда, а дискриминация коммунизма. Хотя бы спросили у человека, почему он хочет участвовать в демонстрации». Вот смотри, кучка собралась, впереди и сзади просвет, никто не хочет рядом идти, даже на трибуне смутились, и не призывают их на подвиги. Самая большая колонна, молодежная, интернациональная, молодые туристы, ими всегда Рим кишит. Участие в демонстрации бесплатное, а на Капри поехать — деньги нужны. Ядро колонны американское, самые крикливые. Европейская молодежь, если родители далеко, старается им подражать. Вернутся домой, и останется воспоминание, что не только видели Рим, но даже и в коммунистической демонстрации участвовали. Лет через двадцать детям скажут: не говори мне про коммунизм, сам знаю, участвовал.

За трамвайной остановкой киоск, и пока пили пиво, колонна облагородилась. Самая приличная проходит, может даже преподаватели университета. Говорю Олегу, в такой колонне и нам не стыдно пройти, интеллектуальности можем набраться. Демонстранты посторонились. Олег выбрал самого симпатичного, и разрешил мне спросить, что это за организация. По-русски опасно, начал по-немецки:

— Мы ненто парларо итальяно, шпрэхен зи дойч?

Симпатичный услышал мой не особенный немецкий, по-

смотрел на нас и ответил по-польски. После моих бодрых фраз по-польски, начал расспрашивать как русские поляков в Варшаве прижимают. Возражать нельзя, в чужой колонне, и к трибуне приближаемся. Попали в ряды левых журналистов. Левые они по-итальянски, а по советски не больше как социал-предатели. Лучшее чем очевидец обрисовал ему сегодняшнее положение в Польше, а Олега за финна выдал, чтобы не разговаривал. Симпатичный соседям рассказал, кто мы и мы стали центром внимания, нас находу окружили, в ресторан приглашают для подробного интервью. Узнав в чем дело, Олег испугался: — Давай говорит направо смоемся, посмотрим Святую Лестницу. Проходя мимо трибуны, журналисты отвлеклись, обменяться приветствием с вождями, а мы остановились вроде шнурки на ботинках поправить, и на этом наше участие в итальянском рабочем движении кончилось.

Поднялись по боковой, на главную Святую Лестницу, по которой Иисус поднимался к Пилату, смотрели сверху из полумрака. Красивая итальянка, после каждых двух трех ступенек останавливается, молится. Пожилой мужчина, похожий на страхового агента, тоже на коленях, гораздо быстрее добрался по деловому доверху.

К нижней ступеньке подошла молодая пара, наверное молодые, стали на колени, молятся, лица у обоих радостные, очевидно не просить, а благодарить Бога пришли. Думал внизу помолятся и уйдут, нет, держась за руки добрались на коленях к нам, и спускаясь по боковой лестнице он поцеловал ей руку.

Есть люди сильно верят — заметил Олег.

Отметь в блокноте, расскажешь писателям.

Записывать не надо, запомнится. У нас тоже есть верующие, только здесь откровеннее, и веселее верят. После революции не московского типа жизнь будет, международной солидарности не может получиться. Как у нас с литовцами и эстонцами. Климат и характер другие. Ты «дядька» чего меня участвовать в демонстрации потянул? Хочешь иметь свидетеля при обмене партбилетов, что и в Италии не потерял классовое самосознание? Можно будет, устроим.

В среду утром опять зашел, а у меня план, в Соборе Святого Петра Папу Римского посмотреть. Приглашаю Олега. Отказывается, дело у него, подшипники для мотоцикла приятелю в Москве уже присмотрел, просит с ним пойти переводчиком, поторговаться. Пошли пораньше, выторговали, и долго пришлось уговаривать Олега оставить подшипники на хранение в газетном киоске. Неудобно же с подшипниками к Папе Римскому!

Перед Собором масса пустых автобусов и машин, уже служба идет, народу в середине полно. Долго пробивались к Папскому трону. Приходилось сдерживать Олега, чтобы громко не расспрашивал, и не расталкивал толпу. Не к прилавку в магазине пробиваемся, а к престолу наместника Бога на земле. На пути все национальности. Сквозь бельгийцев и французов гораздо легче пробиваться, чем сквозь немцев или испанцев. Каждую группу нужно было объяснять Олегу, и не поверил что стайка раскрашенных и пёстро одетых старушек, типичные американки. Когда уже можно было хорошо рассмотреть выражение лица Папы, остановились у колонны, в скандинавской группе. Папа говорил на всех языках, сидя в кресле. Народ кругом нарядный, пришли сюда не протестовать, а соглашаться и поэтому лица приветливее, чем на Первомайской демонстрации. Шведка рядом с Олегом, чуть пониже его ростом, молодая. Хочет Папу лучше рассмотреть, на плинтус, уступ у колонны, пытается стать, а он узкий, и оперлась для равновесия на Олегово плечо. Он не протестует, обстановка такая, поближе к ней чтобы удобнее шведке было. Нагнулась к нему что-то прошептала, а он ей по-русски, громче:

— Ничего, опирайтесь!

Она на подружку показывает, и через минуту Олег уже двух поддерживает. Даже перегруппировку сделали, с плинтуса Папу рассматривают, и каждой по Олеговому плечу для опоры. Папа кончил говорить, швед шведкам машет, на выход показывает. Олег акуратно, с церковной благоговейностью, снял шведок с плинтуса и за ними пошел. Говорю, стой, не все рассмотрели, главное собор, а не Папа, а он за шведками. Так

и не пришлось мне посмотреть, и осталось неясным выносят ли Папу люди на носилках или он сам идет.

Третья шведка обнаружилась, по-русски немного может, но не так по языку, как по возрасту и фигуре ему больше меня в переводчики подходит, в гостинницу к ним на обед приглашает. Еды заказано на 45 человек, а кто заболел, другие во Флоренцию поехали. Олег компанейский, говорит, я не сам, а с «дядей». Переводчица и про меня по-русски: — ничего пусть тоже едет, те что от макарон заболели, как раз ему по возрасту! Я не против возраста, но зачем же мне больные, да еще в Риме.

В ресторане человек пять выше среднего возраста, а девчат десятка два и у Олега уже пять переводчиц, и все на меня исподлобья смотрят, были в Союзе, порядки знают! Меня сразу за политического «дядьку» приняли, спрашивают в какой области Олег знаменитость? Сопротивляться нельзя, обедом же угощают. Ну и сказал, чтоб девчонкам интересней было: — лирический тенор, говорю, на международном конкурсе первый приз, везу его в Миланскую оперу, и там всех затрёт. Мы за границу без гарантии не вывозим.

Даже вредная старушка ко мне приставленная, зажглась, перестала допытываться почему хлеб в Америке покупаем, за блок-нот, и к Олегу за автографом. За столом как по команде девченки вилки и ложки побросали, и просят Олега спеть. Им даже автографа мало, каждая старается его потрогать, а Олег таит. Шведки румяные, веселые. Мороженое не доели, Олега кто тянет, кто подталкивает, в свои комнаты наверх. Шумят. Счастливый пленник чуть освободился, и мне заявляет; до вечера здесь остаемся, ужинать будем. На шум сбежались, и другие народности. Узнают итальянцы о прибытии советской звезды в миланскую оперу, попадет Олег в прессу, и пропал. Он — в ореоле славы, и девичьих чар — этого не чувствует, а мне со стороны виднее. Говорю, чтобы и переводчицы слышали: — учитесь, товарищ Олег, у старших, ни Ойстрах ни Зыкова никогда не занимались профанацией искусства как вы собираетесь, и уверяю Вас, что товарищ Фурцева нас по го-

ловке не погладит, узнав как мы относимся к доверию Родины.

Вот мне и пригодилось, для спасения Олега, освежение способностей выступать на общих собраниях. Переводчицы, бывавшие в Советском Союзе, раньше Олега поняли серьезность моего заявления, остальным рассказали, и все скисли. Без сопротивления дали увести Олега. Только одна девушка нас два квартала провожала, та которую Олег в соборе Святого Петра с церковной благоговейностью с плитуса снял. Свой адрес дала, адрес Олега выпрашивала, а он её только расцеловал, и пошел за мной молча, опустив голову: и жалуется: — ты себя за американца выдаешь, я же тебе не мешаю, а мне не дал вечер тенором побыть, я же мог и не петь.

Объясняю ему, успокаиваю: одна шведка это ничего, а группа уже демонстрация, массовое, отрицательное явление. Самое главное освоили, Папу Римского видели и слышали, в соборе Святого Петра побывали, будет что писателям дома рассказывать. А он опять мне про шведок:

— Ты меня еще и за тенора не выдавал, а я уже с ними вроде в одной десятилетке учился. К ним из Союза молодежь пускать нельзя, с собой увезут, на чисто человеческой молодежной подкладке уход произойдет, а парню политическую измену родине пришьют. Да как же тут устоишь, когда она с веселой откровенностью, всем своим ароматным здоровьем на тебя опирается, чтобы Папу Римского рассмотреть. Такое и писателям в Москве рассказывать нельзя. Говорят в Америке хорошо, а вот американцы, вьетнамские дезертиры, тоже Швецию облюбовали. С такими девчатами и на Колыму не страшно.

Только три часа пополудни, предлагаю Колизеум посмотреть, а он опять хочет в Собор Петра.

Молебен давно окончен, на площади перед собором пусто. Только мы среди огромных колонн, чувствуем себя ближе к красивому чем до побега в Рим. Поднимаясь по ступеням встретили трех священников, плоские с круглыми полями шляпы, как у Дон Кихота шлем, глаза быстрые и черное одеяние до пят. Внутри собора ни души, от входа до главного амвона — несколько городских кварталов. Олег походку и тон переменил,

мнение полушопотом, с восторгом и робостью выражает, как будто рядом самый уважаемый человек, к выздоровлению, после тяжелой болезни уснул. Через окно купола — сноп солнечных лучей упал на мозаичный пол, и обошел Олег освещенное место, боясь красоту нарушить. Долго стоял у «Пиеты» Микель Анджело, и только через полчаса, у главного алтаря с бронзовым балдахином, о ней заговорил: — Камень, а сильнее чем слово и песня доходит. Слева от входа келейки для исповеди, с надписями в какое время и на каком языке исповедываться можно. Окошко решетчатое, для исповедующегося на коленях. Пусто кругом и тихо, все новое для нас, неиспытанное. Устали, а уходить не хочется. Сели на скамейку, очевидно для ожидающих исповеди. Заговорились и не заметили что мимо нас проходит группа священников. Олег встал от неожиданности, священники остановились, на каком то языке поздоровались, а мой самый католический, польский — «дзень добры», отвечаю. Другой на нас подозрительно посмотрел, по-польски начал допрашивать, в котором часу наша исповедь, и какого ксёндза ждем. Молчу, пусть, думаю, Олег выпутывается, а он меня по-русски спрашивает: — Что, нам уходить нужно, или только сидеть в соборе нельзя? Ксёндз обрадовался: — О, вы русские католики! Вот идет ксёндз пробощ Казимиж, он вами займется. Остановил ксёндза Казимижа, говорит русские на исповедь пришли. Я молчу. Наконец Олег проявил инициативу, робко заявил: — Да мы не хотим вас затруднять, не обязательно исповедываться, так просто про свое сели разговаривать.

Ксёндз Казимиж без акцента: — Очень рад по-русски поговорить, вот только я насчет порядка исповеди не совсем уверен. Сейчас выясним. И со самым стареньким, вроде по латыни начал совещаться. Тот на нас дружелюбно смотрит.

Казимиж опять нам весело: — Можно и сейчас, если вы приезжие издалека, минут через пятнадцать вернусь. Провожу гостей из Ирландии.

Пока мы соображали, как нужно себя вести, в самой большой церкви мира не наделав глупостей, священники ушли.

Боялись садиться, прохаживались как туристы. Могут другие священники появиться, и начнут исповедывать. Олег немного свободнее себя чувствует. У статуи Андрея Первозванного даже похвалил католиков, что и русских святых почитают. С интересом собирался слушать как я буду исповедываться, и был разочарован, что исповедь не похожа на чистку партии с обменом партийных билетов, когда поставят человека перед прищипнутом, и выкручивайся на сцене от грехов, да еще перед беспартийной массой. Правду со сцены не скажешь, когда на тебя с злорадными улыбочками из публики смотрят.

— Что ты мне про чистку... Исповедываться не будешь?

Отвечаю, настроение не то, если исповедь по недоразумению. Давно в детстве раз исповедывался. Легче на совести стало...

Незаметно подошли к выходу. На широкой площади ни души. Не сговариваясь зашли за колонны, чтобы не встретить ксёндза Казимижа. Попрощались. Завтра Олегу уезжать. Так до конца и не поверил, что я из Калифорнии, только на прощанье вместо «дядьки», «корышем» назвал.

Владислав Эллис

ЛИРИКА

Деревья за моим окном
Томились без воды
И шелестели об одном
На разные лады.
А за пригорком на лугу,
Шумя сбегал ручей,
Он задышался набегу,
Не досыпал ночей.
Он понимал листвы язык,
Шуршание корней,
Он узнавать его привык
От сотворенья дней.
Сухая осень. Край земли
Засыпанный листвою.
И улетают журавли
От вьюги ветровой,
Взметнулись к облакам седым
Свой перелет трубя
И каждый голос был твоим,
Но не было тебя.
Угрюмый ветер ветви гнул
Сухие листья рвал
И разрастался мощный гул,
Как баховский хорал.
Казалось мне еще диез
И я уж не смогу
Ни спать, ни есть, ни ждать чудес
На темном берегу.
Ты понимал листвы язык
Шуршание корней,
Ты узнавать любовь привык,
От сотворенья дней.

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Жизнь!

Зеленая жизнь, мне твое ликование люблю!

В неоплатном долгу

у весны, у сосны и у дуба.

Точно кони в поту,

мчатся под гору быстрые годы.

В неоплатном долгу

остаюсь я у русской природы.

Босоногий ручей, как мальчишка бежит мне навстречу,

Гомонит целый день, приучая меня к просторечью.

Подметают откос молодые сквозные березки,

Отливает роса, как сухие, «кукушкины слезки».

Чем ответить земле на радушие и тароватость?

Что мне клеверу дать за его белизну, розоватость?

И за шорох листвы

полевые цветы Иван-чая,

Что ходили за мной,

головую лиловой качая.

Мчится под гору жизнь,

замелькали последние годы.

В неоплатном долгу

остаюсь я у русской природы.

Сусанна Мар

Сусанна Мар — псевдоним Сусанны Григорьевны Челхушян, по мужу Аксеновой. Она родилась в Ростове на Дону в 1900 г. Ее отец был видный адвокат и известный армянский общественный деятель. Сусанна Мар была другом Надежды Мандельштам, которая тепло пишет о ней во «Второй Книге». В 20-х г.г. стихи Сусанны Мар попали под индекс, и она зарабатывала на жизнь только переводами. Во время «ежовщины» четырех ее старших братьев расстреляли. В 1945 г. умер ее муж И. А. Аксенов, литературовед, переводчик английских поэтов елизаветинского времени, знаток Шекспира. Лучшие переводы Сусанны Мар с польского и литовского языков. Переводила она и с латвийского, армянского, английского. В 1960 г. польское изд-во «Аркады» в Варшаве издало на русском языке «Пан Тадеуш» А. Мицкевича в переводе Сусанны Мар. Ее пригласили в Варшаву, где ее чествовали. Последние годы своей жизни Сусанна Мар болела раком. Умерла в 1965 г., так и не увидев свои стихи в печати. РЕД.

СИРИУС



В Яхт-Клубе появился частый гость с фронта, великий князь Николай Михайлович. К нему как всегда, подседа компания любителей острых словечек и оригинальных суждений. Особенным успехом пользовалась его речь о древних летописцах. Когда они отмечали появление «звезды на небеси с хвостом» или рождение младенца о двух головах это было зловещим предзнаменованием. Его высочество спрашивал, почему таким приметам не придается значения в наши дни? Почему не вызывает страха появление девятипудового министра? Показывавшимся со смеху слушателям сразу предстала похожая на елочное украшение фигура, состоящая из двух шаров: — большого, означавшего живот и маленького, смахивавшего на голову с лицом круглым, как подсолнечник по которому кистью выведены дуги бровей, небольшие монгольские усики и мазурнички, ничем не смущаемые точки глаз.

— Это новое явление в истории Российской Империи, — говорил Николай Михайлович. — Бывали у нас в министрах правые и левые, монархисты, конституционалисты, но не было аферистов с задатками уголовных преступников.

Алексей Николаевич Хвостов поднялся благодаря своей майской речи в Думе о немецком капитале завладевшем Россией, о директорах банков получающих пятисоттысячные оклады, об остзейском дворянстве, о «кругах», о «кликах». Речь имела успех.

— Читали, Анна Александровна, речь Хвостова? — спросил Вырубову князь Андроников.

— Да читала. Какой он умный! Как хорошо все знает! Я бы хотела его повидать.

См. кн. 43, 67, 68, 90, 91, 92, 95, 104, 106, 109, 111.

— Очень просто. Скажите и он придет, — Андроников всегда кому нибудь прислуживал.

Хвостова он задумал провести в министры. Через несколько дней его протеже предстал перед Вырубовой.

— Князь вас так хвалил, что я попросила его привезти вас. Так редко встречаешь теперь умных людей! Как это вы так досконально узнали все о чем говорили в своей речи?

— Это стоило большого труда, уважаемая Анна Александровна.

— Я так и сказала государыне. Я ей вашу речь сама передала. А потом и его величеству.

— Я очень польщен вниманием их величеств и вашей оценкой. Я так долго искал случая высказать идеи столь важные для России в ее теперешнем положении!

Александра Федоровна, когда ей представили Хвостова, как кандидата в министры, была шокирована его толщиной. Но Вырубова, со слов Андроникова, уверила, что Алексей Николаевич прекрасно танцует.

— Вас хвалит государь, он говорит о вас много приятных слов, — сказала царица.

Она призналась, что рада была бы видеть Хвостова министром, но хотела, чтобы он с своей стороны пошел навстречу ее желанию — избрал бы в товарищи себе сенатора Белецкого.

— Вы, Алексей Николаевич, в деле охраны не очень сведущи, а нам необходима умелая надежная охрана. Было бы желательно для нашего спокойствия, чтобы нас охранял опытный человек.



Когда в желанный день, счастливый искатель славы и власти вступил в министерство внутренних дел, его облепила толпа журналистов, подосланных князем Андрониковым. Алексей Николаевич пространно изложил им свою патриотическую программу.

Состояла она из ненависти к немцам внутренним и к немцам внешним. Те и другие должны быть побеждены, а компания

«Зингер» закрыта и агенты ее высланы из России. Почувствовав, что преследованием продажи швейных машин он вторгается в область контр-разведки, министр менял фронт и нападал на немцев внешних. Тут он совсем забывал о своем ведомстве и говорил языком военного министра и министра иностранных дел. — Наша доблестная армия уже предвидит день, когда злобный враг дрогнет и побежит. Пощады ему не будет. А когда придет час его капитуляции, на него должна быть наложена огромная контрибуция.



Но медовый месяц нового министра, не успев начаться был омрачен надвинувшимся облаком. Кончилось двухмесячное удаление из столицы «канцлера», как называл Хвостов Григория Ефимовича Распутина. Он возвращался победителем; везде белели кости его врагов: Джунковский во прахе, Николай Николаевич в юдоли печали и забвения и с ним Орлов проклятый. А Нилов, Дрентельн, Шавельский — хвосты поджали. Министр внутренних дел не шибко был обрадован его приездом, но поспешил с приемом. Приняли на квартире у Андроникова. Не успев еще войти из прихожей в гостиную, канцлер скривил голову и хихикнул ткнув пальцем князя.

А дельце то без меня обтяпали?

— Бег с вами, Григорий Ефимович! Уж будто мы такие олухи и не понимаем, что без вашего слова ничто не крепко. Мы его и не считаем крепким пока не дадите благословения. А обтяпали потому, что момент ловили. Вас то ведь не было, а случай представился, не упускать же...

— Ну ладно. Я ведь это так... А ты своему скажи, что он давно бы был министром, если бы не принимал меня так худо в Нижнем. Помнишь?.. Да где тебе помнить! У вас тогда только и ахов было что про Столыпина. Бедного Гришку не накормили даже. А и было у меня только что три рубли в кармане. Вот ты и не знал тогда своего счастья! Меня ведь сам государь посылал посмотреть Хвостова...

— Ну что старое вспоминать, Григорий Ефимович! Кто не

делал ошибок? У Алексея Николаевича хлопот было по горло.

Севши за стол и выпив, старец повернулся к Белецкому: — Вот и ты тоже. Тридцать сыщиков на меня напустил. Не отпирайся, знаю, сам царь говорил... Господи Боже! А ведь что я кому сделал? Всем только добра желаю.

— Да вы же знаете, отец Григорий, что я это не по своему желанию, а по высочайшему повелению. И делалось это не во вред вам, а для вашей же пользы. Охрана.

— Охрана то охрана, да зачем доносы писать?

— Никогда доносов не писал. Вы меня верно с Джунковским смешиваете? Вы вот мною недовольны, а разве я делал чтонибудь не к вашей пользе? Разве я выпустил бы из России Илиодоршу со всеми бумагами?

— Что ты говоришь? Да неужто она их вывезла?

— Вывезла. Я в то время уже ничего не мог поделать.

Распутин перестал есть и усиленно утирал лоб красным платком.

— Да, милай, это был змей стоголовый Серьга Труханов, отступник Анахтема. Говорил я маме надо ему кол... забить, повесить, чтобы у него, как у собаки язык на стону высунулся. Ах, как я ему верил!... Этак и письма мои ушли с этой стервой?

— Не беспокойтесь отец Григорий, — заговорил Хвостов, — будем зорко следить, чтобы они не появились здесь, да и за границей предпримем кое-что.

— А этот-то! Этот! Ох, совесть людская!...

Он долго охал и говорил себе в бороду.

Когда после обеда перешли в гостиную, Белецкий с Андрониковым скрылись в кабинете. Белецкий передал князю полторы тысячи для Распутина, а сам вернулся в гостиную. Приоткрыв дверь Андроников крикнул — Отец Григорий, на минуту! — Минута была длинная. Выходя из кабинета, старец являл вид умягченный, умиротворенный. На прощанье целовался с Хвостовым и с Белецким. — Ну дай вам Бог! Дай Бог! Я ведь ничего... Я всей душой рад...

Когда уехал, оставшиеся переглянулись: — Ну что?

— На три с минусом, — ответил Белецкий.

— Даже на тройку не вытянуло? А вы, Алексей Николаевич?

— Я тоже думаю, что с ним придется повозиться. Видали каким он стал важным и чувствительным ко всему что относится до его престижа? Он будет теперь во всякую мелочь лезть.

Ну ничего, даст Бог обломаем, — заключил Андроников.



Князь приобрел ту опасную степень самоуверенности, что бывает предвестницей неудач. Он не подозревал каким взрывчатым веществом наполнена фигура созданного им министра: не успев встать во главе ведомства внутренних дел, возмечтал о кресле первого министра. Возмечтавши не сумел этого скрыть.

— Толстопузый многого хочет, — дошло до него изречение старца.

Это был первый риф на который наскочил корабль Хвостова. Удар был легкий и не смутил капитана. Навел лишь на мысль о правильном курсе. Единственно правильным мог быть только курс на Распутина. С этих пор Андроников становился ненужным. Полторы тысячи рублей положенные Распутину министерством передавались теперь не через него, а через Комиссарова — настоящего Малюты Скуратова, краснорожего детину с рыжей бородой и с хорошим французским языком. После эвакуации Варшавы, где он был начальником жандармского управления, его откомандировали в распоряжение министерства внутренних дел и приставили к Распутину, как особо близкого телохранителя. Он сопровождал его в поездках, в ресторанных похождениях, подыскивал женщин, отводил укромные кабинеты.

Обхаживая и убаюкая Распутина, Хвостов и Белецкий до смерти боялись как бы их близость к нему не стала известна в обществе. Для тайных свиданий со старцем сняли в переулке, выходящем на Фонтанку, конспиративную квартиру, снабдили ее записом вина и всем необходимым, а одного из женатых

сотрудников Комиссарова, поселили под видом хозяина. Все это тайно от Андроникова. В деле обворования Распутина Алексей Николаевич полагался на свой собственный гений — ввел дотации к его «стипендии», часто устраивал попойки на тайной квартире, отвозил пьяного домой на автомобиле. Но в самом крепком подпитии Распутин ловко уклонялся от важных разговоров.

А что, Григорий Ефимович, мало у нас порядка?

— Мало, милай, мало.

— А не потому ли, что сидят везде старики? На покой бы им...

— Да ведь покой то, милай, на том свете.

В другой раз: — беспокоит меня, отец Григорий, положение с Думой. Иван Логгинович так обострил с ней отношения, что не знаю чем это кончится.

— Кончится!.. Кончится!.. — запел Распутин и присоединил к пению что то совсем не гармоничное.

Откуда то известно стало ему о двух следственных делах присланных из тобольского жандармского управления товарищу министра Белецкому. Одно касалось пьяного дебоша, устроенного некогда старцем на пароходе, когда он ехал в село Покровское. Другое — о непристойных и оскорбительных речах по адресу государыни императрицы и одной из великих княжен.

— Вроде, как ножик к горлу! — догадался старец. — Штаны с меня дернуть хотите перед мамой и папой?

— Бог с вами, Григорий Ефимович! Мы как раз затребовали дознания, чтобы там в Тобольске не вздумалось комунибудь предать их огласке. Здесь они лежат за семью замками и никто не знает об их существовании.

Распутин как будто успокоился. Но затаил недоверие. На все ухаживания Хвостова говорил «милай», хлопал по плечу и ни в какие разговоры не пускался.

Хвостов сделался мрачен и подозрителен. Уж не прибирает ли кто другой старца к рукам? Оказалось прибирает. Это стало ясно, когда испытующий взгляд его упал на новую личность,

возникшую на чиновничьем небосклоне. Новой она была для него, а не для небосклона. Ее, как блуждающую комету изучали еще в древности — при Плеве, при Витте, во времена Столыпина. Тогдашний дерзкий полет, яркие вспышки афер и финансовых приключений были причиной ее временного исчезновения с правительственных небес. Теперь она снова появилась и никто не знал по какой параболе начнет свой бег.

Коллежский ассессор Иван Федорович Манасевич-Мануйлов еще в девяностых годах стал искусным агентом русского правительства в Париже, в Риме. Во время русско-японской войны добывал дипломатические шифры неприятеля, документы и чертежи, создал внутреннюю агентуру при японских миссиях в Гааге, Лондоне, Париже. В Женеве сделался эсером, редактором эмигрантского журнала, человеком очень полезным для департамента полиции. Эсеры скоро установили, что для них он совсем не полезен и выбросили из окна редакции собственного его журнала. Это отразилось немного на слухе Ивана Федоровича, но способствовало обострению других его способностей.

С возвращением в Россию, ему открылся парадиз министерства внутренних дел, где он возсел одесную помощника начальника департамента полиции. Сделался сотрудником «Нового Времени». Но и тут плавный, ничем не омрачаемый восход его звезды прерван был пагубной страстью. Иван Федорович был шантажист Божией милостью. Жить не мог без этого искусства. Дошло до того, что стал шантажировать министерство внутренних дел. Появилась резолюция Столыпина: «Убрать этого мерзавца».

С тех пор Иван Федорович в тени, но не без денег, не без дела, не без добрых людей. Видя как успешно и с каким артистизмом провел Андроников в министры Хвостова, Иван Федорович возгорелся. Неужели он тоже не может «провести»? Пока Распутин был в ссылке, это было возможно, но с его возвращением ничто не могло быть сделано, что бы могло быть сделано. Значит: завоевать, пленить, охмурить!.. Но у Григория Ефимовича твердо засел в памяти фельетон появив-

шийся в «Новом Времени», где с его собственных слов рассказывалось о великосветских дамах приезжавших к нему, дабы найти путь приближения к Богу. Согласно его учению путь этот лежал через последнее самоунижение. «Вот я и повел их тогда в бриллиантах и в шелковых платьях в баню, всех их раздел. Мойте меня мужика!..»

Был страшный шум. Ни в трезвом, ни в пьяном виде Григорий Ефимович не забывал имени автора фельетона, Манасевича-Мануйлова. Иван Федорович знал это, но надеялся, на наступающий 1916 год. — Мой год! — говорил он.



Через несколько дней после крещенского водосвятия на Днепре император получил из Царского Села маленькую бутылочку с жидкостью.

— Вылей в рюмку и выпей всё, — писала Аликс. То было вино с именинного стола отца Григория. Императрица, Вырубова, дети отпили и остаток послали в Могилев.

— Говорят, у него побывала куча народа и он был прекрасен, — писала Александра Федоровна.

Царь выпил.

Именинника в самом деле засыпали теелграммами, цветами, нанесли вина, тортов, серебряной посуды. На свои подарки императрица получила в ответ: «Невысказанно обрадован. Свет Божий светит над нами. Не убоимся ничтожества». Пили, пели, плясали. К вечеру именинник едва держался на ногах, отведен был в другую комнату и уложен. А когда стемнело и зажгли огонь, на столе пышным архитектурным видением вознесся роскошный ужин. Прибыл хор цыган. Заслышав пение, старец вновь явился и пустился в пляс. До полуночи стоял дым-комомыслом.

В светских гостиных это названо было пиром во время чумы, пришествием Антихриста. Но у графини Клейнмихель какой то молодой человек дал астрономическое объяснение.

— Наша земля, как корабль в море. Она попадает иногда в подобия густых туманов, паров невидимых для глаза, но

действующих на мозг. Отсюда безумия нашего времени и появление людей-чудовищ. Я знаком с одним сотрудником Пулковской обсерватории, полагающим, что новый тысяча девятьсот шестнадцатый год будет особенно богат проявлениями дикости и звероподобия.

В эти шумные именины, Иван Федорович Манасевич-Мануйлов помирился с Григорием Ефимовичем Распутиным. Никто не слышал, что сказал Иван Федорович Григорию Ефимовичу. Видели только, как они в уголку чокнулись и расцеловались. Начались встречи у Снарского, в Вилле Родэ, в домике № 1 по Церковной улице в Царском Селе. Белецкий не спускавший глаз с этой пары понял, что Манасевич кует железо и подобно Андроникову проводит кого-то в министры. Кого?

Во дворце произносилось имя Штюмерера — голубоглазого, седовласого, седобородого святочного деда-мороза о красными, как яблочко, щеками. Андроников не без удовольствия сообщил об этом Хвостову. У баронессы Розен, у графини Шуваловой, у княгини Мышецкой он говорил: — «Вот вам и второе елочное украшение. Только бы не на елку их повесить, а на хорошую осину». — Хвостов понял, что ставка его на Распутина бита. Заходя к нему в кабинет, Белецкий заставлял шефа в глубоком раздумьи. Потом начались странные разговоры.

— Доклады ваших филеров, Степан Петрович, которые вы мне время от времени кладете на стол, приводят в ужас. Представьте себе российского обывателя, до которого дойдет такое, например, сведение: такого то числа около двух часов ночи Распутин вышел из дома номер 11 по Фурштадтской улице вместе с женой потомственного почетного гражданина Марией Марковной Ясининской и на моторе отправились в Новую Деревню в ресторан — «Вилла Родэ». За поздним временем их туда не пустили. Распутин стал бить в двери и рвать звонки, а стоявшему на посту городовому дал пять рублей, чтобы не мешал ему буяннить». Или вот еще: «Распутин рассказывал своим поклонникам, как он освободил от наказания триста человек баптистов и с каждого должен был получить

по тысяче рублей, но получил всего лишь пять тысяч». — Хорошо это читать в своем кабинете, а представьте на минуту, что вдруг такая рапортिका делается предметом гласности или найдутся свидетели ночных походов Григория Ефимовича...

— Могу вас заверить, Алексей Николаевич, что и свидетелей сколько угодно и рапортами наших агентов полны ящики письменных столов «Нового Времени» и «Биржевых Ведомостей». А что касается его походов, так вам бросились в глаза самые благопристойные. Бывают такие, что мои агенты не знают, как их описывать в донесениях.

— Замечательно! Если бы меня спросили, кто сейчас самый гениальный человек в России, я бы не задумываясь сказал: это он — Распутин. Вы только подумайте: безграмотный мужик, грязный, с самым темным порочным прошлым завладел верховной властью в стране со ста пятидесятью миллионным населением. И как он уверен в прочности своего положения! Нет чтобы держаться как нибудь незаметно, — устраивает пьяные оргии на виду, с вызовом всему миру. И это несмотря на недавний случай, когда Джунковский чуть не избавил от него Россию. Ах Россия! Россия!.. Как вы думаете, долго она может выносить такого святого?

— Я, Алексей Николаевич, такими вопросами не задаюсь. Начнешь задаваться — с ума сойдешь.

— А это напрасно. Если не о судьбе России то хоть о собственной судьбе подумать надо. Ведь все наше личное благополучие, чорт возьми, висит на волоске. Стоит кому нибудь случайно обнаружить наши тайные встречи с ним или сам он по пьяному делу ляпнет где нибудь — вот и сразу все пойдет под откос. Прослыть «распутинцами» — все равно, что подать в отставку.

Белецкому однажды тоном сочувствия было сказано: «Вот ведь в нашей империи, Степан Петрович, людей такого опыта как вы по пальцам пересчитаешь, но как несправедлива к вам судьба! Попался мне на глаза ваш послужной список. Видно, что вас с самого начала заметили, оценили, но должного

вам не воздают, вы все время на вторых ролях, либо в почетном отстранении.

Толстый Мефистофель знал какой струны касался. Белецкий поник.

— Вы правы, судьба меня не балует. Иной раз смотришь, какойнибудь шалопай, вертопрах, ничего в делах не понимающий, шагает от чина к чину, от награды к награде, а тут, в самую черную работу погружаешься, руки в грязи пачкаешь, а награда... Будь я человек богатый давно бы ушел с этой службы.

— Напрасно. Ваша звезда еще взойдет. Надо только не пропустить момент и надо знать препятствия. Нам обоим заступила путь одна и та же планета.

Речи министра смущали Белецкого. Хвостов каждый день заводил разговор о Распутине, о вреде его для престола, для династии, для России, для самих Хвостова и Белецкого.

— Подумайте, как облегченно вздохнула бы страна, если бы не стало вдруг этого злого духа! Меня угнетает мысль, что как раз на нашу долю выпала его охрана.

Был разговор и с Комиссаровым о низком окладе его жалованья.

— Да уж что и говорить, работа моя не по жалованью. Все время — начеку. Иной раз среди ночи понесет его нелегкая, а меня будят, звонят по телефону. Хорошо если в какойнибудь знакомый ресторан, а то к бабе. Запрется с нею, а я не сплю, жду второго звонка. Чорт ее знает, что за баба? Пырнет ножом, как Гусева, а ты отвечай.

— Да. Только при ваших крепких нервах и можно выносить такое. Ну ничего, потерпите. Пройдет годик-полтора и дадут вам отдых. На такой работе долго не задерживают. Подыщут другое местечко с окладом поменьше и будете благоденствовать.

Выбросите, значит, как старую тряпку?

Станный вы человек. Столько времени работаете у нас, а до сих пор не знаете, что ни к вашему назначению, ни к вашей работе, ни к вашему жалованью я не имею никакого

отношения. Я только номинальный ваш начальник, а истинный хозяин Белецкий. Да и не Белецкий, а кто то повыше. Вам следует задуматься над своим положением. Выбрали вас и приставили к старцу без его участия; он не возражал, но ни к вам, ни к Белецкому особенным расположением не проникнут. Эта бестия осторожна, как муха. Вы будете моментально отставлены, как только вызовете его недоверие. Копите деньги на черный день.

— И рад бы копить, да трудно.

— Надо что то сделать... Подвиг какойнибудь свершить. Когда Георгий Победоносец избавил город от дракона пожиравшего девушек, как вы думаете был ли ему город благодарен за это?

— Ну еще бы!

— Георгий Победоносец был святой и денег за свой подвиг не брал. Ну а как бы вы поступили на его месте? Взяли бы?

— Грешным бы делом взял.

— Вы же в святые не метите. Да и греха тут никакого. Избавить мир от злобной гадины это уже само по себе доброе дело.

— Так то оно так, да в наших краях ни драконов, ни простых крокодилов не водится.

— Ну не бывать же вам в победоносцах. В наших краях и дракон есть и город готовый миллион заплатить за избавление...

— Миллион?..

— Ну вот, убивайте скорей дракона.

Хвостов верил в магию слов, особенно преступных. Белецкий и Комиссаров догадались к чему клонит шеф, но оставались невозмутимы пока не услышали слово «убить». Возникло оно в простом деловом разговоре. Отстранить, выслать, арестовать? Невозможно. Оставался путь Макбета.

Принц Кумберленд... вот камень на пути.

Мне пасть на нем иль все за ним найти!

Собеседники не без трепета заметили, что круглое, ровное, как яблочко, лицо Алексея Николаевича, когда он читал эти стихи, выдавало редкую для русского человека способность принимать самые страшные решения и осуществлять их с ясным взором. По его словам в убийстве дракона заинтересовано все общество. Намекнул на существование большой организации финансирующей дело освобождения России от чудовища. Белецкому прямо сказал, что располагает значительным частным ассигнованием, а Комиссарову открывал сейф и показывал деньги. Белецкому понятна была выгода в случае удачи предприятия. Хвостов сказал однажды: — Проводите меня в председатели совета министров и берите себе портфель министра внутренних дел. Но чиновничья душа Степана Петровича, взошедшая на чернилах, замирала при мысли о крови. А у Хвостова и план убийства был готов: устроить приглашение старца к какой-нибудь даме, послать ему автомобиль, а потом в глухом переулке сделать нападение заgrimированных сотрудников Комиссарова, удавить петлей, оглушив чем-нибудь тяжелым. После этого отвезти труп на Неву и бросить в прорубь, либо зарыть в снегу на взморье, привязав к нему камни. Весной, когда лед растает, тело само опустится на дно.

— Что вы на это скажете? — спросил Белецкий Комиссарова, оставшись с ним наедине.

— Распутина я застрелил бы как собаку. Каждый из моих филеров сделал бы то же самое. Но для нашего министра я ничего не хотел бы делать.

Почему?

Он нас, кажется, простачками считает. Как будто мы не видели, как он отблагодарил Андроникова. То к чему он подговаривает нужно только ему самому. Выгода нам неизвестно какая, а ответственность в случае чего вся на нас.

Ответ понравился Белецкому. Два-три таких разговора с Комиссаровым привели их к полному единомыслию: Хвостов — опасная личность. Противоречить ему нельзя. Надо выражать сочувствие, но быть начеку.



Белецкий доказывал рискованность и неосуществимость плана убийства в переулке. Предложил другой — не убить, а только поугаать и «набить морду», но инсценировать такой скандал и шум, чтобы скомпрометировать старца в глазах самих августейших особ, а в обществе вызвать возмущение. У министра зашевелилось подозрение. Он продолжал дальнейшие совещания с одним только Комиссаровым. Предлагал ему двести тысяч и убеждал ускорить ликвидацию старца. Достали яд. Комиссаров подсыпал его в любимое Распутиным вино — мадеру. Через день узнали, что старец ходит живехонек. Но за ужином у Снарского он вдруг заявил, что его убьют.

— Все готово, чтобы меня убить... Вот рука. Вот видишь моя рука?... Вот эту руку поцеловал министр и он хочет меня убить...

Снарский подмигнул готсям и показал глазами на пустую бутылку стоявшую перед старцем. Но Хвостов перепугался не на шутку. Он накричал на Комиссарова и потребовал ускорения дела.

— Не могу понять, — оправдывался рыжий Малюта. — Кошки дохли на моих глазах. Надо еще раз попробовать.

С наступлением темноты поехали на конспиративную квартиру у Фонтанки. В чемодане сидел перепуганный кот. «Хозяину» квартиры велели принести блюдо с молоком и всыпали туда яд. Когда кот пришел в себя и освоился с незнакомым местом, он подошел к блюду. Молоко ему понравилось и вылакав его он приятно облизнулся. Ласково посмотрев на своих убийц, сидевших в мягких креслах, он уверенной походкой подошел к Хвостову, прыгнул на министерские колени и устроившись поудобнее замурлыкал. Министр бросил сокрушающий взгляд на своего подчиненного.

Кончились совещания с Белецким и Комиссаровым. Хвостов сделал вид, что не будет больше заниматься фантастическими планами. Но Белецкий знал его хорошо и сразу же взял под наблюдение молодого человека Ржевского, пристроенного Хвостовым в министерство с неопределенными обязанностями но с очень хорошим вознаграждением.



В камердинерской Александровского дворца Чемодуров вполголоса говорил Волкову: — Подслушал я вчера такое, что и сам не рад. Зашел в Большой кабинет, чтобы посмотреть все ли в порядке. Государь, когда приедет из Ставки, всегда очень недовольное лицо выражает, если кресло стоит не так как надо или на столе чтонибудь передвинуто. Так вот вошел я и даже дверь не успел притворить, вижу в щель — ведет наш гоффурьер Стратонов по корридору помощника военного министра Беляева. Думал — к государыне в угловую гостиную, а он в кленовую прямо против Большого кабинета. Волей-неволей пришлось слушать. Тук-тук! Это Анна Александровна на костылях выходит из угловой. И такое меня любопытство взяло! Никогда не было, а тут согрешил. Думаю, почему не государыня, а она вышла? И что ей до помощника военного министра? Прямо бес какой то вселился. Еще не подумал ни о чем, а уже поднялся по ступенькам на ту площадку, где государыня сидит за занавесками когда у государя важный разговор бывает в кабинете. Ты знаешь. И вот слушаю. Голос у Анны Александровны такой что вот-вот заплачет. Помогите, — говорит, — помогите ваше превосходительство! Только вы одни и можете... Кругом все в заговоре, ни на кого положиться нельзя... А Беляев слушал, слушал и говорит: будьте любезны объяснить что случилось? Тут Анна Александровна и грохнула: Григория Ефимовича хотят убить. Чувствую, что генерал аж пошатнулся. — Как так? Кто это хочет? А она: Хвостов, говорит, министр внутренних дел. Тут и у меня поджилки дрогнули. Вот, думаю, дела какие пошли... А Анна Александровна чуть не в ноги генералу: — На вас, говорит, вся надежда; государь в Ставке, дворцового коменданта нет, кто поможет? — Да точно ли это так, уважаемая Анна Александровна? Трудно поверить. А она опять: я бы сама не поверила кабы не Григорий Ефимович. Прислал сказать: «крови моей хотят». И тут она стала говорить, что послал Хвостов в Норвегию какого то Ржевского за большие деньги, чтобы отца Григория убить.

Ну, тут что то нескладно, — вставил Волков, — живет в Петрограде, а убивать едут в Норвегию.

— Да ты постой. В Норвегии то кто? Илиодор — враг заклятуший. Это он позапрошлым летом бабу какую то подослал, чтобы отца Григория зарезать. Так вот и сейчас хотят того же.



Над Двором, над правительством, над Думой, нависла угроза небывалого скандала. Сущим блаженством преисполнила она душу князя Андроникова. Он потирал руки, когда портфель первого министра из-под носа ушел от Хвостова, как раз когда готовилось убийство Распутина. Штюрмер был милостиво принят императрицей, потом государем.

— Штрума настоящий старшой, — говорил старец.



Когда государь приехал, императрица со слезами посвятила его в дело о заговоре. — Не хватало, чтобы твои собственные министры стали убийцами, теперь дошло и до этого! — Не желая испортить завтрашнюю поездку в Думу, император отложил разговоры на эту тему. У него был стихийный страх перед Думой и все мысли сосредоточены на ней. На другой день в сопровождении брата, Михаила Александровича, графа Фредерикса, генерала Воейкова и дежурного флигель-адъютанта Жукова, отправился на моторе в Таврический Дворец. Царь волновался. Но волновался и председатель Думы. Сыпались зловещие предостережения о срыве заседания «правыми», об антимонархической демонстрации «левых», о неминуемом роспуске Думы. Все надежды Михаил Владимирович возлагал на государя. Все будет устранено и претворено в общий патриотический порыв, если он прибудет на открытие. Родзянко хлопотал об этом давно, но до последнего дня не знал, приедет ли император.

За полчаса до открытия прибывает Штюрмер. — Государь на пути в Таврический дворец. Как молния пролетела. Пригласили по телефону послов союзных держав, пустили слух по городу. Прибыло много сенаторов, сановников и публики.

Царя на крыльце встретил председатель Думы со своими товарищами — Протопоповым, Варун-Секретом и советом старейшин. Вид у императора был смущенный, руки заметно дрожали. Но встреченный громовым «ура», нараставшим по мере следования в Екатерининский зал, он обрел обычную бодрость. Духовенство стояло в облачении. Начался молебен. Пение «Спаси Господи люди твоя» подхвачено было всем залом и публикой на хорах. А когда провозгласили «Вечную память всем на поле брани живот свой положившим», вся Дума, вслед за государем, встала на колени.

Родзянко был удовлетворен. Единение царя с общественностью удавалось.

После молебна государь сказал краткое приветственное слово. Это дало повод произнести речь и Родзянко.

— Великий государь, в тяжелую годину войны, еще сильнее закрепили вы сегодня то единение ваше с верным вам народом, которое нас выведет на верную стезю победы. Да благословит вас Господь Бог всевышний. Да здравствует великий государь всея Руси. «Ура!»

В зале заседаний — новое «ура!» и пение «Боже царя храни». Покидая Думу, царь благодарил депутатов за прием, а Родзянке сказал — «Мне было очень приятно. Этот день я никогда не забуду».

Царский автомобиль отошел при восторженных кликах толпы и думских депутатов заполнивших все пространство внутри дворцовой ограды.

Но ворон вражды слетел в зал заседаний сразу же по отъезде императора. Социал-демократы, трудовики, часть кадетов, не желавшие видеть монарха и отсиживавшиеся в своих комнатах, стали выходить оттуда. Традиционная неприязнь к правительству проявилась в полном молчании, которым встретили и проводили нового премьер-министра Штюмерера, впервые выступившего перед Думой. Зато Поливанова наградили овацией.

— Сразу видно — свой! — крикнул с места Марков.

Пошли речи о плохом ведении войны, вспомнили Мясоedo-

ва, требовали предания суду Сухомлинова. — «Где злодей, гремел Половцев, — который обманул всех лживыми уверениями и кажущейся готовностью нашей к страшной борьбе, который тем сорвал с чела армии ее лавровые венки и растоптал в грязи лихоимства и предательства, который грудью встал между карающим мечом закона и изменником Мясоедовым? Ведь это он, министр, головой ручался за Мясоедова. Мясоедов казнен, где же голова его поручителя? На плечах украшенных вензелями».



В Царском Селе императору пришлось погрузиться в дело о покушении на старца. Не разобравшись в нем, он принял на другой день министра внутренних дел Хвостова, принесшего толстый портфель с дознанием жандармского управления о бесчинствах Распутина.

— Ну что там у вас произошло?

— Произошло, ваше величество, такое, что говорить стыдно. Дай Бог чтоб это не сделалось достоянием гласности. Желая избавить ваше величество от пространных предисловий, скажу прямо: составлен был заговор на жизнь отца Григория теми людьми, которые призваны были охранять его.

К удивлению министра царь не только не проявил волнения, но рассеянно смотрел поверх головы министра и вяло спросил: — Кто же это такие?

— Товарищ министра внутренних дел Белецкий и его помощник Комиссаров...

Н. Ульянов

КАПИТАН

*«Но пойми: несравненное право
самому выбирать свою смерть!»*

Н. С. Гумилев

Гладь залива белая —
Облаков белей.
Вытянулись к берегу
Тени кораблей.
За стеной кронштадтской,
На камнях фортов,
Офицер ли, штатский —
Ко всему готов...
Вольность против черни — как в стену лбом:
Прут шинели серые осенним льдом.

Русскую Вандею, снег да корабли
Ружьям во владенье
От-да-ли...
Зарево ли марево — кто там разберет:
Под кровавой марлей розов лед,
И в бинтах, как в бантах, любая голова.
Марля!
Не брабантские кружева!
Не блеснет насечкой
Пистолет...
Время ставить свечку,
Русский поэт!
Кортик против пушек? Не будь упрям!
А как в глаза я гляну семи морям?
Меч ли против вечности? Мечутся в огонь
Плечи твои меченые млечностью погон...

Плеть ли против обуха? Мушка ловит цель...
Вечного Вам отдыха, русский офицер!

К. Г.

В безоблачности над гранитной крепостью,
Над клетками дворов
Летающий ангел пойман в перекрестье
Прожекторов.

Распахнутые судорожно крылья
Внутри креста,
И ангел бьется на булавке шпиля,
И ночь — пуста.

Молчи и слушай, если ты крылатый,
Как до утра
Еще трубит тревогу ангел, взятый
В прожектора.

Василий Бетаки, 1964 г.

Василий Павлович Бетаки (р. 1930) — поэт и переводчик иностранной поэзии — недавно эмигрировал из СССР. В 1948-50 г.г. учился на Восточном факультете Ленинградского У-та, но со 2-го курса был исключен «за космополитизм и антимарксистские идеи в лингвистике». После 56 г. работал экскурсоводом, а потом старшим научным сотрудником в Павловском Дворце-музее. В Совсоюзе выпустил только одну книгу стихов (1965) — не печатали из-за «несо-звучности». Сейчас живет в Риме. РЕД.

ПРЕДВЕСТНИКИ «ВИШНЕВОГО САДА»

Интересно, что пьесы на тему дворянского разорения в России, на рубеже двух веков, разрабатывались и до Чехова. Этой теме касались пьесы А. Н. Островского *Бешенные деньги* (1870), *Лес* (1871), *Поздняя любовь* (1874), *Женитьба Белугина* (1878) и *Светит, да не греет* (1881), написанная автором вместе с Николаем Яковлевичем Соловьевым¹. Чехов затрагивал эту тему в пьесе, впоследствии получившей название *Платонов* (1883).

В этой статье мы хотим показать, что сюжет и некоторые детали *Вишневого сада* были предсказаны еще Соловьевым и Островским в пьесе *Светит, да не греет* и в самостоятельной пьесе Соловьева *Ликвидация*² (1883). Обе эти пьесы предвосхищают *Вишневый сад* по содержанию и положению действующих лиц.

Приведем некоторые черты сходства в пьесах *Светит, да не греет* и *Вишневый сад*. В первой пьесе сцena изображает «старый, запущенный сад с вишней», которая, по словам соседей, «на редкость — какая крупная». Прислуга встречает помещицу Реневу (и по фамилии напоминающую Раневскую), только что приехавшую в усадьбу после шестилетнего пребывания за границей. Реневу с Дашей, ее горничной, встречают Ильич, «старик, дворовый человек из крепостных Реневой», напоминающий Фирса, который также гордится что «на господском дворе родился, свет видал», жена Ильича и Дерюгин³ (соответ-

¹ О Соловьеве см. К. Л. (К. Леонтьев) «Новый драматический писатель», «Русск. вестн.», 1879, № 12; В. Маслих «А. Островский и Н. Соловьев» в кн. «А Островский — Женитьба Белугина». Искусство. М. 1949; «Переписка А. Островского с Н. Соловьевым». Труды Костромск. научн. об-ва, вып. 12. 1928.

² Н. Я. Соловьев. Собрание драматических сочинений. Просвещение. П. 1910.

³ У Чехова купца, состязавшегося на аукционе с Лопахиним, зовут Дериганов.

ствующий Лопяхину в *Вишневом саду*) зажиточный крестьянин, бывший крепостной Реневых. В ожидании хозяйки Дерюгин говорит о ней с горничной: «А барышня наша душевный человек; бывало это, разговорится с тобой, как с своим братом». То же говорит и Лопяхин горничной Дуняше: «Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек». Потом происходит сцена, где оказывается, что материальное положение Реневой заставляет ее продать свое имение — «Грустно, а придется навсегда расстаться со своим родным уголком», и здесь так же как и Раневская она боится, чтобы имение не перешло в руки к какому-нибудь спекулянту: «Только не барышника какого-нибудь. А то ведь порубит и рощи, и эти старые деревья». Дерюгин сочувствует барышне, так же как и Лопяхин, но в конце концов сам покупает имение по дешевке. Интересно, что чувства Реневой и Раневской к старому вишневому саду сходны. Для обеих в нем осталось что-то пережитое, он будит воспоминания о прошлом.

РЕНЕВА: Помните... этот сад, нашу молодость, лунные вечера? Какие обеты, клятвы!

РАНЕВСКАЯ: В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось... О, сад мой!

В думах о старой усадьбе Ренева вспоминает, что здесь умерла ее мать и ей кажется, будто кто-то ходит в глубине липовых аллей, так же, как в *Вишневом саду* «на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину, на покойную маму».

Некоторые другие детали также похожи: и у Реневой и у Раневской за границей были любовники и у обеих неверные. Раневской ежедневно приходят телеграммы из-за границы — из Парижа — у Реневой на письменном столе лежат письма в Венецию, Ниццу и в Париж. Одна рвет телеграммы, другая не посылает письма, и в конце концов обе опять уезжают за границу — в Париж, прожить там на последние деньги. «Продам я теперь имение, получу деньги, несколько лет проживем, а там что, чем жить? Вот страшный вопрос!», говорит Ренева; Раневская же как-бы повторяет за ней: «Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала... ярославская бабушка на покунку имения... а денег этих хватит не надолго». Интересно и то, что

даже сумма денег у обеих одинакова: Ренева просит с покупателя сада пятнадцать тысяч рублей, Раневская получает от ярославской бабушки ту же сумму.

Есть сходства даже между прислугами в обеих пьесах. Реневу за границей сопровождала ее горничная Даша, успевшая так полюбить Францию, что всего лишь после одного дня пребывания на родине она спешит вновь уехать обратно: «Вот день всего пробыли здесь, — а уж и терпенья нет никакого... ах, кабы скорей отсюда барышня». То же говорит и Яша, пробывший за границей с Раневской шесть лет: «Любовь Андреевна! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться невозможно. Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безразличный, притом скука. Возьмите меня с собой, будьте так добры!»

Последнее действие обеих пьес показывает приготовление в дорогу; декорации говорят об опустошении обоих домов. В пьесе *Светит, да не греет* «в комнате следы сбора в дорогу: на полу чемодан, на столе сумка, плед и картоны». У Чехова: «нет ни занавесей на окнах, ни картин; осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т.п.» Прислуга по-прежнему хлопочет. Отъезд Реневой оставляет слугу Ильича, так же как и Фирса, на произвол судьбы. «Как же будет у нас, барышня», спрашивает Ильич у Реневой, «как вы отъедете, стало быть, и нам отправляться со двора долой куда глаза глядят? Потому как продажа эта в настоящее время...» Конец пьесы *Светит, да не греет* отличается от финала *Вишневого сада*; Соловьев и Островский вводят в свою пьесу любовную интригу, разрешающуюся, между прочим, довольно мелодраматически. Но, тем не менее, приведенные сходства представляют собой большой интерес для историков литературы.

Другая пьеса, *Ликвидация*, которая, как я уже сказал, является самостоятельной работой Соловьева, также во многом предвосхищает *Вишневый сад*. Как и в *Вишневом саду*, имения господ Баюкиных постепенно переходят в руки разбогатевшего крестьянина Кулькова, бывшего их крепостного. Им куплен за бесценок прекрасный лес, окружавший некогда и имение. У Баюкиных остался только большой сад с липовыми аллеями. Добрый, но безвольный Баюкин вынужден продать вскоре и аллей своего

сада на сруб. «Сад рубить! Старые липовые аллеи!», взволнованно повторяет он. Но саде скучают и его жена и дочь Катя, посвятившая себя хозяйству и безуспешным попыткам предотвратить полное разорение. «Наши старые хорошие липы», говорит она отцу-неспособному-человеку, «работающему над устройством новой экономической системы», «а они стоят, шумят, все в цвету, и не знают, что скоро их смерть! Срубят... останется сад, голый, как сирота!».

Но будущее принадлежит Кульковым и Лопахиным и поэтому сады вырубаются. Чехов считал Лопахина главным характером пьесы, и нет никакого сомнения, что Соловьев считал главными действующими лицами своей пьесы Кулькова и его сына Петра, окончившего институт. Эти характеры представляют нарождающийся новый класс людей. Земля, которую Кульков и Лопахин покупают не является просто целью наживы, а скорее (как в крестьянских драмах)⁴ символом борьбы за свою свободу и волю. Оба, хотя Кульков уже сделался купцом, и Лопахин, который «носит белую жилетку, желтые башмаки» и, у которого «тонкие нежные пальцы, как у артиста» остаются по-прежнему мужиками. Кульков не только остался в крестьянской среде, но и обижается когда ему на это указывают. На укор Баюкина, он несколько иронически отвечает: «Известно... мы по своей необразованности». Когда возникает вопрос о женитьбе его сына Петра на Кате, он оговаривается: «Н-да, мол... какой-то приговор мы себе услышим... прочь нам укажут за нашу отважность... никогда ни от кого в жисть свою страма не получал, окромя, что всякий шапку ломал перед Кульковым». Почти то же говорит и Лопахин: «Мужичок... отец мой правда был мужик, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках со свиным рылом в калашный ряд... только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком».

Очень схоже говорят о саде Кульков и Лопахин. Сад для старших Баюкиных, Раневской и Гаева это — беззаботное прошлое и красота, для Кулькова и Лопахина сад — выгодное дело. Выслушав трогательную просьбу Баюкина не рубить липовые аллеи, Кульков хладнокровно отвечает «всё одно — от старости оне сгибнут — а то пошли бы в дело». Ту же самую мысль выска-

⁴ См. мою книгу: *The Changing Image of the Peasant in Nineteenth Century Russian Drama*. The Finnish Academy of Sciences, Helsinki. 1972.

зывает и Лонахин в ответ Раневской: «Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает», надо «вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи».

Интересно то, что и Кульков и Лонахин особенно против покупки сада чужим человеком. Когда Петр просит отца не покупать последний кусок усадьбы Баюкиных, Кульков взволнованно отвечает: «Не мы бы... так другие: другие-то, может, нагрели бы руки еще больше нашего коло них!» Лонахин, по возвращении с аукциона, также взволнованно описывает происшедшее: «Я купил! Пришли мы на торги, там уже Дериганов... я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять, я пятьдесят пять... ну, кончилось... вишневый сад мой».

Существуют параллели и между другими характерами. Баюкин и его жена Ольга являются представителями «уходящего класса». Их двойники в *Вишневом саду* Гаев и Раневская. Все они тоскуют о прошлом и по-детски надеются предотвратить неизбежное исчезновение их уходящего быта. Баюкин постоянно говорит об улучшении земледельческого труда, неоднократно упоминает о проекте какой-то новой экономической системы, над которой он будто бы усиленно работает, но фактически большую часть времени проводит занимаясь гимнастикой. Время его жены проходит в интригах, в ожидании улучшения их финансового положения помощью от брата и в ее жалобах на то, что ее дочь Катя превращается в крестьянку. Гаев будто бы работает тоже над проектом выплаты долгов и сохранения сада, но на самом деле он занят воображаемой игрой на бильярде. Раневская плачет о прошедшей молодости и о жизни, которой больше не существует.

Но всего больше параллелей в характерах Баюкина и Гаева. Их роли в пьесах почти одинаковы. Оба должны бы были быть хозяевами своих имений, но оба не выполняют своих обязанностей. Фактически, оба потеряли всякий контроль над своим хозяйством и даже не пользуются уважением ни родных, ни прислуги. Баюкина так выражается о своем муже: «Недоставало, чтобы весь дом кривлялся и прыгал за вами по какому-то руководству; тогда был бы уже чисто дом сумасшедших». Лонахин называет Гаева «бабой» и вполне уверен, что хозяйство не будет спасено «главой»: «Ничего у вас не выйдет и не заплатите вы

процентов, будьте покойны». Жена Баюкина укоряет мужа: «Это наша прислуга! В довершение всего мы остались без людей: все разбежались от нас!» Гаев говорит подобное своей сестре, по ее возвращении из-за границы: «А без тебя тут няня умерла. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел». Вместо дела и Баюкин и Гаев прячутся: один — в мир пустой гимнастики, другой — в бильярдную игру. Эти характерные черты их являются часто в обоих пьесах предметом диалога. Функциональны они в том, что определяют характеры Баюкина и Гаева, которые кажутся зрителю «взрослыми детьми». Даже в моменты серьезных раздумий Гаев постоянно сосет леденцы, а Баюкин говорит жене с восхищением о своем проекте: «Ах... мой проект... Ооо! он должен изменить совершенно наше экономическое положение... я создаю совершенно новую хозяйственную систему! Когда я осуществляю мой проект на практике, наше Староселье зацветет». В ремарках актерам Соловьев указывает, что говоря эти слова, Баюкин движется «вирипрыжку, выделявая руками и ногами гимнастические упражнения». Также и Гаев, когда речь идет о материальных вопросах, он вдруг обращается к воображаемой игре в бильярд, — «желтого в угол! дуплет в середину!» Детская натура Гаева подкрепляется тоже ремарками Чехова. Так, в очень серьезный момент, когда Гаев клянется, что он сбережет именно: «Заплатим, я убежден. Честью моей, чем хочешь клянусь, именно не будет продано!» Чехов указывает, что до начала своего высказывания Гаев берет в рот леденец.

Как я уже говорил, финал пьес *Светит, да не греет* и *Ликвидация* разрешается иначе, чем у Чехова. В этих двух пьесах ведется любовная интрига, довольно шаблонная, которая только обременяет ход действия. Есть, конечно, и другие отличительные черты. Характеры у Чехова очерчены более ярко, более артистически и вся композиция несравненно интереснее.

Однако, приведенные сходства даже в некоторых деталях (Ренева — Ганевская, Дерюгин — Дериганов, упоминание в *Ликвидации* о какой-то Гаевой; одинаковые суммы денег; пребывание за границей продолжающееся пять лет и в *Светит, да не греет* и в *Вишневом саду* и др.) дают достаточный повод, чтобы указать на эту параллельность пьес.

Трудно сказать, заимствовал ли Чехов сознательно из пьес

Светит, да не греет и *Ликвидация*; в письмах Чехова нет прямых указаний на это. Но несомненно, конечно, что он знал драмы Островского. Ольга Книппер-Чехова играла в пьесах Островского и в нескольких письмах обменивалась с Чеховым мыслями о разных ролях. Из письма Чехова к Н. М. Ежову видно, что он был знаком и с драмой Соловьева *Женитьба Белугина*, написанной им вместе с Островским.

Во всяком случае интересно установить, что мысли, образы и многие детали последней пьесы А. П. Чехова разрабатывались другими авторами, больше чем за 20 лет до появления его знаменитого «Вишневого сада».

Университет Ватерлоо.

Андрей Донсков

ВИТТОРЕ КАРПАЧЬО

Владимиру Вейдле

Мне знакомы на его просторе
Заколдованные короли,
Обезьяны, карлы, замки, море,
Воины, Урсула, корабли.

А милей немолодые дамы:
Обе одиноки, небедны
И, не зная ни любви, ни срама,
Развлекаться здесь обречены.

На балконе вазы, голубочки,
Псы, нераспустившийся павлин.
Кружевца повисшего платочка:
Нити, шелковистые, седин.

Где угодно буду: не забуду.
Их узнаю: русые, в парче.
Сестры и по скуке, и по блуду,
И еще по холоду в плече.

Парки? Пифии? Гетеры? Музы?
Или куклы, тряпки: ничего!
Или рай: распутанные узы,
Неопознанное торжество?

Сколько света: золото печали
С празеленью грушевой воды.
Вопрошаю: чем околдовали?
Недоступные, а не горды...

Догадался за его картиной,
За неяркой пестрой тишиной,
Гондола негромкой мандолиной
Отзывается, блестя резьбой,

Серебристой, носовой, зубчатой...
Слушали горбатые мосты,
Зыби, узкоглазые палаты,
Две подруги, звери, птицы, ты.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ГЕНУЯ

Огромная Генуя,
Смердела гиенами,
Гремела гееннами,
За мною гналась.

Безумные дротики
Расколотой готики
И звякали звонницы
Цепями бессонницы.

Разбойники, зодчие,
Гуляки, рабочие,
Блудницы и прочие...
Я с ними не прочь!

За всеми заборами
Сквозило просторами.
Волнами горбатыми
Плыви за пиратами.

Огромная Генуя,
Смердела гиенами,
Гремела гееннами,
На волю гнала.

Юрий Иваск

СТОЛЕТИЕ «БЕСОВ» ДОСТОЕВСКОГО

В связи со столетием со дня выхода в свет романа Ф. М. Достоевского «Бесы», вновь возникает вопрос о значении этого произведения, о современном прочтении его, об актуальности идей, высказанных писателем сто лет назад.

В декабрьском номере журнала «Русский Вестник» за 1872 год были опубликованы последние восемь глав романа «Бесы». Интерес, вызванный романом у публики, был настолько велик, что жена писателя, Анна Григорьевна, решила издать его сама, без помощи издателей, помня печальный опыт с публикацией романа «Преступление и наказание» и некоторых других произведений. В январе 1873 г. «Бесы» вышли отдельным изданием. Издание имело большой успех.

С первого появления в печати, еще в журнальном варианте, роман вызвал ожесточенную полемику. Как пишет Анна Григорьевна в Воспоминаниях: «Надо сказать, что роман «Бесы» имел большой успех среди читающей публики, но вместе с тем доставил мужу массу врагов в литературном мире».

Вряд ли какое другое литературное произведение девятнадцатого века вызвало такие ожесточенные споры как роман «Бесы». История русской литературы знает оживленную полемику вокруг таких произведений как «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, «Отцы и дети» Тургенева, но ожесточенность и продолжительность споров о романе Достоевского превосходит все. Как и большинство критиков романа Тургенева «Отцы и дети», многие критики романа «Бесы» видели в персонажах литературного произведения прямое отражение своих современников и обвиняли Достоевского, так же как десять лет назад обвиняли Тургенева, в «окарикатуривании» нового поколения и даже в «клевете» на него. Резкие отзывы на «Бесы» появились в газетах «Биржевые ведомости» (1872, № 83), «Новое время» (1873, № 61), «Голос» (1873, № 18) и др.

Критики обвиняли Достоевского в разрыве с «западническим прогрессом», в «реакционных тенденциях», в «антидемо-

кратичности», в «клевете на революционеров». Современник Достоевского П. Н. Ткачев в статье о «Бесах», написанной в 1873 году, упрекал писателя в «рenegатстве», в отказе от своих убеждений, за которые Достоевский поплатился каторгой в конце сороковых годов, и в героях романа видел только фантастические маски и патологические случаи (Больные люди, «Дело», 1873, № 3 и № 4).

Н. К. Михайловский, давший в статье «Комментарии к «Бесам» в «Отечественных Записках» (февраль, 1873) единственный довольно обстоятельный разбор романа, считал, что «сатира» Достоевского была направлена «не на тех бесов» и осуждал писателя за переход в лагерь «правых». Критик не увидел исторического значения таких образов, как Петр Верховенский, Кириллов, Шатов и писал, что Достоевский сообщает своим героям свои собственные «эксцентрические идеи».

В примечаниях к новому изданию Воспоминаний А. Г. Достоевской ленинградский литературовед С. В. Белов отмечает, что «либеральная критика переусердствовала в нападениях на роман Достоевского: предавая проклятию произведение, она, в сущности, отказалась от анализа самого романа».

Даже и при положительной оценке романа, критик В. Г. Авсеенко упрекал Достоевского в нехудожественности, растянутости и «фантастичности». Один только критик — В. П. Буренин, опубликовавший в «С.-Петербургских ведомостях» целую серию статей о романе «Бесы», хотя не всегда доброжелательно отзывавшийся о произведениях Достоевского, возражал тем критикам, которые ставили роман «Бесы» в один ряд с так называемыми «антинигилистическими» романами Н. Лескова («Некуда»), Авсеенко («Бездна») и Маркевича.

Это сложное произведение не было понято и иностранными критиками. Современник Достоевского, известный французский литературовед Евгений Мельхиор дэ Вогиюэ, в своей книге «Русский роман» рекомендовал французским читателям Достоевского, как автора трех произведений — «Бедных людей», «Записок из Мертвого дома» и «Преступления и наказания», даже не упомянув о «Записках из подполья». Роман же «Бесы» Вогиюэ не считал вообще достойным внимания, заявив, что эта книга «запутанная, плохо построенная, загруженная апокалиптическими теориями».

К сожалению, оценка таких первых критиков романа, как

Ткачев, рассматривавших роман «Бесы» только как «памфлет», надолго стала своего рода клише в литературоведении. По этому пути пошли многие критики, вплоть до современных. Не внимательное чтение романа и его анализ, а повторение предвзятых мнений характерно как для либеральной русской критики семидесятых годов, так и для большинства советских критиков. Отрицательному отношению советских критиков способствовала, конечно, и кампания, поднятая Максим Горьким против постановок Московского Художественного Театра по романам Достоевского. По существу, Горький в 1913 г. повторил то, что уже было сказано Михайловским, обвинившим Достоевского в своей печально известной статье «Жестокий талант» в «сладострастии злобы и жестокости», в нарочитом «мучительстве» читателя, в изображении «кунсткамеры маньяков». Горький назвал Достоевского «злым гением», а роман «Бесы» произведением «еще более садистическим и болезненным», чем «Братья Карамазовы». 27 октября 1913 г. Горький выступил с открытым письмом, известным также под названием «Еще о карамазовщине», протестуя против постановки спектакля по роману «Бесы» и настаивая на «вреде» романов Достоевского. 17 авг. 1934 г., в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, Горький пошел настолько далеко в своем предвзятом толковании произведений Достоевского, что сказал: «Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал — он нашел ее в зверином, животном начале человека, и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать...»

В 1913 году коллектив МХТ ответил Горькому открытым письмом (опубликованном в газете «Русское слово», № 223 от 26 сент.), в котором говорилось: «В разгар нашей трудной и радостной работы над постановкой второго романа Достоевского ваше выступление нам особенно чувствительно». Артисты удивлялись, как Горький не увидел в образах величайшего художника ничего, кроме садизма, и предъявил Достоевскому обвинение в «растлении общества». Артисты писали, что согласившись на требование Горького и отказавшись от постановок по произведениям Достоевского, они должны были бы отречься от всего лучшего в русской литературе, отданного служению высшим запросам духа.

Естественно, что отрицательная оценка романа «Бесы» не изменилась в советской критике до наших дней. Так, в Истории

русской литературы под редакцией проф. Петрова, служащей пособием для студентов литературных факультетов, говорится, что «яростный реакционный памфлет «Бесы» стал знаменем реакции и принимался на вооружение всеми реакционными кругами, которые выступали против революции и социализма». В книге М. С. Гуса, «Идеи и образы Достоевского», также говорится, что в романе «Бесы» Достоевский написал «пасквиль на русских революционеров, на передовую молодежь». Ф. И. Евнин в статье «Роман «Бесы», представляющей наиболее обстоятельный анализ романа в советском литературоведении, также рассматривает это произведение только как «политический роман-памфлет». Не свободны от этого предвзятого взгляда и западное литературоведение.

Следует отметить, что среди советских литературоведов и философов раздаются голоса, возражающие против такой оценки романа. Еще в 1965 году, в статье В. Розенблат в журнале «Русская литература» был поднят вопрос о необходимости пересмотра отношения к роману «Бесы». В недавно вышедшем в Ленинграде исключительно интересном исследовании А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты» признается несостоятельной любая попытка «представить Достоевского либо антинигилистом, ничем не отличавшимся от Каткова в его вражде к молодому поколению и революционной деятельности, либо нигилистом-индивидуалистом ницшеанского толка». Автор книги возражает и против суждения, ставящего роман Достоевского в один ряд с «антинигилистическими» романами Крестовского, Лескова, Клюшникова.

Для познания исторического значения романа «Бесы» надо посмотреть на каком фоне появилось это произведение. Оно писалось через восемь лет после взволновавших общественность пожаров в Петербурге и польского восстания, в обстановке усиливавшихся радикальных настроений молодежи, приведших к покушению Каракозова на жизнь императора Александра II (4 апреля 1866 г.), после Лозаннского и Базельского конгрессов Интернационала (состоявшихся в 1867 и 1869 гг.) и Женевского конгресса мира (1867 г.) со знаменитой речью Бакунина, требовавшего уничтожения русской империи; во время франко-прусской войны и Парижской коммуны и обострения восточного вопроса. В литературе всего восемь лет назад Тургенев в романе «Отцы и дети» впервые обратил внимание

публики на растущее враждебное отношение молодежи ко всему существующему порядку, отношение, нашедшее развитие в опубликованных в 1865 г. статьях Писарева «Разрушение эстетики» и «Мыслящий пролетариат». В конце шестидесятых годов появляются статьи Н. Данилевского «Россия и Европа», а также «Исторические письма» П. Лаврова. Среди художественной литературы выходит в свет роман В. Крестовского «Панургово стадо» и одновременно с первыми главами «Бесов» печатается роман Лескова «На ножах» (1871 год). Появляются сатиры Салтыкова-Щедрина «История одного города» и «Господа ташкентцы», поэма Некрасова «Русские женщины», рассказ Тургенева «Конец Чертопханова» и повесть «Вешние воды», пьесы Островского «Лес», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», роман Писемского «В водовороте», «Соборяне» Лескова, «Дельцы» Боборыкина. Среди всех этих произведений роман «Бесы» поражает исключительным чувством пульса жизни своего времени и чувством истории.

При оценке романа критики обычно ссылаются на письмо Достоевского Страхову от 24 марта/5 апреля 1870 г., где сказано: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Заметим, что Достоевский высказал здесь только **предположение** о том, какую форму может принять произведение, над которым он начал работать. Однако критики приняли это высказывание писателя за утверждение и положили его в основу своей оценки романа. В том же письме к Страхову, а также в письме, написанном на следующий день А. Н. Майкову, Достоевский говорит о своем замысле цикла романов под общим названием «Житие великого грешника» и развивает свою идею. Это подтверждает мысль, что роман «Бесы» не должен рассматриваться как какое-то отдельное произведение, написанное на «злобу дня», а как органическая часть общего замысла, вынашивавшегося более трех лет.

Из записных тетрадей Достоевского, из его писем и из воспоминаний его жены известно, что в уме писателя всегда было несколько замыслов будущих произведений, что, во время работы над ними он набрасывал несколько планов, часто их

менял и использовал многие предыдущие наброски, чтобы как можно яснее и художественней выразить занимавшую его мысль, всегда имевшую непосредственную связь с событиями текущей жизни. Всем произведениям Достоевского, предшествующим роману «Бесы», свойственно стремление автора найти внутреннюю мотивировку самым странным, иррациональным поступкам, понять духовные и идейные искания человека, определить его отношение к другим людям и событиям текущей жизни, а также к самому себе и к значению своего существования в мире.

В конце шестидесятых годов, одновременно с работой над романом «Идиот», Достоевский задумал другой роман с первоначальным названием «Атеизм». Писатель замыслил создать целую философскую эпопею под названием «Житие великого грешника». В письме к А. Майкову Достоевский писал о желании высказать в этом произведении свою главную идею: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие». Первоначальный план был осуществлен иначе, хотя главная идея была сохранена. Рассказ брата жены писателя — Ивана Сниткина, приехавшего в Дрезден в октябре 1869 г. навестить Достоевских, о студенческом движении и о новых теориях, занимавших молодежь, а также появившееся вскоре в газетах сообщение об убийстве студента Иванова его же товарищами во главе с Нечаевым, влили новую идею в уже задуманный план. Достоевский начинает писать роман, в котором вначале большое значение он придавал политическому протесту молодежи и «идеологическому» убийству, но затем несколько раз менял план романа, уделяя всё более внимания этическим вопросам.

Из писем Достоевского, и из его черновиков видно, что в процессе писания «Бесов» делалось еще больше изменений, чем при создании романа «Идиот». В письме к своей племяннице Соне Достоевский сообщает в августе 1870 г., что неожиданно он изменил весь план романа, так что пришлось уничтожить плод работы целого года (более 15 печатных листов). Название «Бесы» впервые упоминается лишь в письме к А. Майкову в декабре 1870 г. О трудных поисках наиболее верного воплощения идеи писателя говорит и Анна Григорьевна. В своих Воспоминаниях она пишет, что в начале 1873 года До-

стоевский «так был измучен работой над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным».

Изменение и переосмысление, а иногда и противопоставление разных материалов и есть процесс творчества. Но результат этого процесса представляет единое, цельное произведение искусства. Как отметил В. Шкловский, «художественное произведение, возникающее в результате самого разнообразного материала, после своего создания неделимо». Как художественные произведения Достоевского, так и его публицистические статьи, письма и заметки в записных книжках свидетельствуют, что он обладал исключительным чувством истории. Все его произведения обращены к будущему: пристально всматриваясь в отдельные факты современности, писатель видел в них зачатки крупнейших явлений последующей истории.

Что же представляет собою роман «Бесы»? Действительно ли это памфлет на революцию и нигилистов или же это гениальное выражение автором своего чувства истории, открытие возможного направления исторических событий, угаданных в некоторых фактах окружающей его реальной жизни и в некоторых только возникавших еще теориях? Напомним, что в записных тетрадях к роману Достоевский писал: «Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромною своей частью заключается в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего Слова». М. М. Бахтин, комментируя эти слова, пишет, что Достоевский «создавал живые образы идей, найденных, услышанных, иногда угаданных им в **самой действительности**, то есть идей, уже живущих или входящих в жизнь как идеи-силы». Роман «Бесы» и есть гениальное свидетельство этой особенности писателя слышать голос будущего в подспудных, еще не развернувшихся идеях, какими бы отрицательными или абсурдными они ни казались.

Для более объективного суждения о романе «Бесы» необходимо, прежде всего, посмотреть, **что** говорил сам писатель о своем творческом замысле, о своем отношении к нигилизму и к духовным и социальным исканиям человека. Следует помнить, что Достоевский сам прошел весь сложный путь современного человека. Только что выйдя из каторжной тюрьмы, он писал Н. Д. Фонвизиной: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения...» Но, подвергнув сомнению ценность существующих общечеловеческих понятий, Достоевский вскоре увидел,

что человечество не может существовать без этического идеала, без стремления к нему. В том же письме он писал: «Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Значительно позже, в записных тетрадах за 1880 год, Достоевский отметит распространенность нигилистических настроений в России: «Все нигилисты... Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления...» Вспоминая впечатление, произведенное романом «Бесы», он пишет: «Комический был переполох и заботы мудрецов наших отыскать: откуда взялись нигилисты? Да они ниоткуда и не взялись, а все были с нами, в нас и при нас...» Но Достоевскому было ясно, что словом «нигилизм» обозначаются разные понятия.

Статьи и речи Бакунина, а также нечаевское дело и обстоятельства убийства студента Иванова, открыли Достоевскому одну из форм нигилизма — нигилизма разрушительного, спекулирующего высшими идеями с целью добиться безграничной власти путем разрушения и подчинения масс воле небольшой группы людей. Достоевский писал, что художник обладает особым даром видеть в отдельном факте, даже и вовсе не таком ярком на первый взгляд, глубокое значение. Все произведения Достоевского построены на фактах действительной жизни, за внешней формой которых писатель различал их глубокое значение.

«Бесы» это произведение, в котором Достоевский хотел выразить свое мнение о раздиравшем его поколение противоречии, — о распаде религиозного сознания, о безграничности понятия свободы, об искажении идеалов, о силе зла, существующего не только во внешнем окружении, но, главным образом, заключенного в сердцах людей и действующего через людей, а также о поисках выхода — в деятельной любви. В романе показано, что в действительно происшедшем событии — убийстве студента Иванова — Достоевский увидел зачатки общественного явления, таившего в себе огромную опасность. Исторический опыт двадцатого века показал, что тревога писателя была обоснована: в отдельном факте он сумел предвидеть страшную практику современной эпохи — организованное, прикрываемое гуманитарными идеями и теорией «для пользы дела», логически обоснованное убийство с целью укрепления

власти группы над большинством и торжества идеологии победителей. Для Достоевского задача искусства — «не случайности быта, а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многообразия однородных жизненных явлений». Кроме действительных событий, для художника «есть общие вечные, и кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человека». Писателя прежде всего интересовал вопрос — как вообще возможны такие чудовищные явления как убийство человека его же бывшими товарищами и единомышленниками, и как возможно, что подобные Неачевы набирают себе последователей. В своем романе Достоевский и ставит вопрос: как может ложь, искаженный идеал быть принят за правду, за путь к Истине.

Поиски справедливости, всеобщего благополучия, социальной справедливости привлекали и продолжают привлекать лучшую, мыслящую часть молодежи. Достоевский отмечал в статье, написанной в 1873 г., что именно горячая, способная молодежь всегда интересуется проблемами переустройства общества. В конце сороковых годов Достоевский сам горячо интересовался поисками путей для установления всеобщего братства и обновления человечества. По словам Достоевского, он сам мог бы тогда стать последователем Нечаева. Но, говоря о своем романе, Достоевский неоднократно повторял, что лицо его Нечаева (то есть Петра Верховенского) «нечто похоже на лицо настоящего Нечаева». Вскоре после выхода в свет романа «Бесы» Достоевский писал в «Дневнике писателя»: «Я хотел поставить вопрос, и сколько возможно яснее, в форме романа, дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а **Нечаевы**, и каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец Нечаевцев?» Достоевский отмечает, что «ложь, принятая за правду, имеет всегда опасный вид». Самая прекрасная, идеалистически настроенная молодежь, ищущая справедливости, может принять ложь за правду и пойти по ложному направлению. Такими настроениями молодежи и пользуются люди, одержимые жаждой власти, движимые страстью утвердить свою личность и поставить ее над другими людьми. Таким человеком был Нечаев, таким показан в романе Петр Верховенский. Верховенский умело использует идеализм членов «пятерки» — созданной им тайной группы — и вовле-

кает их в совершение чудовищного преступления. Наиболее яркий пример тому — чистый душой, жаждущий приобщения к делу на «благо человечества», юный идеалист прапорщик Эркель, ставший прообразом будущих бездумных исполнителей самых античеловеческих преступных приказов. Это он идет за Шатовым и от больной жены и новорожденного младенца уводит его на верную смерть. Соблазненный магической формулой «для блага человечества» и «для пользы дела», чувствительный и ласковый Эркель полностью отдает себя в распоряжение обоготворяемого им вождя — Петра Верховенского. Он не рассуждает, собственного мнения у него нет, он фанатически предан **формуле** и механически исполняет волю вождя: без всякой личной ненависти к Шатову, Эркель принимает активное участие в убийстве. В двадцатом веке появились десятки тысяч Эркелей, исполняющих любой приказ, объясненный необходимостью — «для блага дела».

В статье из «Дневника писателя» Достоевский напоминал своим критикам: «Все эти тогдашние идеи (т.е. идеи сороковых годов) нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества».

Нечаевское дело, а также опубликование «Катехизиса революционера», в котором ясно выражена цель организации Нечаева: «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», — побудили Достоевского создать художественными средствами образы людей, способных на нечаевские преступления. В письме к М. Каткову от 20 окт. 1870 г. Достоевский особенно подчеркивал, что, если бы он даже знал лично Нечаева или Иванова, он никогда не копировал бы их в художественном произведении. В «Записных тетрадях» к роману «Бесы» также говорится, что персонаж, условно обозначаемый сначала именем Нечаева, «не социалист, но бунтовщик, в идеале его бунта разрушение, а там 'что бы ни было'». Идея разрушения всего существующего, всеобщей смуты высказывалась Бакуниным еще до нечаевского дела. Достоевский был в Женеве в 1867 году и сам слышал выступление Бакунина на конгрессе, созванном «Лигой мира и свободы». Уже из этого факта видно, что Достоевский отнюдь не писал «пасквиль на революционную молодежь», как утвержда-

ли в его время либеральные критики и утверждают до сих пор казенные советские критики. Достоевский лишь показал результат применения в реальной жизни тактики Нечаева и идей «Катехизиса революционера».

Роман «Бесы» наиболее исторический из всех произведений Достоевского. В письме к наследнику русского престола, будущему императору Александру III-му в 1873 г. Достоевский называл свой роман «почти историческим этюдом» и указал, что он хотел выразить «родственность и преемственность мысли, развившуюся от отцов к детям». Достоевский, как отметил Н. Бердяев, «первый узнал неотвратимость последствия известного рода идей». Главная задача писателя была показать, что ни одна социальная или политическая теория, не поддерживаемая нравственными нормами, не может привести человечество к благу. Для Достоевского высший этический идеал был воплощен в образе Христа. Отказ от идеала Христа-Богочеловека означал и отказ человека от своего Я, лишаящегося идеала морального совершенствования. Этот вопрос, поставленный позже Иваном Карамазовым в плане этического-религиозном, ставится в романе «Бесы» в плане этического-историческом. Поэтому такое огромное значение имеют образы Ставрогина, Кириллова и Шатова, образующие собою символический триптих, которым выражена трагедия религиозных сомнений и духовных и социальных исканий современного человека.

Нам представляется несостоятельным мнение Н. Михайловского, обвинявшего Достоевского в том, что члены нигилистической «пятерки» «взяты на прокат у гг. Стебницкого и Ключникова», и утверждавшего в статье в «Отечественных записках» в 1873 г., что «такие персонажи, как Ставрогин, Шатов, Петр Верховенский, Кириллов, составляют исключительную собственность г-на Достоевского в русской литературе». Работы, посвященные обсуждению возможных прототипов действующих лиц романа, приобретают в связи с вышесказанным особое значение. Известная полемика Леонида Гроссмана с Вячеславом Полонским относительно прототипа Ставрогина, в также многочисленные работы ленинградского литературоведа М. С. Альтмана о прототипах литературных героев и об исторических личностях, черты которых были воспроизведены в литературных произведениях, подтверждают историзм подхода Достоевского к проблемам, поставленным в

романе «Бесы». Возможно, что в образе Ставрогина, как предполагал Л. Гроссман, отразились черты характера и некоторые особенности жизни Бакунина, хотя многие факты противоречат мнению Гроссмана, видевшего в образе Ставрогина «основные контуры Бакунинской биографии и некоторые капитальные эпизоды ее, главные этапы его идеологии и личной судьбы» и рассматривавшего весь роман, «считавшийся до сих пор изображением 'нечаевщины'... первой монографией о Бакунине». Есть другое предположение — А. С. Долинина, что образ Ставрогина задуман Достоевским в какой-то степени под влиянием воспоминаний о Спешневе, которого, как свидетельствует Яновский, Достоевский называл своим «Мефистофелем». Справедливо, думается, мнение В. П. Полонского, видевшего в Ставрoгине «характернейший персонаж Достоевского» и «постоянного героя его романов», персонаж который стоял уже в центре планов романа «Атеизм», а затем «Жития великого грешника». Ф. И. Евнин считает, что «к кругу литературных предшественников Ставрoгина... можно в той или иной мере причислить героев ранних поэм и «Демона» Лермонтова, Арбенина из «Маскарада», Печорина, пушкинского Алеко, отчасти даже Евгения Онегина». Все эти мнения, в особенности соотнесение образа Ставрoгина с Бакуниным и Спешневым, подтверждают типичность образа для эпохи, изображенной в романе «Бесы». Факт наличия идеологии Бакунина и Спешнева, а также и идеологии Нечаева в романе бесспорен, хоть эта «идеология» и не выражена в одном каком-нибудь персонаже, а воплощена во многих «одержимых».

Николай Ставрoгин — центральная фигура романа — проходит весь сложный путь духовных исканий и духовного распада. От беспредельной веры в Христа, как воплощения идеала для человечества, и готовности остаться верным этому идеалу, даже если истина не соответствует ему, и если бы ему доказали, что эта истина вне Христа, Ставрoгин приходит к полному атеизму. Но, потеряв веру в Бога, в идеал, он теряет веру и в человека. «Из меня вылилось только одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы...» пишет он Даше накануне самоубийства. Ставрoгин становится носителем зла и губит всех, соприкасающихся с ним. «Для зла людям живет», говорит о нем капитан Лебядкин. Это он дает Петру Верховенскому совет «скрепить кровью» его пятерку и общим пре-

ступлением полностью подчинить их воле диктатора — Верховенского: «...подговорите четырех членов кружка ужокошить пятого, под видом того, что донесет, и тотчас же вы их всех пролитую кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать...» Верховенский исполнил совет Ставрогина. Этот принцип, применявшийся уголовными преступниками, в наши дни перенесен в политику и получил в двадцатом веке широкое применение. Поэтому всё значение образа Ставрогина и могло быть понято только в двадцатом веке.

Рядом с Ставрогиным в романе «Бесы» — Кириллов и Шатов, бывшие ранее последователями Ставрогина, развившие до крайности его идеи. Скромный инженер Кириллов занят чрезвычайно сложными религиозно-философскими проблемами, над решением которых человечество задумывается и поныне. Кириллов полон любви к человеку, он мечтает о лучшем устройстве человеческого общества и готов пожертвовать собою для блага людей. Он хочет достичь абсолютной свободы для человека. Для этого человек должен преодолеть страх смерти. Бог, по мнению Кириллова, «есть боль страха смерти», идея Бога препятствует абсолютной свободе человека, и только отречьшись от Бога, человек может достичь обновления и стать сильным и счастливым. Восстав против Бога, Кириллов заменяет Бога — человекобогом: «Кто победит боль и страх, тот сам станет богом», говорит Кириллов.

Но Кириллов не «маньяк» и не «полупомешанный безумец», как его определяют некоторые критики, и идеи его не надуманы писателем. Идеи Кириллова это некий отзвук известных в то время идей Людвига Фейербаха, проповедывавших затем и Михаилом Бакуниным. Фейербах — современник Достоевского, год его смерти (1872) совпадает с годом опубликования романа «Бесы». В основе теории Кириллова лежит тезис Фейербаха, стремившегося убить в человеке идею Бога. Русский перевод главной работы Фейербаха «Сущность христианства» появился в Лондоне в 1861 году. В ней, а также в «Мыслях о смерти и бессмертии» (1830), в «Лекциях о сущности религии» (1851) Фейербах отрицал идею бессмертия; он видел источник религии в бессилии человека перед стихиями и в страхе перед непонятными ему законами природы. Он писал: «Сознание Бога есть самосознание человека, познание Бога —

самопознание человека». Теология, по мнению Фейербаха, «есть в действительности, в ее последнем основании и в конечном выводе, лишь антропология». Отвергая идею Бога, он стремился подставить на место христианской религии свою религию, в центре которой он ставил обожествленного человека: «Личность Бога есть не что иное, как отделенная, объективированная личность человека».

На характер бунта Кириллова повлияли и сходные мысли Бакунина, развившего теорию Фейербаха. Выступая в 1867 г. в Женеве на Конгрессе, созванном «Лигой мира и свободы», Бакунин сказал, что новая ассоциация должна быть основана на трех принципах: федерализма, социализма и антитеизма, то есть активной борьбы с религией. Бакунин видел в идее Бога не основной смысл духовной жизни человека, стремящегося претворить в жизнь идеал совершенной любви, а самоотрицание разума и превращение человека в раба. По мнению Бакунина каждый, верящий в Бога, этим самым отказывается от своей свободы и унижает достоинство человека: «Если Бог существует, то у человека нет свободы, он — раб; но если человек может и должен быть свободен, то значит Бога нет». Эта мысль почти буквально повторена в «Бесах» Кирилловым, заявившим: «Если Бог есть, то вся воля Его... Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие». Требуя неограниченной свободы для человека, обожествляя его, Кириллов именно этим открывал дорогу тирании, ибо человек, считающий, что его своеволию нет границ, этим уничтожает идею свободы.

Если бы Достоевский ограничился лишь повторением идей, сходных с идеями Фейербаха и Бакунина, образ Кириллова не был бы образом трагическим. Но трагичность ему придает борьба внутренне присущего ему религиозного чувства с воспринятыми рассудком идеями воинствующего атеизма.

Идея Шатова противоположна идее Кириллова. Начав, как Кириллов, с отрицания Бога, Шатов вскоре убеждается, что свобода, переходящая в своеволие, и не знающая никаких ограничений, несет в себе разрушение и деспотизм. Наблюдая разрушительную деятельность Петра Верховенского и его нигилистической группы, всю сложную сплетенную им сеть интриг и клеветы, Шатов убеждается, что только свободно творимое добро для уже существующих людей есть добро истинное. Шатов отходит от нигилистов: он ищет иных путей и находит

их в историческом труде народа, одухотворенного идеей национального единения и взаимной любви. Шатов создает своеобразную теорию религиозного народничества, не замечая еще опасности, таящейся в его народопоклонстве, а также и в его тезисе, что «у всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро». Несмотря на то, что Шатов одержим своей теорией, так же как Кириллов своей, он всё же чувствует несовершенство своих идей и, понимая, что еще не нашел решения, продолжает поиски Бога, как высшей нравственной идеи. Характерно, что Шатов нашел успокоение, накануне своей трагической смерти от руки Петра Верховенского, не в своей теории, а в деятельной любви к конкретному человеку — своей бывшей жене и ее ребенку — и во всепрощении.

Не так давно опубликованное в журнале «Энкаунтер» письмо Бакунина к Нечаеву (от 2 июня 1870 г.) подтверждает историческую реальность типов, созданных художественной интуицией и чувством истории Достоевского. Бакунин подтверждает в этом письме свою программу разрушения существующего государственного строя путем превращения крестьянского бунта во всеобщую стихийную революцию с последующим подчинением восставших масс коллективной диктатуре членов тайных кружков. В то же время Бакунин критикует тактику и действия Нечаева, пустившего в ход обман, запугивание, провокацию, шпионаж, клевету. Бакунин пишет, что беспредельная жестокость Нечаева, его крайний фанатизм, положенные в основу всех его действий, чрезвычайно вредны и направлены против человека и общества. Всё это, в сопоставлении с текстом официального документа — «Катехизиса революционера» — показывает, что ни система Шигалева, дополненная Петром Верховенским, ни сам Петр Верховенский не выдуманы писателем. Петр Верховенский — не «памфлетный» персонаж, а поднятая до символа характернейшая фигура современной истории, в которой действует дух зла, разрушения и насилия.

Опыт последующей истории Европы и Азии показал, что роман «Бесы», это — глубокое прозрение в будущее, в котором «гуманистические идеи» переустройства общества выродились в насильное подчинение людских масс воле небольшой группы людей, захвативших власть. Сто миллионов жизней,

уничтожение которых требовалось, чтобы «вернее перескочить через канавку», то есть принять, как объяснял Петр Верховенский, «скорое решение, в чём бы оно ни состояло», с целью радикального социального переустройства, оказались не метафорой, а реальной цифрой, исчисляющей несметные жертвы, усеявшие собою огромные пространства Европы и Азии.

Надежда Натова

АПОКАЛИПСИС

...А воронье казалось пеплом,
Взлетающим над пепелищем...

Шел снег бесстрастный, как могильщик
Он на огни накинул петли,
Перемешал меня и нищих
И стекла с лужами смешал,
Он падал, холодно помедлив,
Туда, где каторжником беглым,
Дрожащим, что его отыщут,
Прижался маленький вокзал.

...А воронье казалось пеплом,
Кружащимся над пепелищем...

Под светом выморочно-бледным
На одиноком полустанке
Метались лица, словно бредни,
В тяжелом полусне окон;
Заборы изгибали гребни,
Сшибались голоса, как склянки:
Был миг, достойный быть последним —
Измерен, взвешен, обречен...

...И воронье казалось пеплом,
Летающим прочь от пепелища...

**
*

Из дому ускользнуть
Легко и неприкаянно,
Ворваться в новизну
Негаданной, нечаянной:
Полжизни за коня!
Полцарства — во владение!
Не бунт — грехопадение
Свободного огня.

Обрывками письма,
Движением стреноженным —
Прохожие-дома
И города-прохожие;
Там свой отсчет минут,
И счастье сострадания,
Там блекнут обещания
И горести не лгут.

Забиться в новизну
Невидимо, неслышимо,
Вновь обрести луну
Не выжатой, а вышитой
На траурном холсте
Чужого мироздания,
И назначать свидания
На ветреной версте.

Виолетта Иверни

Виолетта Исааковна Иверни (Бетаки) — поэт, театральный критик и историк русского театра — недавно эмигрировала из СССР. В Совсоюзе печаталась мало. Окончила Ленинградский Театральный Институт. Сейчас живет в Риме. РЕД.

ЗВУЧАЩИЕ СМЫСЛЫ*

4. Осмысление звуков

В системе языка, его отдельные звуки (фонемы), как правило, ничего не значат: они не знаки, а лишь элементы, образующие знак. В языке ставшем речью они точно также никаким самостоятельным смыслом, пусть и самым расплывчатым, не обладают. Порожнь осмысляются и знаковую функцию приобретают они (это не обязательное последствие осмысления) лишь в тех сравнительно редких случаях, когда система пользуется ими по-другому, как русская, например, гласными (четырьмя) или согласными *с, к, в* («с ним», «к нему», «в нем»), превращая их в слова. Порою в полноценные, «именующие», как для французов звук *о* именует воду; но куда чаще в слова двух взаимно противоположных категорий: союзы, предлоги (т.е. вспомогательные, синтаксические слова, значки отношений) и междометия (в нашем языке «о!» и более редкие «у!», «и!», а также «шш!»), знаковая функция которых неотчетлива, вследствие чего они непрочно включаются в систему и легко переходят в непредусмотренный ею и осмысляемый независимо от нее речевой жест («у-у-у!» или «ууу...» вместо «у!», «шшшшш...» вместо «шш!»).

В поэтической речи, дело обстоит не так. В ней, сплошь и рядом, происходит осмысление фонем, (независимое от их функций в системе языка: от смысловразличительной функции, присущей им или их отдельным фонетическим качествам, как и от смыслоизъявительной, присущей уже не им, а образованным из них словам. Подобно тому, как может (хотя бы и в обыденной речи) поэтически переосмыслиться слово, отступая от своих «нормальных», в системе языка намеченных значений, а то и им наперекор, причем переосмысление это может определяться его звучанием (чему примером я привел в предыдущей главе длинное переосмысленное Расином слово),

См. кн. 110 «Н. Ж.»

так же точно может впервые осмыслиться и отдельный звук, и даже отдельное качество звука или нескольких соседних звуков (плавность, звонкость, взрывчатость, высота и многое другое). Осмыляется фонема но конечно не винтик в механизме языка, не фонема, изучаемая фонологией, со стороны своих функций и структурных свойств, и противопоставляемая ею уже не букве (графеме), как это делалось некогда, а звуку. Осмыляется именно звук, что я и подчеркнул заголовком этого раздела; отнюдь, однако, не приглашая забыть, что это звук языковой. Не тот конкретный звук, что физиологически и акустически изучается отраслью естествознания, фонетикой, и не интересующая фонологию отвлеченная его значимость а звук, которым фоносемантике следовало бы заняться, потому что осмысление самого звучания слов и более крупных речевых единиц — явление совсем особого рода, не совпадающее ни с функцией фонем, ни с функцией слов и предложений в системе языка.

Там, где осмыслено *само звучание* речи, ее сегментов (фраз, например, или стихов), ее слов и, при случае, фонем (фонем не фонологии и не фонетики, а фоносемантики), мы находимся в области именно смыслов, не в области знаков, при узком понятии «знак», — значков, сигналов, «сигнитивных» значений. Там, где смыслы звучат, там всегда перед нами поэтическая речь, пусть и вкрапленная в повседневную, — деревенскую, да и городскую былых времен, во всякую кроме той, которой довольствоваться умеет одна лишь техническая цивилизация. Смыслы могут и нередко «хотят» звучать; значениям обретать голос незначем. В непэтической речи, сообщаемое ею сообщается не в звуках, а посредством звуков: через восприятие звуковых знаков двухэтажной хитрой системы (слов и фонем), незаменимой, единственной в своем роде, но которая, в принципе, могла бы и не быть звуковой. Зрительной могла бы вместо этого быть, как система письма, которая, хоть и относит нас к ней, но, при чтении, непэтических текстов, вполне заменяет нам ее, и о звуках вовсе не напоминает. Если знак сигнитивен, неважно ни как он выглядит, ни как звучит; важно лишь, чтобы он отличался от других знаков той же системы. Практически важно, чтобы вы не говорили, как один мой школьный товарищ, «тот» вместо «кот» (а по-немецки «топф» вместо «копф»), или чтобы все буквы вашего

почерка не стали похожи одна на другую, как в старости у Толстого. Теоретически важно знать, как обеспечиваются такие различия, как возникает, меняется, как «работает» система, чем отличается от других знаковых систем, а такая-то языковая от других языковых. Этим языковедение и занимается. Для фонологии безразлично, как именно звучит фонема; безразлично лишь ее отличие от других фонем; отличие звуковое, но и это лишь факт, сам по себе столь же безразличный. В поэтической речи, как в музыке, — хоть это и другая музыка, — важен сам характер ее звучания, а потому важен он и для фоносемантики, отрасли речеведения (науки еще не существующей и которая «точной» наукой стать не может), — да еще и той отрасли речеведения, что как раз и занята звучанием поэтической речи.

И тем не менее поэтическая речь остается речью, в собственном смысле слова, не выходит за пределы языка, не упраздняет его законов, даже их порой и нарушая, собственных фонем не сочиняет, да и вводит новые слова куда осмотрительней и реже, чем нынешние мыловары или фармацевты. Принадлежит она одному определенному языку, а не двум или нескольким зараз, чем, однако не вовсе исключена возможность макаронической поэзии, или той многоязычной сверхмакаронной игры, которой Джойс предался в последней своей книге, — и совсем не исключена (как мы увидим) возможность одинакового осмысления тех же или сходных звуков, принадлежащих, в качестве фонем, разным, быть может даже и не родственным между собою языкам. Рассматриваем мы, кроме того, занимаясь фоносемантикой отдельных фонем, как и слов или более крупных отрезков речи, не конкретную, индивидуальную речь, с ее особенностями произношения и произнесения, а речь идеализированную, «идеальную», как ее себе представляют — пусть не совсем одинаково, но и не чересчур по-разному — и сам поэт, и способный оценить его стихи или нестихотворную его поэзию читатель. Звуки, об осмыслении которых мы будем в дальнейшем рассуждать, остаются, таким образом, фонемами, но это не данные в опыте, не подслушанные фонемы фонетики, и не очищенные от звука «функциональные», структурно значимые фонемы фонологии, а фонемы *звучащие* для нас, даже если наше чтение беззвучно. И чей звук нам понятен. Оттого мы и зовем его осмысленным.

Насчет осмысленности этой существуют с древних времен два противоположных, опровергающих друг друга, но и в равной мере неразумных мнения. Одни, разновидностей ее не различая, готовы видеть ее повсюду или соглашаться с любыми уверениями в ее наличии. Другие, столь же не критически, склонны ее повсюду отрицать. Ни те, ни эти, большей частью, не отличают смысла от значения, да и явного смысла от намека на смысл, от осмысленности ускользающей, но при достаточном внимании все же уловимой. Отвлеченно оспаривать эти непримиримые взгляды, или даже с помощью разношерстных примеров, ни к чему бы не привело. Полезней будет начать с анализа выразительно-изобразительных и тем самым смыслоизъявительных возможностей одного какого-нибудь звука русской, но быть может и не одной только русской речи, например фонемы «у». Фонологические функции этих разноязычных у различны, но одинаковому или сходному осмыслению того же или почти того же звука это несколько не препятствует. Осмысляется ведь именно звук фонемы, а не «она сама» (та, которую абстрагирует фонология или в сыром виде берет на прицел фонетика). И звук этот обретает *смысл*, начиная что то изображать и выражать; со *значением*, даруемым ему языками, изготовляющими слова из отдельных фонем, это ничего не имеет общего.

Есть, впрочем, одно, уже упомянутое мной небольшое семейство слов, где выражение сливается со значением и его собою заменяет. Наш предлог «у» пригоршней своих прикладных или вспомогательных значений вполне удовлетворен, да и Грамматика ему ничего выражать не разрешает; его звук поэтому только для его опознания и нужен, ни для чего другого никем во внимание не принимается. А вот междометие того же звука всегда готово вырваться из под надзора, в живой речи, чего Грамматика не любит, но, так и быть, старается не замечать. «У, какой характер!» («Шинель»). Так и хочется «выразительно» удвоить это «у» на манер обычного в разговоре «у-у, какой мороз!», а уж если о ветре выскажешься в этом духе, то и вой его, пожалуй, изобразишь — уууу... — выпав тем самым из языка: тут тебя и француз и черемис поймет, хоть и нет ни на каком языке такого слова. Или, в Осьмой главе:

У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!

Так и слышишь чтеца тянущего, на полстиха вытягивающего это «у», в знак сочувствия онегинскому чувству. Плохого чтеца, потому что этим он разрушил стих. «Выразительное чтение» должно довольствоваться теми внутриязыковыми, стихотворными или до-стихотворными средствами, какими удовлетворялся поэт. Но выразительности междометия этого отрицать нельзя, как и нельзя отрицать, что она связана с его звуком. Никаким «э!» или «о!» не заменишь его ни в одном из приведенных мной примеров, и не только из послушания языковым привычкам, но и вследствие особых свойств, присущих именно этому звуку у. Сосуществуют, во многих языках, междометия более условные, снабженные широким веером почти-значений (вроде нашего «о!»), и сравнительно узкие по смыслу, — но именно уже по *смыслу*, оттого и переходящие сами собой в поэтическую речь. К ним относится, кроме «у!», и наше старое «и!», нередкое еще у Пушкина: «И! Боже мой», «И! полно!», «И, пустое!»,

И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря».

Выражает оно — именно выражает, не просто обозначает — пренебрежение к чему-то незначительному, маленькому, мелкому, и способным оказывается его выразить (обозначить можно что угодно чем угодно) благодаря особому характеру его гласной, делающему его вполне подходящим для такого выражения и нужного этому выражению неразрывного с ним намека на изображение. По-русски могло бы его заменить никак не «о!»; в крайнем случае «э!»; но и этот, гораздо менее определенного характера звук (я ведь не о послужном списке междометий этих говорю, а лишь о звуке) выполнил бы такую роль, если бы она была поручена ему языком, только в качестве знака, ничего не выражая или выражая не совсем то, что следовало бы тут выразить.

Стоит остановиться немножко на этих талантах гласной «и», прежде чем вернуться к ее антиподу по высоте тона и с высотой этой связанному впечатлению легкости или тяжести, света или тьмы. Тем более стоит, что хоть и было многое об

этих талантах давно и хорошо сказано знаменитым языковедом Есперсенем, выслушать его с должным вниманием другие языковеды и не-языковеды, в большинстве своем, не пожелали. ● Он отнюдь не утверждал, что звук «и» всегда бывает готов к услугам говорящего на любом языке о чем-нибудь родственном тому качеству вещей, которое столь удачно именуют англичане прилагательным «литтль», а французы «пети» («пти»); да еще и что всегда этому «и» наглядно противопоставит, как этим двум, куда менее тоненькая гласная в словах противоположного значения. Ему возражают или кладут под сукно его статью, как будто он и впрямь провозглашал столь явную неправду, тогда как он все сделал, чтобы такого истолкования сказанного им не допустить. Сразу, например, сам и указал на английские же прилагательные «биг» и «смолл», чьи гласные паниьками себя не повели: обменялись местами, на зло наглядности. Дело не в осуществленном будто бы уже соответствии между звуком и смыслом, соответствии вовсе и ненужном системе языка, построенной на условном немотивированном («произвольном» по слишком сильному слову Соссюра) прикреплении знаков к их значениям. Дело в тяге к такому соответствию и в возможности его, которой несомненно и обязан человек тем, что он некогда стал говорящим существом (условные знаки не могли быть условными с самого начала). Что же до тяги, то не покинула она его и по сей день, проявляется в его речи, влияет на изменения языка исканием новых соответствий и незыблемой приверженностью к старым, но конечно встречает и множество препятствий со стороны других побуждений к переменам или к отказу от перемен, систематическая борьба с которыми, в области языка, и невозможна, и едва ли мыслима.

Есперсен неопровержимо установил, что разнообразнейшие языки пользуются звуком *и* для изображения всевозможных... как бы это сказать? Скажем, шутки и звука ради, минимальностей. Латынь не только минимум противоположный максимуму, но и противоположный мажору минор («ма́йор» — «ми́нор») породила, и даже, для крошечных вещей, чудесное словечко «титибиликум»; да и не удовольствовалась им, еще более чудесное испекла: «титивиллициум». Наш язык, по этой части, ленив был или неудачлив; едва ли не одни *звуки* того же рода (пронзительные, верхнего регистра) попытался с

помощью этой свсей гласной изобразить: «писк», «визг», «свист», маленькое «пик[нуть]», да и «крик» (кричать не то же, что рычать). Воробьи ведь и в самом деле *чиркают*, а воробны *ккаркают*. Есперсен думал, что свойственный не птицам, а птичкам и птенцам писк как раз и был одним из оснований для изобразительности этой гласной относительно всего в прямом или переносном смысле маленького; другим — высокий тон (в иных африканских языках применяемый вообще для характеристики всего малого, а низкий — большого); третьим — уже не акустическим, артикуляционным — менее широко открытый рот, чем при артикуляции других гласных. Все это вполне вероятно. Но зачем вообще изображать? Поползновение такое пусть и существует, но для знаковой системы языка оно излишек, праздная причуда, — до которой исследователям этой системы точно также никакого дела нет. «Ненаучным» кажется им уже самый интерес к таким явлениям. Как это, думают они, датчанин этот, мирового калибра ученый, вдруг, на старости лет... У них и междометия (которых тот, в данной работе, хоть и не упомянул, но мог бы упомянуть) издавна пребывают в подозрении насчет их лояльности по отношению к системе и насчет позволительности писать о них диссертации. И действительно, мы видели: чуть что, не значок оно больше, не сигнал, начинает некий аффект что-ли, выражать, не без помощи вдобавок какого-то едва уловимого изображения. Будь я энтузиастом машинного перевода, я бы петицию в Кремль направил, о том чтобы их метлой вывели из языка.

Исчезают они, правда, и без того. Нашего «и!» след простыл; исчезло или на ладан дышет и еще более интересное немецкое. Оно выражает не благодушно-пренебрежительное отодвигание в сторону мелких препятствий и вообще мелочей, а гадливое презрение ко всему мелко нехорошему, вследствие чего и не выдержало оно конкуренции с французским «фи!», от которого, думаю, и наше пострадало. В былые времена, однако, значение немецкого было шире: оно позволяло ему выражать гневное изумление более крупного калибра, чем выразимое с помощью «фи!»; так что выбор именно этого звука зависел, по всей вероятности, тут лишь от его прямых (а не приведших уже к сравнениям) свойств: высоты, остроты, узости, а при необязательном, конечно, но всегда возможном и

даже прельстительном усилении, еще и пронзительности, другим гласным недоступной. Этим и воспользовался некогда Готфрид Страсбургский в стихе 10206 своего «Тристана».

Tristan sprach: merzi, bêle Isôt!

I, übeler man, sprach Isot, i...

В это двойное восклицательное «и» он вложил интонацию — ее тотчас воображаешь — очень большой силы. Волшебный напиток еще не выпит. Корабль Тристана — капкан и тюрьма для Изольды; ей ненавистны полуфранцузские иронические его любезности. Сдавленно — острые, пронзительные эти возгласы именно и должны его пронзить. Они поддержаны (для читателя) двумя ударными «и» в первом стихе, а во втором начальной гласной (ударяемой, точно также) онемеченного французского варианта имени «Изольда», и кроме того почти столь же узкой и пронзительной начальной гласной порицающего прилагательного. «И! сказала Изот, й!», — так и слышишь ее гневную обиду, о которой предчувствуешь, что потонет она в любви, быть может обострив любовь.

Другой поэт тех времен, немножко и педант, воспевавший гласные Гуго фон Тримберг, как раз такого рода функцию, как сказали бы нынче, междометию этому и приписал; в общем, однако, нам, нынешним, полагалось бы его бранить: он беспардонно путает гласные как таковые (звуки, фонемы) с междометиями (пусть и состоящими из одной лишь гласной), то есть элементы языка ничего не значущие, с коротенькими, нечеткими, но как-никак словами. «О!», «и!», для него, такие же самостоятельно осмысленные речевые звуки, как никогда не бывшие междометиями по-немецки *a* и *e*. Для нас, однако, вопрос учинивших поэтической речи, путаница эта не страшна: ее распутать легко, как и найти ей частичное оправдание, памятуя о том, что потенциальная выразительность и тем самым осмысленность в той же мере может быть свойственна ничего самостоятельно не значущим элементам языковой системы, как и значущим, но при непоэтическом обращении с ними, не выражающим никакого, с их звучанием или с их внутренней формой (если она у них есть) неразрывно связанного смысла. Гораздо опаснее другая путаница, и у Тримберга встречаемая и у многих авторов, на такие темы писавших, во все века вплоть до наших дней: смешение этой «свободной» или «открытой»,

потенциальной, ни для кого не обязательной, но актуализируемой поэтом и непосредственно воспринимаемой «хорошим» его читателем осмысленности, этого изображаемого всего чаще, но во всяком случае выраженного и переданного смысла с явлениями совершенно другого порядка, вроде, например, «окраски» гласных, как в знаменитом сонете Рембо, т.е. прикреплении каждой к определенному цвету, или любой эмблематики их (этот термин тут пожалуй, наиболее уместен), из предания почерпнутой или вымышленной произволом, пусть и кажущихся вполне естественными, индивидуальных или групповых ассоциаций. В этом грех различных не до конца продуманных символизмов, в том числе и недавних литературных. Не те символы нужны искусству (как и религии), которые всего лишь к умолчанным значениям ведут, то есть к чему-то, что было бы возможно и другими знаками обозначить; а только те, что выражают, несут в себе, высказывают собой смысл, которого помимо них высказать невозможно. Имени, их одних именующего, нет, я поэтому предпочитаю не пользоваться словом «символ». Англичане и американцы называют к тому же этим словом нечто совсем противоположное: не претендующий ни на что, кроме значения, простейший сигнификативный знак. Графему (букву) *y*, например, обозначающую соответствующую фонему. Тут я к фонеме этой и вернусь.

О символизме гласных говорить я несколько и не собирался; но теперь, я надеюсь, стало ясней, насколько было бы некстати о нем заговорить. Что же касается гласной *i*, то начать взвешивать ее выразительные возможности было небесполезно, потому что они обратно аналогичны выразительным возможностям гласной *y*. Эта совсем внизу регистра, та — совсем вверху, заостренная, тоненькая или узко-резкая, как в лат. «стри́дор», в англ. «шри́лл». А эта? Хорошо подходят ей такие смыслы, как «тупо», «тускло», и зловещим кажется, с помощью согласных, слово «тундра», хотя в тундре самой по себе нет ничего зловещего. Образцовое противопоставление находим в немецких прилагательных «шпитц» и «штумпф», но другие языки этому образцу вовсе не считают нужным следовать, да и немецкий следует ему, чаще пожалуй, чем, например, французский, но все же лишь в отдельных случаях. В системе языка, немецкого, как и любого, важно лишь, чтобы гласная слова «шпитц» успешно его отличала например от

слова «шпатц» (воробей, уличная кличка «шперлинга»), а чтобы она еще и выражала, изображала, намекала бы на смысл «оглашаемого» ею слова это, с точки зрения людей, ничего в языке, кроме передающей значения сигнитивной системы не видящих, требование совершенно вздорное, чистейшая суета сует. И действительно, спору нет: даже те самые звуки языка, которые в одних случаях такого рода требованиям упрямых чудаков, вздором озабоченных, отвечают, в других никакой им поправки не делают. Но тут надо сказать, что не любым словам чудачки такие требования и предъявляют. Их быть может огорчит, что голушь, столь изобразительно звавшийся в поздней латыни «пипио» (хоть и не воркованье здесь — как в «туртур» — изображено) превращен был французами, при утраченном удвоении и упорхнувшем с первого слога ударении в неинтересного «пижона»; но и самые заядлые из них от звуков, используемых в одиночку механикою языка, вроде испанского или нашего союза «и», или образующих слова, чье значение наглядности лишено, вовсе никакого «намёка на смысл» и не ожидают: намек ведь этот пусть и очень зыбкая, едва уловимая наглядность и есть, которая нужна не значениям (предметным или же грамматическим, «реляционным»), а смыслам, — всему тому, что хоть слегка нас «задевает за живое», реализуется в сознании нашем, а не принимается всего лишь на учет.

Соссюра (он приводит этот пример) радовали такие переходы, как от «пипио» к «пижону», или обратные, от «немых» латинских слов, к намекающим на свой смысл, — это он все таки чувствовал — французским (*classicum-glas, fagus—fouet*). Ему казалось, что устойчивое и обильное присутствие в языке ономастопей и близких к ним слов (о «говорящих» звуках он не упоминает) могло бы поставить под вопрос утверждаемую им произвольность (условность) языковых знаков. Но прибегая к историческим этим доводам он незаконно упраздняет свое собственное, впервые им установленное различие синхронического аспекта языковых явлений. Когда я, говорящий, применяю слова нынешнего языка и обращаю внимание на их выразительность или невыразительность, мне до прежнего их облика и звука никакого дела нет. И с другой стороны свою функцию в системе языка любые «говорящие» (самим своим звуком) звуки и слова выполняют не хуже, чем «немые». Всё

их изобразительное или выразительное осмысление внеположно системе передающей значения и взаимоотношения значений; оно не мешает ей, оно пользуется ею или, по крайней мере, предполагает ее наличие, и тем не менее оперирует по-другому и для другого. Осмысление отдельных звуков, как и звучащей речи вообще, ее воображаемого или осуществленного звучания, не есть конститутивный принцип языка или какого либо из ныне нам известных языков; оно их работе не помощь, но и не помеха. Соссиору беспокоиться насчет него было незачем. Все открытые им или впервые с должной точностью описанные устои и пружины языковой системы остаются в силе, нисколько даже и не изменяются, каков бы ни был вес или объем поверх нее лежащей смысло-звуковой надстройки. Факультативна эта надстройка (если хотите, игнорируйте ее) и потенциальна (актуализируется лишь при особом к ней, пусть ее и не анализирующем внимании). Да и нет никакой надстройки. Над системой языка ничего не надстроено; осмысление звуков, звукосмысл — явление речи, а не языка, и, как в самой речи, ничего систематического в нем нет; он и в поэзии не охватывает ее речь целиком: где его не нужно, там (у хороших поэтов) его и нет. В различных видах этой речи (и самой поэзии) он проявляется и по-разному и не одинаково часто. Он не только не структурирован в согласии со структурой языка, но и не структурирован вообще, так что не только структуральному языкознанию, но и такому же литературоведению интересоваться им нет нужды. Если же звукосмысл, не будучи структурой, подчиняется все же какой-то структуре, входит в нее, становится частью ее, то утверждать это допустимо лишь имея в виду смысловую структуру всего произведения. Ее возможно изучать, но не иначе, как поняв, что со структурой языковых систем нет у нее решительно ничего общего.

Но кто же, спросят меня, чудаки, внимание уделяющие таким необязательным и привходящим явлениям языка... — Речи, государь мой, речи, а не языка! — Пусть, но ведь даже и не всякой речи, как эти звукоосмысления, звукосмыслы, звуковые смыслоизъявления? Если буду не в духе, буркну в ответ: музыканты! Думая, конечно не о них, а о поэтах, и о нас обо всех, в те минуты когда мы с поэтами роднимся и сами становимся поэтами. Но и вспоминая гофмановского капель-

мейстера Крейсера частенько говаривавшего со вздохом: «Хорошие люди, да плохие музыканты»; плохие музыканты и те, кто плохо разбираются в поэзии. Если ты звуко смысла не слышишь, или слышишь звук, но смысла в нем не замечаешь значит тебе не хватает того особого, родственного музыкальному (можно сказать и музыкального в своем роде) слуха, без которого, как без музыкального музыку, воспринять поэзию нельзя; тогда как вне поэзии и вне музыки обойтись без того и без другого вполне возможно. Может быть, в поэзии кое-что и останется доступным тебе; не все в ней звуко смысла, есть и смысл, есть нередко, даже и в лирике, вымысел или его зачатки. Но лучше о поэзии не пиши: легко от тебя может ускользнуть то, хоть и беззвучное, но неуловимо музыкальное, что есть, и в вымыслах и в смыслах, покуда не превратились они в факты и в значения, — пусть и в выдуманные факты, в претендующие на смысл значения. А уж насчет лирики, той особенно, которая на сгущенном звуко смысле только и «восходит» (как тесто на дрожжах), я и совсем в твоей способности судить о ней усомнюсь, если ты пожимаешь плечами, узнав что Малларме считал слово своего языка «жур» слишком «темным» по звуку для его смысла («день»), а для ночи слишком «светлым» звук слова «нюи», и что грусть на него наводила такая несообразность.

Грусть его была, конечно, не такой уж безысходной. Он сам и другие французские поэты отлично умели пользоваться этими двумя словами, применяя их звуковые качества не для живописания присущих им основных смыслов, а то и склоняя их выбором соседних звучаний к выражению чего-то с основным их смыслом все же связанного. «Жур» может нейтрализовать свое у поддержкой, оказанной своим согласным, стать чем-то радостным и ярким, что ведь не ночи свойственно, а дню; тогда как «нюи», если соседи придут ему на помощь, может дымякою первых своих звуков обволокнуть третий, а также уступить место прилагательному «ноктюрн», которое едва ли поэт огорчало, хоть и требователен он был: находил, что мглы в слове «тенебр» слишком мало; одно лишь «омбр» (где *м* означает не этот звук, а лишь назализацию *о*) удовлетворяло его вполне. И все таки он был прав. Дело тут всего больше в гласных. И в нашем языке у лучше соответствует сумраку или сумеркам, чем утру. Оно, во многих языках, как

я уже говорил, самая низкая по тону гласная, а *и* — самая высокая. Пропеть *у* на высокой ноте вообще невозможно; пришлось, для одной немецкой певицы, в арии исполнявшейся ею, заменить слова «дункле Тодесгруфт» словами «кальте Грабеснахт». На еще большей высоте все гласные исчезают: растворяются в сплошном *а*, по существу своему уже внеязыковом. Тут мы еще не вышли из владений физики и физиологии, но высота и «низкость» звука совершенно непосредственно окрашиваются для нас, первая в светлые, вторая в темные тона, а тьма и свет почти столь же непосредственно приобретают «моральный», переносный смысл, столь очевидный, что не стоит насчет него и распространяться. Теофиль Готье с неотразимым простодушием заметил о Верди, что тот «возымел мысль, при грустных словах, делать в музыке тру-тру-тру вместо тра-тра-тра». Учиняли такое родство словесным звукам композиторы и до Верди, но поэты полумузыку эту применяли и еще гораздо раньше, да ведь и сплетены воедино корни этих двух искусств, в глубокой древности узнавших, вероятно, такого рода, хоть и по-разному, но им обоим открытые возможности.

У, кроме того, тяжелее, увесистее, «толще», чем *и*, да и без сравнений оно кажется тянущим вниз, тяжелым. Немецко-американский ученый, Хейнц Вернер придумав два искусственных слова «будраф» и «медреф», путем опроса установил, что первое почти всем кажется более «тяжелым», чем второе, — и конечно Будрафом все мы охотней назовем крупного пса, чем какую-нибудь тонконогую левретку. Англичанин Опп произвел аналогичные и с тем же результатом эксперименты над восприятием выдуманных слов «киген» и «кугон», а венгерец Фонадь (1965) выяснил, что венгерские дети находят звук *и* более легким, быстрым и тонким (худощавым), чем *у*, «и гораздо более симпатичным». Глухонемые дети, через осязание глотки воспринимавшие эти звуки, проявили полное согласие с такой оценкой, и даже слепые нашли, что *и* светлей, а также сильнее, чем *у*. Это последнее впечатление, думает Фонадь, объясняется большим мускульным усилием при артикуляции. Действительно это и для зрячих, но несомненно, что и акустически эта высокая гласная может достигать большей интенсивности, чем и другие. Пример видели мы в восклицаниях Изольды у Готфрида; и это делает, как мы еще увидим, повто-

ры этой гласной особенно пригодными для кульминаций, для финальных подъемов лирического голоса. Причем следует заметить, что высота и светлость звука может звучать не только радостно, но и трагически, продолжая, однако, и тогда отличаться от тех сумрачных впечатлений, которым благоприятствует звук *у*, не будучи, однако, и в поэтической речи, с ними связан принудительной неразрывной связью, сколько-нибудь похожей на ту, что прикрепляет, в системе языка, вопреки своей условности, «произвольности» (но ведь как раз и в помощь ей) знаки этого языка к их «прямым», «словарным», к неустрашимым их значениям. Система языка — необходимость, пусть и человеком постепенно созданная; в отношении звуков речи он дважды свободен: может к осмыслению их не прибегать вовсе его не признавать; может истолковывать его и пользоваться им по-разному. Но тут, особенно если он поэт, свобода его не безгранична. Да и обойтись ему тогда совсем без осмысления звуков тоже будет мудрено.

Все рифмы справедливо прославленного «лебединого» сонета Малларме — на *и*, мужские, как и женские; оно три раза принимает на себя ударение в восьмой строчке (где звучит весьма ощутительно и еще раз, не под ударением) и четыре раза в последней. Нельзя себе представить этих стихов без *и*, то есть впечатления, производимого ими без этого узкого звука длящегося где-то над замерзшим озером в ледяной и пустынной высоте. И точно также непредставимо, чтобы Пушкин мог обойтись без этого звука, когда писал придавая ему выразительность, хоть и другую, но не чужеродную, родственную даже по своей взвинченности (вдвойне подходящим здесь оказалось из-за своей ударной гласной это слово)

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине...

Не подчеркиваю безударных *и* третьего стиха, но звучат и они («и», и «у» гораздо меньше зависят в своем звуке от ударения или его отсутствия, чем «о» или «а»), звучат, но смягченно, образуя переход к успокоенному четвертому («Являться Муза стала мне») от тех двух стихов, взлетающих на своих *и*, как «на крыльях вдохновенья» и являющих нам этот имевший быть показанным отроческий взлет без применения затасканной уже

и в те времена метафоры. Замечу, что в царскосельском саду, за отсутствием гор, никаких особенных долин, да еще таинственных, не было, и что лебединые клики раздавались там не столь уж непрерывно, из чего можно заключить, что четыре *и*, в звучании этих слов, нужней поэту чем их беззвучные значения. И во всяком случае эти *и* здесь служат (как и пятое в слове «дни») не подчеркиванию отдельных словесных смыслов (таинственности, например, в соответствующем слове, что, с помощью интонации вполне могло бы осуществиться), а общему смыслу этих двух строк, не поверхностно их смысловой ткани открываемому, а тем что можно назвать звуковой ее подкладкой. Аналогичное, восклицательно-взлетающее (интонационное) применение того же звука нахожу я в «Заклинании», где стих «Пустеют тихие могилы» достигает вершины взлета, после чего, на этой вершине, без дальнейшего подъема, звучит «Я тень зову, я жду Леилы» / Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»; причем «тихие могилы» от этого взметенного и-и-и едва ли не перестают быть тихими, а быть может и могилами. И точно так же взбегает или взлетает еще более знаменитое стихотворение, в конце второй строфы, к четырем *и*

В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим,

а затем начинается спуск, нисхождение к «урне гробовой», прекращаемое последним возгласом, чьи два *у* («поцелуй», «жду») вопреки ожиданию и поцелую звучат так же удрученно, по гробовому, как и *у* этой урны.

Но всего характерней быть может, для этого рода выразительных звучаний *и*, как и *у*, для звучаний соответствующих «естественным», в звуке их заложенным возможностям, нахожу я в последней строфе самого, пожалуй неотразимо ранящего и восхищающего меня пушкинского стихотворенья («Не дай мне Бог сойти с ума»):

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров,
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Трагическое восхождение к верхнему *и* начинается здесь со слова «крик» и восходит, так сказать, не *и*, а *ри*, вследствие чего участвует в нем и неударяемый третий слог «товарищей», а поддерживает его, кроме рифмы на *и*, еще и *р* в слове «брань», откуда не возникает из всего этого то верхнее *и*, совсем новыми согласными вздернутое именно в визг, визжащий здесь с небывало заостренной болезненной силой. После этого «звон оков», первыми согласными сопроводив «визг», замыкает знаменующее безвыходность кольцо, возвращает нас к звучаниям начала строфы («ночью», «голос»), и когда мы еще раз ее прочтем, нам станет ясно, что первая ее половина вовсе не живописует того нереального, но желаемого и хорошего, которое противопоставлено страшной правде, а скорей выражает его недостижимость и этим делает правду еще более страшной. Уже это «но...» «слы...» «бу» первого стиха унынием отравляет все последующее, и ведь «голос яркий соловья» с удивительно найденным по звуку, как и по смыслу эпитетом, звучит не сладостно, а трагически громко, после чего все три у в следующем стихе (не одно лишь первое, ударное) являют с полной силой свое угрюмство, избличая тем самым призрачность всех мечтаний о том, что могло бы быть «на воле», и как бы становясь на сторону не дубров, не соловья, а двух «не», которыми начинаются эти строчки.

Осмысление звуков (отдельных фонем и их повторов) чаще всего — особенно у Пушкина — вполне соответствует, лишь укрепляя его, внезвуковому смыслу данного отрезка речи; но может оно и отсутствовать, может идти своими путями, может — даже у Пушкина, как мы только что видели — этому, тоже передаваемому посредством звуков, но постороннему им смыслу и вовсе идти наперекор. И само это осмысление может повиноваться тем особенностям данного звука (среди гласных гораздо ярче выраженным в у или *и*, чем например в *е*), что благоприятствуют выражению таких-то смыслов, а не других; но может предначертаниям этим и не следовать, особенно при повторях, оттого что повторы сплошь и рядом выполняют порученную им роль независимо от того, какой именно звук, какую именно гласную (к согласным это меньше относится) они повторяют.

Невнимание к этим скромным, но не совсем на поверхности лежащим истинам объясняет большинство недоразумений, воз-

никающих у истолкователей звуковой (да и другой) «организации» стиха (да и прозы). Наименее наивное, но и наиболее опасное из этих недоразумений то, которое возникает как раз в связи с этой мыслью об организованности поэтической речи. Структуральная поэтика, подражая структуральному языкознанию, понимает эту организацию как вездесущую и всепроникающую систему. На самом же деле поэтическая речь предполагает систему языка, отказаться от ее услуг не может, но сама не образует системы и не порождает никаких систем. В стихотворениях, о которых я только что говорил, есть некоторая организованность, звуковая и звуко смысловая, но считать, что они «структурированы» сплошь и насковзь, что все их звуки свободно выбраны и согласованы для определенных целей, невозможно: это значило бы, в конечном счете, отрицать существование русского языка, вне которого они, и попросту как речь, и как поэтическая речь, были бы непонятны, а поэтому и немислимы.

Уже по замыслу своему структуральная поэтика (или теория литературы) несостоятельна, что не исключает частичной применимости ее методов, но обязует все ее выводы подвергать самой тщательной проверке. Несостоятельна по замыслу, кроме того, и всякая поэтика, претендующая быть точною наукой, безоценочной, экспериментальной, и признающей одни лишь строго доказуемые истины. Ничто относящееся к звуко смыслу, как и к тому, что зовется образностью поэтической речи, вне оценок не устанавливается, никакому неоспоримому взвешиванию не поддается и ни к каким раз навсегда доказанным истинам не ведет. В этой области можно другого, а постепенно и многих, в чем то, в чем они еще не убеждены, убедить только путем описания, показывания, наведения, — действий, результат которых никогда заранее не обеспечен. И точность языка, всегда желательная и тут неизбежно натывается здесь на неведомые точным наукам препятствия: о поэзии, о поэтической речи нельзя объяснить не примешивая к объяснению эту самую поэтическую речь. Разжиженную, что и говорить, всегда рискующую обернуться лжепоэзией, стать позавчерашним, приевшимся, на готовых поэтизмах настоенным жаргоном. Что поделать? Научный жаргон не лучше. И здесь *для него* никаких оправданий нет.

Вернусь к показыванию. Вернусь к осмыслению звука.

Далеко не всё я еще сказал о долготерпеливой гласной у.

В своих «Лекциях по структуральной поэтике» (1964, стр. 99) Ю. М. Лотман с большой уверенностью пишет: «Звук у (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ), конечно, *сам по себе* никакого значения не имеет». Он повторил это и шесть лет спустя в «Структуре художественного текста» (1970, стр. 179), книге, где вместе со многими другими страницами той первой (напечатанной в свое время лишь в пятистах экземплярах) воспроизведены и эти, о звуковых повторах и их связи «с вопросами семантической структуры». Я очень уважаю этого превосходного, умеющего независимо мыслить и широко образованного ученого, но в этом пункте придется мне с ним поспорить. Сперва с этим его отрицанием, а затем и с утверждениями, касающимися того же у, три раза повторенного в двух стихах восьмой главы «Онегина».

Шкловский писал в сборнике «Поэтика» (1919, в статье «О поэзии и заумном языке»): «Свидетельства 'мрачности' звука у очень определенны в общем почти всем наблюдателям». Фраза получилась у него почему то ухабистая, но то, что он говорит, совершенно верно. Многие, о разных языках рассуждая, находили звук этот «мрачным», — по-русски хочется его назвать угрюмым, хмурым, сумрачным. С его же помощью назвать, что как раз для впечатления им производимого и характерно. Ни одно из этих прилагательных не попадает точно в цель, но ни одно и не отклоняется далеко от цели. Можно представить себе мишень с концентрическими кругами и точкой посередине. Множество прилагательных на разных языках, со звуковым соответствием или без него, если ими стрельнуть, попадут в мишень, но в центральную точку ни одно не попадет, да ненужно и кругов: все равно не скажешь, которое попало ближе к точке, которое чуть подальше. Нет этой точки. Но мишень все таки есть, и существует еще гораздо большее количество прилагательных, которые для характеристики звука у вовсе не подходят. *Значения* у него и в самом деле нет, но есть потенциальная, не слишком определенная, но и не совсем неопределенная смысловая окраска. Жаль, что Лотман, этих вещей не различая, со своим «конечно» поспешил. Правда, сказав, что звук этот *сам по себе* значения не имеет, он затем говорит, что при повторе дается ему нечто вроде значения.

Но и это неверно или невразумительно в данной формулировке. Звук не становится знаком, не только в неудачно выбранных (как мы еще увидим) пушкинских двух строчках, он вообще *знаком* может стать только в системе языка, если вылупится из фонемы (составной части слов) и станет словом, — русским предлогом «у», французским местоимением («где»), французским союзом («или»). В редчайших лишь случаях удастся поэтической речи воспользоваться такого рода знаком, превратить его в нечто большее, чем знак. Мне известен только один этому пример.

В драме Клоделя «Отдых седьмого дня» китайский богдыхан уходит в глубь земли, погружается в землю, чтобы умолиить мертвецов, своих предков придти ему на помощь, избавиться от бедствий его страну. Очутившись там, в черноте, в тесноте, он повторяет, вопрошая тьму, «где? где?», и это его «у? у?» перестает быть словом, перестает быть вопросом, становится выражением, — безначным прямым выражением — сумрака живущего в этом звуке (но не в этом слове), и куда вливается теперь вся та исчерна черная, плотная, непроницаемая мгла, в которой увяз, утонул богдыхан и сквозь которую проникнут к нему голоса тех, кого он ищет тут, в толще земли и чье слово жаждет он услышать.

Было бы, разумеется, сверхнелепо предполагать, что француз, пользуясь своим словечком «у» или русский звучащим так же, но значущим другое, испытывал при этом ужас, уныние или грусть. Но «ужас», «грусть» и даже «уныние», с неударяемым своим у, выигрывают в выразительности от наличия этой гласной. Для значения этих слов она безразлична, но не для обволакивающего значение и делающего его ощутимым или наглядным смысла, который для поэтической речи важнее, чем значение, и в ней способен бывает значение изменить, а то и почти полностью упразднить. Что и говорить: «печаль» печальна и без у, как ужасен и латинский «террор»; но ведь печальна она все же по-другому, чем «грусть», и поэт будет склонен различие смыслов (значения здесь и различить-то мудрено) приписать, не заботясь об истории этих слов, различию их звучаний. Так и латинский «ужас», расправой грозя, согласными грохочет, но другой его, полдневный, безмолвный, безликий облик — «древний ужас» — верней был бы выражен (так я думаю за поэта) именно нашим русским «ужасом».

Границы национальных языков, в том, что касается фоносемантики отдельных фонем — поскольку звук этих фонем тот же или почти тот же — теряют отчетливость, а то и вовсе исчезают. И французским и русским своим ухом одинаково я чувствую, что китайский император у Клоделя никак не мог бы заменить своего мрак вопрошающего «у» нашим «где» или каким-нибудь неизвестно откуда взявшимся, но тождественным по значению «э». Принужденный довольствоваться переводом актер, мог бы конечно воем переструнить или шопотком обезгласить это «где», но ведь это и было бы актерской отсебятиной, а не поэзией. И я думаю читателю моему не-латинисту, да и не очень хорошо знакомому с немецким языком, тем не менее убедительны и покажется найденный мастером немецкой прозы Эрнстом Юнгером пример глубокой разницы впечатлений, производимых преобладанием «у» сравнительно с преобладанием открытого «е», в стихотворных текстах близких друг другу по значениям слов и даже, в значительной мере, по своему поэтическому смыслу:

Nulla unda
tam profunda
quam vis amoris
furibunda.

Keine Quelle
So tief und schnelle
Als der Liebe
Reissende Welle.

Юнгер привел эти поздне-латинские рифмованные строчки и их превосходный немецкий перевод в своей «Похвале гласным», вошедшей в сборник «Листья и камни» (1934). Пример этот позаимствовал у него Эмиль Штайгер, а за ним и другие немецкие авторы трактатов о стилистике и поэтике. Правильно они поступили: второй столь убедительный пример не легко будет найти, — хоть и убеждает он нас в чем-то, чему нет сколько-нибудь точного определения. Такие различия, как и соответственные в музыке, по природе своей неизмеримы и неопределимы. Ясно лишь, в данном случае, что различие зависит от различия доминирующих гласных, энергично подержанного различием сопровождающих эти гласные согласных (в латинском тексте три раза «унда», в немецком «элле»), а также что латинское звучание на более низком регистре звучит, чем немецкое, и что оно сумрачнее, суровее, глубже, соответственно слову «профунда», отсутствующему в немецком тексте, не по значению (перевод его там есть), но по

звукосмыслу. Тот, что естественно заложен в звучание гласной *у*, составляя ее, хоть и потенциальную только, но неизменную принадлежность, здесь, по сравнению с его заменой, — дающей немецким стихам точно также и единство, и гармонию, и выразительность, но другую, — являет себя нам с неотразимой очевидностью. Но свойства этой гласной поэты чувствовали всегда. Можно у греков свидетельства этому найти. Предпочитаю обсудить прекраснейшее, поразившее меня некогда у Горация; да и возможность сравнения была мною тут обнаружена недавно.

Говорю об оде седьмой, одной из лучших, четвертой книги. В ней шесть строф. Приведу сперва вторую половину третьей и всю четвертую в довольно точном (размером подлинника, вторая архилохова строфа), но и довольно пресном переводе А. Семенова-Тян-Шанского:

Щедра осень придет, рассыпая дары, а за нею
Снова нахлынет зима
Но в небесах за луною луна обновляется вечно
Мы же в закатном краю,
Там, где родитель Эней, где Тулл велелепный и Марций, —
Будем лишь тени и прах.

Так. Прочли. Можно, конечно, сквозь значения слов вдуматься в подсловесный смысл. Все равно, это нам Горация не заменит. У него последние две строки звучат по-иному:

*quo pater Aeneas, quo Tullus dives et Ancus,
pulvis et umbra sumus.*

Действенно здесь уже глубокое и глухое (хоть и не русские *эл* следуют за ним) первое *у* в имени Тулла, как и второе, эхо первого; но если вы вслушаетесь после этого, как должно, в короткую следующую строчку, она вам запомнится на всю жизнь. «Будем лишь тени и прах» не запомнится, да и запомнить это незачем: истину эту мы знали, а ее веса нет в этих словах. Другое дело «пульвис эт умбра сумус». Можно во сне этот гул услышать. Можно эти смысловозвуки, Горация позабыв, или думая, что его забыл, все равно что из самого себя нечаянно извлечь. Незаменяемы эти *у*. Латинские во французском, как и в итальянском языке перешли в *о*. «Пульвис» по-французски исчез, «умбра» превратилась в любезную Малларме

«омбр». Неплохо, неплохо «омбр», с готовой к нему рифмой «сомбр» (ни одна кажется пара не встречается чаще у Гюго), а все-таки «умбра» мрачней, угрюмей, несговорчивей. Леопарди в тридцать первом своем «Канто» (стих 53) цитирует без кавычек Горация (всем знакомого в те годы со школьной скамьи), но итальянское «польве эд омбра» звучит мягче, высокой, может быть, но и готовой склониться перед неизбежным печалью. Он только эти слова и приводит, почти как формулу. Легко и становятся они формулой. Не хватает им того неуступчивого, отзвук находящего на самом дне сознания, звука.

Звук этот, в языках, распределен по словам неумышленно, то впадет, то не впадет, рассеянной рукой истории. Но характер, ему свойственный, поэты чувствуют и могут слово, куда попал он по прихоти перемен, ничего не имеющих общего с поэзией, так использовать, поставить в такую связь, что в том стихе или в той фразе, куда это слово будет включено, смысловая окраска звука, которой значение слова это противоречит ее поэтому затемняя, окажется оправданной. Таков прекрасный стих в поэме «Ролла» Мюссе (не будучи большим поэтом, он был мастером поэтической речи):

Point d'amour! et partout le spectre de l'amour!

Тут привычно-«сладостное» слово, настоящая роза, или лучше скажем розан без шипов, путем повторения (а значит и повторения его ударной гласной), другого повторения того же звука в совершенно невинном словце (значащем всего лишь «везде»), да еще скопления жестких согласных в слове «спектр», само приобретает сумрачность и горечь, совсем ему незнакомые в обычном словесном обиходе, даже и обычно литературном или поэтическом. Повторение звука конечно подчеркивает его смысловую окраску и распространяет ее на более крупный отрезок речи, там где требуется актуализация этой звукословесной потенции; но актуализировать ее возможно и без повторений: ритмически или интонационно (в буквальном смысле слова) т.е. ударением, падающим на этот звук, или же семантически, настолько выдвигая отвечающий характеру звука словесный смысл, что характер этот тем самым и становится актуальным. Слова, содержащие звук у, то приглашают нас к его смысловой актуализации, то являют безразличие к ней то ее решительно отклоняют. Но поэт может

обойтись и без приглашения, может игнорировать его, может действовать ему наперекор, или — как Мюссе в только что приведенном стихе, как Пушкин, актуализируя три у, в том числе и слова «поцелуй», в упомянутом раньше элегическом финале, — может приглашение звука принять, а противоположное ему приглашение слова отклонить. В другом случае («Юрьеву», 1820) Пушкин, напротив, потворствует слову (тому же самому) в его противодействии своей ударной гласной, нисколько ее притом не угашая, а подчеркивая и повторяя, и, еще сильнее, ударением (она одна его несет посредине строчки), но заставляя ее служить не себе, не внесловесным своим возможностям, а пению и смыслу слова, в центре которого (при творительном падеже множественного числа) она звучит:

Пускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?...

Забывать вообще не следует, что потенциальная выразительность звука — во многих случаях, к тому же, и очень неопределенная — сплошь и рядом вовсе не используется поэтом, даже при повторях звука несомненно обладающего ею. Повторы эти могут быть случайны, и они могут быть поэту нужны сами по себе, совершенно независимо от того, какую именно гласную он повторяет (насчет согласных этого нельзя было бы сказать) и каков ее потенциальный звуко-смысл. Таково у Пушкина восьмистишие «Прозаик и поэт» (1825), построенное, начиная со второй строчки, на повторях у, ими окрыляемое, получающее от них всю свою энергию, но потенциальный звуко-смысл этой гласной совершенно оставляющее в стороне.

О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

Главное здесь — нарастание повторов к пятой и шестой строке (где, в той и другой, действительны и неподчеркнутые мною неударяемые *у*). Получается нагнетание, крешендо, которого достиг бы повтор и любой другой гласной. Может быть у тут особенно подходило благодаря его звуковой и артикуляционной четкости; осмыслять его звук было тут незачем, — ни в согласии ни в расхождении с тем, что позволительно было бы назвать его смысловой энтелехией. Повторы, сами по себе, к осмыслению не приводят, но что и без них оно в поэтической речи, зачастую, хоть и не всегда, осуществляется, и что некоторые звуки языка как бы склонность проявляют таким-то образом осмысляться а не другим, в этом, я полагаю, сомневаться невозможно.

Если верить Лотману, звук *у* ничего не значит, то есть, при его недостаточно дифференцированной терминологии, и никакого смысла, никаких смысловых предпосылок в себе не несет. Зато при повторах он — автоматически? этого Лотман не говорит, но так у него выходит — какое то значение получает. Замечу, что значения в том смысле, в каком «уха́» значит «рыбный суп», он не получает никогда. Но вот приводимый Лотманом пример. «В стихах, — пишет он, —

Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я

слова «утром», «уверен», «увижусь» находятся в определенной связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей». Боюсь, что уже это слишком сильно сказано. Очевидна здесь только одинаковость начальных гласных, и то неполная: на первом *у* — ударение, на других его нет. Кроме того, эмфатического да и попросту логического ударения и на первом *у*, то есть на слове «утром» нет. Если бы оно было, побуждая нас выделить слово это при чтении, первое *у* быть может притянуло бы к себе, заставило бы нас услышать другие, слабые; но ведь дело тут не в том, чтобы Онегин непременно *утром*, а не, скажем, уже ночью был уверен, что днем увидит Татьяну, или не с вечера был бы уверен, что опять увидит ее вечером. Когда мы читаем, в другой главе, «Блеснет завтра луч денницы», два *у*, оба ударные, вступают действительно в союз, звучат своим особым, да еще и их особому звукосмыслу свойственным грустным звуком, да и

отзвук себе находят через две строчки: «Сойду...», и далее: «юного», «забудет», «урной», «думать», и еще, в самом конце строфы. Что же до двух строк из письма Онегина, то я уж скорей, в другом стихе заканчиваемой ими строфы, прислушаюсь к двум плюс трем у («Ташусь повсюду наудачу») или, в предыдущей строфе к другой, короткой, но делающей свое дело музычке: «Нет, поминутно видеть вас, / Повсюду следовать за вами, / Улыбку уст... / / Пред вами в муках замирать...» А те две строчки, большой выразительности я в них не нахожу, и музычка их разве лишь отзвук... Но вот что говорит о них Лотман:

«...повторение его [звука у] в ряде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. При этом фонема у осознается и как самостоятельная и как несамостоятельная по отношению к слову «утром». Будучи отделена и не отделена, она получает семантику от слова «утром», но потом повторяется еще в других словах ряда, приобретая новые лексические смыслы. Это приводит к тому, что слова «утром», «уверен», «увижусь», которые в поэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимноналожении. Происходящее при этом своеобразное отождествление приводит к необходимости раскрыть в их разности нечто единое для всех». Это единое называет затем Лотман «архисемой», которая включает, по его словам, «пересечение семантических полей» этих трех слов.

В громоздком немного изъяснении этом есть подлинная работа мысли, и понимание особенностей поэтической речи не вовсе в нем отсутствует; но к ясности оно все же не приводит. Пример выбран неподходящий. Никакого отождествления, даже и «своеобразного», здесь не происходит. Но и когда возникает подлинный звукомысл (которого разве лишь слабая тень уловима в Лотманом выбранных двух строчках) одинаковость осмысленно поющих гласных — «поминутно... повсюду... улыбку уст... пред вами в муках...» — к тождеству ведет лишь в том смысле, что заставляет нас вчувствоваться в то же чувство; никакой другой «архисемы» тут и нет. Я не говорю, что она всегда столь же проста, или что всегда состоит она из одних чувств, без всякого участия мысли, но из чего никак не может она возникнуть, так это из «пересечения семантических

полей», если это поля *значений*. Смыслы же не пересекаются, а взаимопроникаются, могут и сливаться частично или полностью друг с другом. Нет в поэзии (и в искусстве вообще) никаких архисем, конструированных из значений или понятий; есть лишь смысл поэтической речи, ее членений, ее творений; и нередко звукосмыслом надлежит этот смысл именовать, потому что и смысловая окраска звуков участвует в его образовании. Этот смысл-звукосмысл образуется не из отождествления слов между собой, а из отождествления их смысла (не их значения!) с их звучанием. Отождествление это, разумеется, «своеобразно»: не типа «А есть ничто иное как Б», а типа «А есть в то же время и Б». И об «архисеме» лучше в этой связи не говорить. Этот термин и это понятие более уместны в семиологии (семиотике значений), чем в семантике (семиотике смыслов), а значит и в фоносемантике.

Прикрепление термина «семантика» к одним только смыслам — моя выдумка, и «фоносемантика» — собственное мое слово; как и на мне лежит ответственность за то разграничение понятий «смысл» и «значение», которое я в этих моих статьях предлагаю. Думаю, однако, что эти шаги — или шажки — мысли лучше отвечают логике вещей (и существу поэзии), чем совершаемые структуралистами, стихи анализирующими или прозу, по образцу теории связи (информации), теории машинного перевода, и в духе языкознания, изучающего не речь, а систему языка. Фоносемантика отдельных фонем (точнее, их звучаний) далеко не вся фоносемантика, да ведь в этой моей статье лишь об одной семантике гласных я и говорил. В следующей надеюсь и о согласных кое-что сказать, и коснуться семантики интонаций, совсем еще (ни под каким именем) не разработанной. Но эта моя четвертая главка «Звучащих смыслов» вышла такой длинной, оттого, что, для *всей* фоносемантики осмысление звуков, то есть разрешение вопроса о том, как его понимать, имеет основополагающее значение. Если не признать, что осмысляться может уже отдельный звук, даже и вне согласия со смыслом содержащего его слова, придется об одних повторах и говорить (аллитерациях, ассонансах, рифмах), вовсе и не поняв, что повторы сплошь и рядом бывают поэту нужны, именно и только как повторы, независимо от звукосмысла и вообще от особых качеств того, что эти повторы повторяют. Но отрицать возможность отдель-

ного осмысления, хотя бы лишь некоторых, прямо-таки ищущих его гласных, нельзя. Приведу в заключение еще несколько его примеров.

«Пред вами в муках замирать...» Слово «мука», как и сходное с ним по звуковому составу «скука», выразительно. Кроме значения и смысла (который явно тут налицо и образует некую «ауру» их значения) есть у них и звукобуквенный смысл, чья музыка совпадает со звучанием ударяемой их гласной. Этого нельзя сказать о словах «сука» или «щука», чьи значения не исключают смыслов, но их вперед не выдвигают, вследствие чего их у кажется нам безразличным, «не звучит». Зато там, где оно «звучит», оно и весь превышающий значение смысл в себе несет. У Анненского, например, в стихах, где «мука», для усиления звукобуквенного смысла поставлена в рифму (как раз со «скукой») и поднята на вершину интонации, но где никакого другого повторения у в этих заключительных четырех строчках нет:

А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

Здесь интеллект гласной соответствует смыслу слова; но бывают случаи, когда ей этого готового смысла вовсе и не нужно, когда, по воле поэта, дарует она слову не только звучание смысла, но и самый смысл. Имя собственное «Грузия» для грузин, конечно, как бы оно ни звучало, от своего значения непосредственно получает и смысл; но я о русских поэтах говорю и *этого* смысла не касаюсь. У Лермонтова («И мало ль в Грузии у нас / Прекрасных юношей найдется») никакой музыки (даже и при выгодных для нее двух *и* косвенного падежа), никакого звукобуквенного смысла из него не извлечено. Зато Пушкин, весьма музыкально применив его 12 июня 1828 года, — «Не пой красавица при мне / Ты песен Грузии печальной» — и недаром повторив ту же музыку в конце стихотворения, через год (в конце мая), на Кавказе, вспомнил ее, вслушался, вдумался в нее, и зазвучала она в его стихе с удвоенной и неотразимой силой. Вспомнил не сразу, но когда вспомнил, неотразимость этой возникавшей в нем музыки сам первый почувствовал. Написал было стихотворение, — не в Грузии и без упоминания о ней (см. об этом давнюю уже, 1930, превосходную работу С. М. Бонди, включенную в его

книгу «Черновики Пушкина». М. 1971), — но когда вспомнил, выбросил вторые два четверостишия, первое начал стихом «На холмах Грузии лежит ночная мгла», следующую строчку переделал, а дальнейшие шесть оставил нетронутыми: в них и так были репризы «грустно», «мучит», «любит»; тут незачем было, как за полгода до того, начав «Кружусь ли я в толпе мятежной», зачеркивать всю первую строфу, заменять ее другой — «Брожу ли я...» — с девятью ударяемыми *у*, да еще одним в начале следующей; тут первый стих всё стихотворение стал из себя излучать. Неисчерпаемо его волшебство, волшебство интонации натягивающей до предела тайную струну всё той же гласной и отпускающей ее затем на двух протяжных *и-и*; волшебство, которое тотчас околдует нас, как только мы произнесем или услышим

На холмах Гр *у́*-зи-и лежит ночная мгла...

Волшебником был тут Пушкин. Но не будь звуко-смысловых возможностей гласной *у*, в нашем языке, он бы *этого* волшебства не совершил.

В. Вейдле

Я начал верить от безверия,
Из скуки, боли и отчаянья
Уходит в небо периферия:
Сквозь покаяния, раскаянья.
Оттуда вечное молчание —
Нисходит в душу безутешную —
Как неземное достояние —
В глухое пустословье здешнее.

II

Читатель, друг, не осуди!
Я запах псятины вдыхаю,
И с наслаждением к груди
Свою собаку прижимаю.
Не одинаков человек:
Нет равенства у человека:
Одни опережают век,
Другие отстают от века.
Так — я конечно отстаю:
Пишу стихи, люблю природу,
И умников не признаю,
И не хочу служить народу.

А. Величковский

РУССКИЙ СУД ДО РЕВОЛЮЦИИ

В МОСКВЕ

Ранней осенью 1908 года я приехал в Москву на постоянное жительство и вошел впервые под своды здания Судебных Установлений в Кремле.

Это здание не производило впечатления чего-нибудь старого и запущенного. Это была часть Кремлевского дворца и притом самая большая. Достаточно сказать, чтобы дать понятие об импозантности этой части, что в этом здании помещалось тринадцать отделений Окружного Суда, гражданских и уголовных, шесть департаментов судебной палаты, большие залы для судебных заседаний при каждом отделении, поместительная канцелярия и кабинеты Председателей Отделений. Это было, можно сказать, целое государство в государстве. Оно производило впечатление не пышности, но большой импозантности. Особенно хорош был, так называемый, большой Екатерининский зал: овальный, двухсветный и очень поместительный — он легко вмещал до тысячи человек по надобности. В этом зале слушались большие процессы, происходили собрания. Другие залы для заседаний были гораздо меньше, а случалось иногда, что когда шел какой-нибудь сенсационный процесс, то собиравшимся, так называемым судейским дамам и мужчинам, охотникам до таких процессов, приходилось стоять — всем не хватало места. Зато были хорошие канцелярии, хорошие кабинеты у Председателей Отделений.

Мы печатаем главу из «Воспоминаний» не так давно скончавшегося в США Александра Юрьевича Раппопорта. До революции А. Ю. был видным адвокатом в Москве. В 1920-х годах он выехал из Советского Союза, будучи назначен юрисконсультантом Торгпредства в Берлине. В Берлине через несколько лет А. Ю. порвал с большевиками и стал невозвращенцем. После этого А. Ю. много писал в русской эмигрантской печати — в парижских «Последних Новостях», в «Новом Русском Слове» и др. Рукопись мы получили от дочери покойного А. Ю. — В. А. Антанациус. РЕД.

В здании Судебных Установлений помещался также Совет присяжных поверенных. Он был, конечно, недостаточно поместительный, если принять во внимание, что в Москве в мое время насчитывалось около двух тысяч присяжных и помощников присяжных поверенных, что каждый день большая часть их приходила в Суд по делам, для наведения справок, просто для свидания с товарищами и для проведения времени. Места, конечно, для всех не хватало, но было уютно. В отведенном для Совета помещении была: комната для заседания Совета, там же помещалась и относительно небольшая, но хорошо подобранная библиотека, был здесь и как бы зал, куда могли приходить все или встречаться и разговаривать о делах, а иногда и поиграть в шахматы. Засим была, хотя и не очень поместительная, но достаточно просторная канцелярия. Так обслуживался Совет присяжных поверенных.

Все это на нас новичков производило впечатление импозантности и главное большого уюта — сразу чувствовалось, что это вот твой дом: здесь можно себя чувствовать как в своей канцелярии. Нужно прибавить, что в зале Судебных Установлений было, конечно, огромное внизу помещение раздевалки, а в подвальном помещении — буфет, он был немножко тесноват, когда публика собиралась во время завтраков, но опять таки все чувствовали себя там уютно: все друг друга знали, все знали заранее скромное, но очень хорошее и доброкачественное меню и доступность цен. Такова была обстановка нашего Суда с внешней стороны.

Судебные Установления в России составляли существенную часть эпохи великих реформ начала шестидесятых годов прошлого столетия. Эти реформы состояли из пяти частей и каждая из них явилась краеугольным камнем новой России, не только с точки зрения государственного устройства, но с точки зрения ее культурного и просветительного значения.

Вот по порядку как проводились эти реформы. Первой было освобождение крестьян от крепостной зависимости по указу 19 февраля 1861 г. Оно начиналось словами манифеста: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ». Второй крупной реформой той эпохи было создание Земских учреждений, которое произошло 1 января 1863 г. Об этих учреждениях можно было бы много сказать. Это было нечто совершенно новое в России сильно приближавшее ее к

началу, к истокам будущего представительного образа управления страной. Третьей была — новый суд — судебная реформа, которая была названа на юридическом языке: судебной уставой 20 ноября 1864 г. За этим следовало через большой сравнительно промежуток времени — в 1870 году — городовое положение, т.е. автономия городского самоуправления. И наконец, очень важная в социальном и государственном отношении, реформа воинской повинности в 1879 г. Вместо прежнего застарелого положения теперь воинскую повинность должны были отбывать все.

Эти пять реформ составили корону эпохи, называвшуюся эпохой великих реформ, которая вошла в историю России, как самая блестящая глава за все время ее существования. И в этой короне блистали, как большой бриллиант, — Судебные уставы. О них я и буду говорить. О старом дореформенном русском суде поэт писал: «В судах черна неправдой черной». И это была правда.

Новый Суд был построен на совершенно иных началах. Забегая вперед скажу: мне пришлось впоследствии соприкасаться довольно близко с положением судов в Германии, во Франции и даже в Англии, где я выступал экспертом по вопросу Советского Права. Пришлось знакомиться и с постановкой судебного дела и с его слугами в лице адвокатов. Без преувеличения могу сказать, что такого суда, как наш русский суд я не видел нигде на Западе. Конечно, основы Суда присяжных были заимствованы из Англии, где они существовали уже столетие, но поставлены они были на иных началах в смысле непосредственности общения присяжных с Судом, в смысле простоты и, я бы сказал, человечности Института Присяжных Заседателей.

Новый Суд был поставлен на следующих началах: устности, публичности и состязательности. Гласность суда отличалась тем, что судили в отличие от дореформенного времени не по бумагам заранее составленным в канцеляриях, а по прениям, которые происходили на суде. Перед судом проходили свидетели, эксперты, выступали стороны, их адвокаты и все это происходило устно и это придавало суду большую справедливость.

Во время слушания дела могли приходить все кому было угодно. Суд был не делом только судей, а был делом народным,

так сказать, открытым: все лично могли проверять справедливость этого суда. И наконец, третье начало — состязательности, т.е. не было того, что судили только на основании заявления одной стороны, скажем, по уголовным делам, прокурора. Каждая сторона, в гражданском деле истец и ответчик, в уголовном деле обвиняемый и обвинитель, имели одинаковые права говорить все, что находили нужным для выяснения дела.

Краеугольным камнем русского суда был принцип несменяемости судей. Это означало, что судьи, хотя и не выбирались, но назначались без права их смещения, пока сами они не захотят уйти на покой. Мало того, судью нельзя было переместить из одного места в другое без его согласия, нельзя было дать даже повышения против его воли. И принцип несменяемости гарантировал независимость судей. Если судья знал, что не от Министрства Юстиции, не от кого бы то ни было не зависит его пребывание в должности, он чувствовал себя совершенно независимым и свободным в вынесении любого решения. Эта независимость была драгоценнейшим достоянием русского нового суда.

Само собой разумеется, что самым важным в судебной форме был суд присяжных по уголовным делам. Присяжные Заседатели выбирались из всех слоев населения; в уездах больше из крестьян, в городах больше из городских жителей. При чем для Присяжных Заседателей не требовался специальный ценз собственности, достаточно было иметь оседлость (скажем, занимать квартиру) и это давало уже право быть зачисленным в список Присяжных Заседателей. Присяжные Заседатели были совершенно независимы. И я опять таки думаю, что такую справедливость, непосредственность и мягкость, какие характеризовали русских Присяжных Заседателей, трудно найти в западных странах. К тому же на помощь Институту Присяжных Заседателей приходил закон, который допускал право Присяжных признавать смягчающие вину обстоятельства и тем самым значительно уменьшать наказания, если по обстоятельствам дела обвиняемый не заслуживал сурового приговора.

Присяжным Заседателям было дано право в каждом деле признавать обвиняемого заслуживающим снисхождения. Обо всем этом их предупреждал всегда Председатель суда и за соблюдением этого правила зорко следила защита. При этих условиях русский суд присяжных приобретал действительно значение справедливого и милостивого суда. В манифесте о

судебных уставах так и говорилось: «Правда и милость да царствуют в судах!».

Излишне подчеркивать, что русские судьи отличались исключительным бескорыстием. У нас не только не было случаев обвинения судей во взяточничестве, что считалось бы просто нелепостью, но судьи жили очень скромно. Так, например, председатель отделения Московского Окружного Суда с многолетним стажем, получал всего 5000—6000 рублей в год. Это был по тогдашним временам очень скромный оклад. Для того, чтобы сводить концы с концами он, выезжая на уездные сессии, останавливался в уездном городе обычно у к. н. из своих местных коллег и таким образом экономил на суточных, чтобы несколько пополнить свой бюджет. Таковы были наши судьи. Помню, в Москве один из них после большевицкой революции занимался тем, что ходил по знакомым адвокатам и получал от них заказы на набивку папирос. Этим он кормился...

Скромные были наши судьи и честные, и не были сутягами. Это диктовалось и законами. В отличие от того, что я наблюдаю теперь в западных странах, русский суд Присяжных Заседателей или Судебной Палаты, не знал понятия об апелляции приговора. Приговор мог быть кассирован, но считался окончательно вступившим в законную силу и отменить его мог только Сенат, и исключительно в случае материального или процессуального нарушения закона. Это упрощало судопроизводство и делало его более стабильным. Все эти основы были заложены в судебных уставах и оставались нерушимы.

В сущности говоря, по суду в уголовных делах в России, в отличие от всех стран Запада, была отменена смертная казнь со времени Екатерины Великой. За убийство с заранее обдуманым намерением и за изнасилование — высшая мера наказания — ссылка в каторжные работы без срока, но смертной казни не было. Смертная казнь была оставлена только для военных судов при совершении воинских преступлений. Правда, начиная со второй половины 19-го столетия, когда в России усилилось революционное движение и движение революционно-террористическое — императорским указом было введено перенесение дел по таким преступлениям из ведения гражданского суда в ведение военных судов с применением смертной казни. Эта смертная казнь применялась военными судами, но не по ординарным убийствам или тяжким уголовным престу-

плениям, а только по политическим. В обычных же уголовных делах смертной казни не было — это было великое приобретение России, которого не существовало за границей, где тогда во многих государствах смертная казнь за убийство, за изнасилование и т.п. применялась.

Хочу отметить еще один момент: психология русских Присяжных Заседателей была характерна для русского человека вообще с его жалостливостью к преступникам, которых в народе звали «несчастенькими». Во многих защитах, особенно, когда дело велось на сессиях Окружного Суда в уездных городах, где большинство Присяжных Заседателей состояло из крестьян, они всегда судили очень по совести и мягко, входя в обстоятельства всего дела, и обычно смягчали наказание. Был только один род уголовных преступлений, по которым в уездах крестьянские Присяжные Заседатели были беспощадны, это — конокрадство.

За конокрадство полагалось вообще очень суровое наказание до пяти лет тюрьмы с лишением прав. Присяжные Заседатели в случаях конокрадства всегда давали высшую меру наказания и это было справедливо. Отнять у крестьянина его кормильца — лошадь, при отсутствии у него средств на покупку новой, было большой жестокостью, поэтому конокрадство и наказывалось беспощадно. Часто бывали случаи, что пойманного крестьянином конокрада избивали до полусмерти, а то и до смерти. С другой стороны были дела, по которым Присяжные проявляли снисходительность и мягкость. Это были дела об убийстве из ревности, о растратах.

Противоположность исхода двух дел: растрат и конокрадства очень характерна была для русских Присяжных Заседателей с их снисхождением к тяжелому положению, в котором человек мог очутиться. Присяжные Заседатели судили по совести и недаром в России суд Присяжных назывался судом совести, а сами Присяжные — судьями совести. В отличие опять-таки от Запада в России можно было сторонам, т.е. прокурору и защите, отвести без мотивировки двух человек из списка Присяжных Заседателей, т.е. исключить их из заседаний без объяснения причин, для отвода же большего числа должны были быть очень серьезные мотивы и к этому редко прибегали и прокурор и адвокаты. За всю свою адвокатскую практику я не могу вспомнить такие приговоры, которые мы,

защитники, могли бы считать несправедливыми, хотя мы всегда были склонны (по своей профессии) быть снисходительными к обвиняемым. Судили и по совести и действительно милостиво, с большим сочувствием к беде человека.

Кроме суда Присяжных был еще суд с сословными представителями по должностным преступлениям и по преступлениям политическим. Повелось это с преступлений политических, после знаменитого дела Веры Засулич. В этом деле, как через много лет и в деле Бейлиса, русский суд блестяще выдержал свой экзамен на справедливость и независимость. Как известно, дело Веры Засулич заключалось в том, что тогдашний петербургский градоначальник Трепов приказал за какое-то своеволие выпороть заключенного в тюрьме студента Боголюбова. Тогда, возмущенная этим, молодая студентка Вера Засулич выстрелила в градоначальника. Она была предана суду Присяжных Заседателей. Председателем суда был известный всей России судебный деятель, весьма гуманный А. Ф. Кони. Кони вел дело так, что Вера Засулич была оправдана и, как полагалось по закону, Председатель, не дожидаясь ни секунды, объявил ей: «обвиняемая, вы свободны!». Она немедленно вышла из суда и товарищи позаботились о том, чтобы сплавить ее куда надо и отправить за границу. Она уехала в Швейцарию, став там сотрудницей основателя русской социал-демократии Плеханова. Это был один из экзаменов русского суда. Но этот экзамен стоил русскому суду довольно дорого, потому что после этого дела политические дела были изъяты у суда с Присяжными Заседателями и передавались в Судебную Палату с сословными представителями, т.е. с составом из 4-х судей с Председателем и представителей сословий: от дворянства, от городской Думы и от какого-нибудь волостного управления.

Еще раз русский суд блестяще выдержал экзамен на свою независимость в 1913 году в нашумевшем на всю Россию (да и на весь мир!) деле Бейлиса. Русские евреи, которые еще помнят те годы, никогда не забудут дело Бейлиса. Дело было так: в Киеве очень крепко было гнездо черносотенцев, которое поддерживалось крайне правыми депутатами Государственной Думы. И вот в Киеве был устроен своего рода «показательный» процесс против евреев, которых хотели наказать за их революционность. Нашлись какие-то темные личности, которые свидетельствовали, что евреи поймали мальчика Ющинского перед

еврейской Пасхой. Мальчик был найден убитым и еврея Бейлиса обвинили в убийстве с ритуальными целями. Надо сказать, что дело Бейлиса поддерживалось из Петербурга администрацией в лице министра юстиции Щегловитова. Бывший в прошлом либералом, человек очень образованный, Щегловитов постепенно переключился в лагерь правых reactionеров. Он стал одним из самых свирепых министров юстиции. Между прочим, ему принадлежала заслуга запрещения евреям доступа в сословие присяжных поверенных. Рассказывали, и это был не анекдот, а факт, что когда один еврей пришел к нему хлопотать, чтобы ему разрешили вступить в сословие, Щегловитов сказал: «Пока я министр юстиции ни один еврей не будет в сословии присяжных поверенных». На что кандидат будто бы ответил: «Что ж делать, ваше превосходительство, подождем». И это ожидание увенчалось успехом. Щегловитов после февральской революции был заключен в тюрьму. Большевики его расстреляли. Евреи же, правда, на очень короткое время (до прихода большевиков, когда кончилась свободная русская адвокатура) получили право поступать в адвокатуру.

В деле Бейлиса, наряду с известными черносотенными адвокатами (Замысловский, Шмаков и др.), которые выступали в качестве гражданских истцов, выступила и русская либеральная общественность, мобилизовав своих самых лучших адвокатов. Это были столпы русской адвокатуры: Карабчевский, Зарудный, Маклаков, Григорович-Барский и др. Еврейское общество волновалось, ибо в случае обвинения дело пахло погромом в Киеве. Я хорошо помню как мы все ждали этот приговор и как вздох облегчения вырвался из груди не только евреев, но и всех порядочных людей, когда, как говорилось тогда, «мужички за себя постояли», и не страшась ни прокурорских угроз, ни давления черной сотни, вынесли Бейлису оправдательный приговор.

К сожалению, это был последний большой экзамен русского суда, потому что через четыре года — при захвате власти большевиками — русский суд перестал существовать вообще, будучи заменен т. н. «классовым правосудием», в котором никакого помина о «праве» не было, да и быть не могло.

Я стараюсь дать картину русского суда до революции. И мне хочется указать на то, чем русский суд отличался от западных судов. В русском суде не было ни немецкого цепляния

за мертвую букву закона без вхождения в суть дела, ни крючкотворства, ни фразы, как во французском суде. «Фразу» терпеть не могли наши судьи, фразы только раздражали и Присяжных Заседателей. И крючкотворство было совсем не в моде. Особенными крючкотворами бывали, так называемые, частные поверенные, которые не имели юридического образования и были скорее в суде дельцами (на законном основании), чем они и отличались от присяжных поверенных. Они очень любили щеголять сенатскими решениями.

Помню одно дело, по которому судились два купца. Один купил у другого овес и отказывался платить. Дело разбиралось в коммерческом суде. Адвокат ответчика начал заниматься крючкотворством: приводил разные решения Сената о подсудности и о том как надо подходить к этому делу с точки зрения сенатских решений. Долго он этим морочил голову всем. Председатель Багданосов, старик, очень почтенный, умный и хороший человек, слушал-слушал, но потом остановил ретивого не по разуму адвоката и говорит: «А скажите, господин присяжный стряпчий (так назывались адвокаты в коммерческих судах), а овес то вы получили или не получили?» Адвокат начал: «Ну да, но знаете по решению Сената от такого-то года по такому-то делу...» — «Я еще раз вас спрашиваю, господин присяжный стряпчий, овес то ваш доверитель получил или не получил». Адвокат помялся-помялся, но должен был сказать: «Да, получил». — «Очень хорошо, теперь вы можете продолжать». И дело было решено. Это образец того, как было не популярно всякое крючкотворство в русском суде.

Надо сказать, что когда после девятилетнего моего пребывания в Московском Сословии Присяжных Поверенных появился большевицкий диктатор, ударивший по этому хрупкому зданию своей дубиной, разнеся в щепки весь суд, это было для всех русских адвокатов жестоким испытанием, не потому, что мы лишились заработка, а потому, что мы любили русский суд и работу в этом суде. Но Ленин расправился с русским судом с такой же быстротой и бездумием, как со всеми лучшими учреждениями эпохи великих реформ. От суда не осталось ничего. Самое понятие **суда** с приходом большевиков исчезло.

КАК НАЧАЛАСЬ МОЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Когда я приехал в Москву, я прежде всего пошел в Совет Присяжных Поверенных (представиться и быть зачисленным). В Совете Председателем был тогда старик Доброхотов. Всем своим видом и поведением он напоминал студента шестидесятых годов прошлого столетия. С небольшой седой бородкой, с копной седых волос, всегда рассеянный, немножко растрепанный он носил кургузый пиджачек. Человек он был честнейший. У него не было большой практики, но зато на него можно было положиться, что он-то будет заботиться об адвокатском сословии. Его помощниками были два выдающихся адвоката Москвы — Малянтович и Ледницкий, позднее Муравьев. Это был цвет московской адвокатуры. Они, как и весь Совет, судили товарищей, если дело доходило до дисциплинарного производства, по совести, входили в положение, но потачки не давали, если адвокат нарушал правила адвокатской этики. В сословие я вступил на правах полноправного члена. Полноправного, конечно, с оговорками. Я имел право выступать: в Окружном Суде и в Судебной Палате по уголовным делам, но не по гражданским, т. к. у евреев не было права выступать по гражданским делам. У Мирового судьи и при Мировом Съезде я имел право выступать, но только три раза в год по гражданским делам, по уголовным же — неограниченно. Получив звание так называемого судебного стряпчего, т.е. адвоката при коммерческом суде, я имел неограниченное право там выступать.

Таким образом, у меня было обширное поле деятельности для своей адвокатской работы. Я старался не упуская случая использовать эту возможность и как можно скорей втянуться в работу адвоката. Первое время я работал, как помощник, у Малянтовича, ходил каждый день в его кабинет, но работы, как он меня предупредил, для меня не было. Скоро это изменилось. Вышло это случайно: мой патрон получил в свое производство дело о патентном праве на изобретение. Оно было спорным, а он с этой областью права был незнаком, я же в Германии занимался этим вопросом, поэтому я по немецким юридическим книгам изучил это дело и составил для него нужный доклад. Этим я сразу поднял свои шансы. Вскоре Малянтович предложил мне на первое время скромную сумму — 25 рублей в месяц — на мои расходы по разъездам в городе. Позднее он

увеличил эту сумму до 50 рублей. Года через три я не нуждался в этом и предложил ему это прекратить. Он решительно сказал, что считает это своим долгом. Засим он меня стал втягивать постепенно в свою работу, делясь в большей или меньшей степени гонорарами по делам. Так мало-по-малу я начал зарабатывать в адвокатуре, и началась моя судебная работа. Очень скоро у меня был дебют в Окружном Суде. Сначала с Присяжными Заседателями по мелкому делу, в котором одна бедная женщина обвинялась в том, что проходя мимо какого-то двора, где было развешено белье, стащила несколько вещей и была поймана. Она была привлечена за кражу и получила казенного защитника, который передал это дело мне.

Не забуду каким беспомощным я чувствовал себя в это первое мое выступление в суде. Вскоре мой патрон Павел Николаевич Малянтович, который постепенно становился моим близким другом, поставил меня на защиту одного из обвиняемых по очень большому и сложному делу, сам уклонившись от участия в нем.

Это была моя первая политическая защита в Судебной Палате. Дело называлось: «Об оппозиционной фракции партии социалистов-революционеров». К тому времени, когда революция 1905 года уже выдохлась, эта фракция перешла к насильственным действиям — к террору. С этим не была согласна партия (ее ЦК), поэтому и обвиняемые по этому делу назывались оппозиционерами. Дело было очень интересное. Начать с того, что обвиняемых было не меньше полусотни, а адвокатов человек двадцать пять и среди них видные, такие, например, как Муравьев и некоторые другие из молодых. Я чувствовал себя совершенно растерянным и потерянным. Я не знал когда и что можно спрашивать у свидетелей: можно ли допрашивать своего подзащитного и, вообще говоря, каковы пределы моих прав и обязанностей. Мои молодые товарищи меня дружески поддерживали. Сидевший рядом со мной, старый, сердитый Муравьев (он всегда был сердитый и капризный) иногда читал мне наставления, причем громко ругался, если я делал какую-нибудь ошибку.

Уже один вид большого Екатерининского зала заседаний, о котором я говорил выше, внушал некий трепет. Он был весь завален вещественными доказательствами, среди которых было много ружей, патронов и бомб и была даже деревянная модель

пушки. Всем этим пользовались или собирались пользоваться обвиняемые. Это, конечно, производило впечатление. Суд был, как и всегда, справедливый, но строгий.

Дело слушалось около месяца. Допрашивались свидетели, хотя я не знаю о чем можно было их допрашивать. Свидетели были большей частью, конечно, из полиции — явной и секретной. Но весь допрос был направлен к обвиняемым. Они должны были рассказать (хотя по закону имели право вообще ничего не говорить), что они делали и почему они это делали. Что они делали было ясно: подготавливали экспроприации, нападения, делали вообще революцию. Был у нас один курьезный случай на этом процессе. Рядом с залом суда была очищена другая зала, в которой во время перерыва находились обвиняемые: там они завтракали, разговаривали, даже принимали знакомых. Мы любили туда заходить и с ними разговаривать. Помню, однажды, я зашел туда, но старшие товарищи на меня зашикали, что мне лучше уйти. Я не понимал в чем дело, но потом все выяснилось. В этот день некоторые адвокаты затеяли побег из суда одного из обвиняемых. Сделали они это просто: положили в портфель фрак, принесли его в тот зал, в котором в то время были обвиняемые во время перерыва, окружили плотным кольцом этого обвиняемого (стража была чем то занята). Обвиняемый в это время снял свой пиджачишко, надел фрак, а когда кончился перерыв он вместе с адвокатами вышел из залы, где находились обвиняемые и был таков. Хватились только вечером, когда делали перекличку для возвращения обвиняемых в тюрьму. Одного не хватало. Начали искать. Но обвиняемый давно уже был не только за пределами суда, но и за пределами города. Товарищи сплывили его по чужому паспорту, поместили в надежное место на несколько дней, а потом отправили за границу и там он стал эмигрантом. Этот случай нас всех забавлял и весело волновал. Вообще же говоря, процесс протекал как всегда очень мирно, обвиняемые давали объяснения, адвокаты искали и находили всевозможные доводы для защиты.

Был случай, когда адвокат дошел до того, что председатель остановил его, сказав: «господин присяжный поверенный, вы не имеете права заниматься восхвалением преступлений, т.е. выставлять деяния обвиняемых, нарушающих закон, как подвиги». Мы увлекались и забывали, что сидим в суде. Многие из нас сами были заражены революционными идеями и мы со-

чувствовали обвиняемым; но никаких дисциплинарных мер по этому поводу Судебная Палата не принимала.

Должен тут сказать, что в состав Судебной Палаты, т.е. суда второй инстанции по общим делам и первой инстанции по политическим делам входили опытные судьи, старые, настроенные, конечно, против революции, но далеко не все из них были реакционерами. Помню, старшего председателя Стрижевского, человека очень умного, очень сдержанного. Он, конечно, не сочувствовал революции, но он был вполне нейтрален и корректен в отношении обвиняемых. Был другой старик Ранк (немец по происхождению), очень старый судья, опытный и по-старчески курьезный. Он часто, ведя заседание, про себя что-то ворчал; например, был случай, когда один из защитников, очень молодой помощник одного адвоката, фамилия которого была Мебель, начал распространяться, чтобы доказать невиновность своего подзащитного, о том, что он не мог быть на конспиративном заседании, которое ему приписывается и стал говорить о том, как была расставлена там мебель, и вдруг раздается громкое ворчание нашего судьи Ранка: «Ну, конечно, помощник Мебель говорит о мебели». Иногда он делал и другие замечания. На него никто не обижался, человек он по сути дела был неплохой, хотя судья был довольно строгий. Вообще члены Судебной Палаты были всегда на высоте своего призвания беспристрастных, добросовестных и хорошо знающих свое дело судей. Этот опыт я уже вынес из первого большого процесса, в котором я выступал защитником, — оппозиционной фракции партии социалистов-революционеров.

Через год я участвовал в другом большом процессе партии социал-демократов, хотя и не столь импозантном и без моделей деревянных пушек. В этом процессе было два человека, которые впоследствии, когда в России водворился большевистский строй, играли заметную роль. Один из них был Бриллиант (псевдоним — Сокольников). Он вскоре после Октябрьской революции занял место «министра финансов». Помню, как мне пришлось ехать с ним в поезде из Москвы в Берлин и мы разговаривали о том, что финансовое положение новой власти шатко. Кто-то высказал мнение, что не было ли бы правильно восстановить старую монополию водки (винную монополию), которая давала большие доходы царскому правительству. И представьте себе Сокольников это провел. Вскоре по всей Рос-

сии появились лавки, где продавалась водка, причем это принадлежало, как и все впрочем при большевиках, — казне. Этим Сокольников сразу «поднял финансы». Кончил он — в сталинской тюрьме.

Второй обвиняемый в этом деле был впоследствии моим, так сказать, сослуживцем, когда я работал в Торгпредстве в Берлине, о чем расскажу дальше, фамилия его была Кизельштейн, был он честный и добрый человек, но начал он свою работу после октября все-таки в ЧК. В процессе, о котором я говорю, он был рядовым обвиняемым и я был его защитником.

А. Ю. Раппопорт

КГБ В ДЕЙСТВИИ

Короткие напутственные слова высокого начальства: Лицо его не трогать. Ясно?... Дать возможность одеться... «С Богом»...

Неожиданно, на день раньше возвратившийся «муж» Миша и его друг «геолог» Кунавин ушли.

Во время западни устроенной Дежану я по приказу Мелкумова сидел у себя дома и ждал телефонного звонка. Об этом деле я передаю все то, что о нем рассказывал мне Кунавин, да и Мелкумов отчасти, и Вера Ивановна в разное время и с разными оттенками.

Когда Морис Дежан вырвался из квартиры в Ананьевском переулке, для Кунавина и Миши рабочий день кончился. Но он не кончился для Грибанова, который помчался в своей машине в Машкино-Куркино. Дело в том, что Морис Дежан накануне был приглашен на дачу к Горбунову. Теперь надо было дать послу время возвратиться в посольство, может быть, «отдохнуть», собраться с мыслями, опять же переодеться и поехать к Горбуновым в Машкино-Куркино. Все это время я сидел дома и ждал звонка. Я ждал не позвонит ли вдруг Морис, после всего случившегося, мне? Может быть он отменит поездку в Машкино-Куркино и попросит меня немедленно приехать в посольство, может быть он расскажет мне, что с ним произошло, может быть спросит совета — как быть? Ведь все же я познакомил его с Лорой. Никто не знал точно как поведет себя Дежан. Это не мог предсказать на сто процентов и КГБ. Вот поэтому я и сидел дома до восьми вечера. В начале девятого мне позвонил Мелкумов и сказал, что я могу быть свободен.

Грибанов-Горбунов и Вера Ивановна ждали посла на даче. Он опоздал, но приехал. Тут уже собрались многочисленные «друзья», в том числе и Михалков с Кончаловской, и Сумцов,

и некий Виктор, архитектор по профессии, которого я встречал позже у Мари-Клер, и Марина Книппер, бывшая жена советского композитора, племянника известной мхатовской актрисы. По странному стечению обстоятельств, я знал Марину еще по Тбилиси, юношей, мы жили на одной улице.

Сели за стол, поужинали. Потом Грибанов предложил Морису сыграть партию в бильярд. Во время игры, когда они были одни, Грибанов ждал, что Морис заговорит с ним о том, что всего лишь несколько часов назад с Морисом произошло. Но посол вел себя безукоризненно, как будто с ним ничего и не было. Грибанов, надо полагать, злился. Однако, перед самым концом вечера, Морис обратился к нему и сказал:

— Алек... я хотел бы побеседовать с вами...

Они прошли в уединенное место. Здесь Морис рассказал Грибанову обо всем и попросил помочь ему выпутаться из этой неприятной истории. Примечательно, что Морис ни словом не обмолвился обо мне. Он сказал, что **где-то** и **как-то** познакомился с Ларисой. Олег Михайлович, разумеется, отнесся к рассказу посла весьма серьезно. Он заявил, что все теперь зависит от характера мужа Лоры, что если он человек ревнивый, то действительно может устроить скандал, пойти в суд и пр. Разумеется, Дежан пользуется дипломатической неприкосновенностью и поэтому к судебной ответственности его привлечь нельзя. Но пошли бы слухи, они, конечно, просочились бы и на Запад. Словом, Грибанов нагнал на Мориса страху, но одновременно, записав все данные, имена, адрес и пр., обещал сделать все возможное, чтобы предупредить неприятности.

Ну и с этой минуты, как я думаю, Морис Дежан был уже в зависимом положении от КГБ. С этой минуты он уже не мог чувствовать себя свободно. Короче говоря, капкан захлопнулся.

На следующей уединенной встрече Грибанов-Горбунов сказал Дежану, что он выяснил подробности и оказалось, что муж Лоры на редкость вспыльчив и готов на крайние действия. И опять Морису, вероятно, стало страшно, так как судьба его висела на тоненькой нитке и спасти его мог только один человек: нет, не генерал де Голль, а генерал Грибанов.

Скажу то, что я думаю об этом: по-моему, Грибанов незаметно, почти без слов или не называя вещи своими именами,

предложил Дежану компромисс. Услуга за услугу. Грибанов заткнет пасть «мужу Лоры», а Морис взамен, нет, не передаст в руки КГБ какие-то секретные документы, а просто будет стараться «улучшить» позиции Советского правительства в том или ином вопросе и там, где это от Дежана зависит. Зачем начинать сразу с секретных бумаг, да и потом дело не только в секретных бумагах, подчас так важно, чтобы где-либо в нужном месте в решительный момент кто-либо сказал какое-либо слово, да, да, одно слово или даже пожал бы плечами или вздохнул...

Как иначе могло быть? Ради чего КГБ плел эту паутину столько времени, истратил столько денег, энергии, так рисковал?

И скандал огласки не получил. Страсти улеглись, так сказать.

Дальнейшее в отношениях между КГБ и Дежаном мне не известно. Я мог судить о некоторых аспектах «торговли» лишь по самым побочным, как бы отраженным деталям, о которых расскажу несколько позже.

Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что капкан этот захлопнулся, Грибанову не удалось так просто и легко подчинить себе Дежана. Я убежден в том, что после успешной поимки в капкан, генералу пришлось столкнуться с отчаянным, опять же наверное бессловесным сопротивлением французского посла. Собственно, я не уверен в том, что Грибанову удалось до конца подчинить себе Дежана и, так сказать, поставить точки над *i*. Мне кажется, что отношения между ними были чрезвычайно сложны, переменчивы, запутаны, противоречивы, и что до последнего дня пребывания посла в Москве между ними шла напряженная психологическая борьба. Правда, несомненно, что Грибанову удалось достигнуть того, что Морис стал считаться даже в дипломатическом корпусе «другом» СССР. Это подтверждалось и секретной информацией, поступавшей в КГБ из Франции. Вера Ивановна, например, позже говорила мне, что министр иностранных дел Франции, Кюв де Мюрвиль, был весьма недоволен Дежаном и удивлялся **однобокости** сведений, которые присылались из посольства в Москве.

Вскоре вернулась Мари-Клер. Я был приглашен на очередной ужин к Дежанам и, по заданию Кунавина, между прочим, сказал о том, что Лора уехала на съемки и вероятно два-

три месяца не будет в Москве. Морис даже бровью не повел и не задал мне ни единого вопроса.

А затем я на своей «Волге» укатил на рижское взморье, где продолжал «отдыхать» и Кунавин. С помощью латвийского КГБ мне устроили номер в гостинице «Майори», что обыкновенным смертным недоступно. Здесь я часто встречался с Леонидом Петровичем.

Кстати, в конце месяца, он похвастался тем, что его поздравил сам председатель латвийского КГБ, которого он фамильярно называл «Стариком», так как прежде работал с ним несколько лет в Риге. «Старик» поздравил Кунавина с новой правительственной наградой — с очередным орденом, полученным за капкан для Мориса Дежана. В Риге об этом ордене стало известно, вероятно, потому, что приказы КГБ СССР, подписанные генералом Серовым, рассылались по всем республиканским комитетам.

Однако, вслед за тем, Кунавину не повезло. В пьяном виде он наехал на свое «Москвиче» на старую женщину и сильно изуродовал ее. Друзья из КГБ-МВД Латвии помогли откупиться. Я дал Леониду «взаймы» 500 рублей. Дело прикрыли. Грибанов, памятуя заслуги Кунавина, простил ему эту историю. Он не раз прощал ему такое. Но забегаю вперед, скажу, что через год или полтора, приблизительно за подобную же историю, Кунавина из «органов» отчислили. Я помню, как он позвонил мне и попросил встретиться в Александровском саду у Кремлевской стены. Он был мрачнее тучи. Во 2-м Главном управлении была назначена гос. парт. комиссия для ревизии его отделения. Он откровенно сказал:

— Не погубите меня. Если вас вызовут и спросят — давали я вам 300 рублей на оперативные расходы, скажите — давал. Понимаете, как-то ребята собрались, хотелось выпить, а денег не было, ну я взял казенные, а потом написал за вас расписку, поставил подпись, я ведь ее знаю, не первый год вместе работаем...

К счастью, меня не вызвали. Но Кунавин не был исключением. Он был таким же, как и другие офицеры КГБ. Заняв у меня 2500 рублей, он не возвратил их. Когда его уволили из КГБ, он переехал в Ригу и стал директором гостиницы «Интурист» в Булдури. Он сам рассказывал мне, что продолжает поддерживать связь со «Стариком» и что в этой гостинице

проводятся различные операции с иностранными туристами. Потом его перевели в какое-то морское учреждение, где он стал начальником спец. отдела.

Бесславна бывает судьба чекиста! А сколько раз, уже после отставки, Грибанов вызывал его в Москву «расхлебывать» прежние дела. Сколько раз, после моего перехода на Запад, наверное, вызывали самого Грибанова в ЦК КПСС «расхлебывать» мое дело...

Но вернусь к французам. Осенью мои встречи с Дежанами возобновились. Теперь передо мной была задача: помогать Вере Ивановне отвлекать Мари-Клер от Мориса. Она явно мешала Грибанову в его «торговле» с послом.

Однажды была организована вечеринка на квартире у Нади Черединченко, где я должен был дать Морису «дезу», то есть дезинформацию. Текст этой «дезы» был напечатан где-то в верхах на папиросной бумаге и состоял из нескольких строчек. Я должен был выучить их и сжечь бумагу. Короче говоря, мне надо было сказать Дежану, что на одном из приемов в Кремле я, мол, слышала, что Советское правительство собирается признать Алжирское правительство. Это было в разгар военных событий в Алжире и, конечно, было бы для президента де Голля ударом.

Никита пустил пробный шар. Но эта история свидетельствовала о том, что Морис не был полностью в руках Грибанова, что он с ним хитрил. Возможно, что эту «дезу» пускали всерьез, но возможно и то, что КГБ проверяло, как будет реагировать сам Дежан и что он сообщит шифровано в Париж. (Несомненно у Москвы был надежный источник, поставлявший важную информацию из Парижа).

Услышав от меня эту «новость», Дежан всполошился и начал доказывать, что если Советское правительство поступит так, то это будет страшной ошибкой. Дежан явно был обеспокоен и в течение вечера дважды отводил меня в сторону и повторял свое мнение. Он повторил его и тогда, когда мы прощались.

В тот вечер я первый раз подумал о том, что Грибанов все же не достиг желаемого и что посол сохраняет свою дипломатическую независимость. А, может быть, в то время они с Грибановым поссорились. Странно, что именно мне поручили передать эту «дезу». Разве сам Грибанов-Горбунов не мог сделать

этого с бóльшим успехом? Или положение «ответственного работника» Совета Министров СССР не позволяло ему этого?

Примечательно, что тогда идея «завладеть» сердцем Мари-Клер была забыта. Единственное, повторяю, что мы делали — это отвлекали Машеньку от Мориса, давая ему больше времени для встреч тет-а-тет с Грибановым.

Тем не менее, вскоре ряды наши пополнились. В мою «банду» был введен новый кооптированный КГБ: кинооператор, а впоследствии и кинорежиссер Юлий Михайлович Кун. В свое время он работал с выдающимся советским кинорежиссером Александром Довженко, был в дружеских отношениях с его женой, Солнцевой.

Кун считался мастером своего дела. В Таллине он снимал мою картину «Капитан первого ранга» (по Новикову-Прибою) с Михаилом Орловым в заглавной роли. Собственно, на съемках этого фильма я и познакомился с Юлием. А дальше я порекомендовал его Кунавину, когда тот сказал, что нужны еще «подходящие» люди. Вскоре выяснилось, что Кун давно уже был среди «подходящих», то есть сотрудничал с «органами» на тех же правах, на которых с ними сотрудничал и я. Правда, он был информатором по внутренней линии, будучи «глазом» КГБ на студии «Мосфильм» в те годы, когда там работал. Позже, Юля говорил мне, что КГБ пыталось «приставить» его к Довженко, который был его учителем и которого он очень уважал. Тут у Куна, по его словам, хватило смелости отказаться. Кажется, с этого начались его неприятности с боссами из КГБ. С одним из них, курировавшим «Мосфильм», он просто разругался. В результате, тот начал «капать» на самого Куна и воспрепятствовал выезду последнего за границу. А предстояла поездка в Финляндию, где снимался фильм «Садко». Кун начал жаловаться и сумел пробиться к председателю Выездной комиссии ЦК КПСС, бывшему генералу КГБ, Панюшкину. Поездка в Финляндию состоялась. Но после возвращения в Москву, Юле приписали попытку объявить себя невозвращенцем в Финляндии вместе с эстонской киноартисткой Эви Киви, с которой у него были интимные отношения. Словом, Кун много пережил, но вырваться из плена «кооптированных» не мог. (Это навеки!).

Кунавин, выяснив все эти детали, сначала отверг канди-

датуру Куна, но через две-три недели, видимо с ведома Грибанова, Кун был введен в «Операцию Морис».

Внешне Юля был привлекателен. Давала себя знать смешанная русская, французская и шотландская кровь. Он был высок, плотен, спокоен в движениях, с чуть холодными, но пронизательными глазами, с прямым, выразительным носом, с сильным подбородком и темнорыжими гладко зачесанными волосами. Юля отличался сдержанностью, мужественностью и превосходными «светскими» манерами. Он мог объясниться и по-французски, и по-английски, и по-немецки. Что касается его дарования, то по-моему у него были способности в технической области, он был первоклассным кинооператором, но художественное воображение его было, как мне кажется, весьма ограничено. Не случайно он всегда утверждал, что кино-режиссер в кино фигура выдуманная.

Мать Юлия Куна, достаточно известный в Москве скульптор, Юлия Альбертовна Кун, много путешествовала в прежние времена по свету. Когда сын был маленьким, она вместе с ним побывала в Южной Америке. Отец Юли умер рано. Мать вышла замуж за какого-то таинственного человека, крупного работника советской разведки, долго находившегося в подполье за рубежом. Кажется в 1937 году он был вызван в Москву и Сталин его расстрелял. Тут было что-то неясное и Юля, обычно откровенный со мной, на этот счет не распространялся.

Куны имели собственный дом в Темирязовском районе — напротив сел.-хоз. Академии — с садом и даже прудом, что-то вроде усадьбы. В гараже стояла уже не новая «Волга». У Юли был сын, Юлик, очаровательный шестилетний малыш от третьей жены, популярной киноактрисы Ии Арепиной, с которой Юля разошелся.

Я не случайно так подробно останавливаюсь на Юле Куне. Он человек сложный и интересный. В нем сочетаются одновременно черты весьма типичные для советского человека и черты абсолютно для него не типичные. Впрочем, может быть, самое типичное для советского человека и есть совмещение этих двух противоположностей. Со стороны Кун представлялся патриотом и ортодоксом, внутри же он давно и до основания был сломан, тронут червем сомнения. В отношениях к людям — глубоко циничен. К тому же, активный антисемит. Но у него нет выбора в жизни, он не может жить так, как хотел бы,

он подчиняется обстоятельствам, которые складываются в силу множества причин. Он в жестких тисках, его продолжают уродовать, подвергая ежедневно сложной процедуре унижения человеческого достоинства. Поэтому он и зол на людей, поэтому он и ненавидит их всеми фибрами души, поэтому он и выливает это в более очевидной форме на еврейскую нацию. Увы, но такое происходит со многими, очень многими интеллигентами в СССР.

«Работая» с Мари-Клер, ради этого часто специально прилетая из Таллина в Москву, Юля продолжал сотрудничать и с КГБ в Эстонии, где он последние годы снимал картины в местной студии. После «Капитана первого ранга», он уже в качестве режиссера снял цветную широкоформатную ленту «Озорные повороты». Это был первый эксперимент в этой области. Вскоре картина с успехом показывалась в единственном кинотеатре в Москве. В Таллине Кун поддерживал связь с работниками эстонского КГБ, преимущественно русскими по национальности. Однако, о **высокой миссии** Куна было известно второму секретарю ЦК КП Эстонии, Лениману, и в нужные моменты он оказывал ему содействие. Тем не менее, эстонцы возненавидели Куна, вероятно, узнав о его «втором лице». В итоге, они устроили провокацию. Кун был обвинен, ни больше ни меньше, как в растлении малолетней девочки, снимавшейся у него в картине. Как рассказывал мне Юля, факты были подтасованы, свидетели были подобраны и единственное, что оставалось Куну — это немедленно бежать из Таллина в Москву. Если бы он не сбежал, его бы арестовали и посадили в тюрьму. (А там иди доказывай!). Куну грозили крупные неприятности. Лениман устранился. Юля ходил совершенно растерянный. Я посоветовал ему добиться личного приема у генерала Грибанова. Вера Ивановна помогла в этом. Олег Михайлович внимательно выслушал Юлю и тут же, в его присутствии, позвонил по ВЧ в Таллин, начальнику КГБ Эстонии, кажется, полковнику Карпову, приказав ему в течение 48 часов провести расследование «дела» и доложить результаты. И в течение 48 часов «дело» Куна было прикрыто. Грибанов в буквальном смысле слова **спас** Куна.

С того дня Юля считал, что он обязан своей жизнью мне, за совет, Вере Ивановне за содействие и Грибанову, главным образом, за звонок в Таллин. После этого эпизода Кун решил

по-настоящему, с полной отдачей трудиться лишь на КГБ. Так он мне сказал. Искусство, литературу, кино он называл просто вздором. Он был настолько ошеломлен тем, что с ним произошло в Эстонии, что чуть ли не стал истинным патриотом КГБ. Он утверждал, что каждый второй эстонец ненавидит русских и советскую власть и является контрреволюционером. Он рассказывал об этом и Грибанову и даже, по просьбе последнего, написал соответствующий отчет, приведя много конкретных примеров и ссылаясь на разговоры, которые он слышал, например, в таллинском клубе «Ку-Ку», где собирались местные писатели, артисты, художники и где достаточно свободно высказывались различные мнения. Кун говорил, что шоферы такси в Таллине ждут подходящего момента, чтобы пустить в ход оружие, зарытое в земле со времени окончания войны.

Кун восторженно рассказывал мне о кабинете Грибанова, о его секретаре Кирпичникове, о генералах, сидевших в приемной Грибанова. Олег Михайлович произвел на Куна неотразимое впечатление. Кстати, сам Грибанов был однажды в «Ку-Ку» с кинорежиссером Игорем Ельцовым, так как он, кажется, «консультировал» фильм о работе советской разведки, который Ельцов снимал в Таллине. (Кстати, Ельцов, несколько лет назад, приехав в Лондон в качестве туриста, тоже стал невозвращенцем).

Я представил Юлю Куна Дежанам на ужине в ресторане «Прага». Это было мое приглашение. Присутствовала и Надя Чередниченко. Мы провели целый вечер в отдельном кабинете и я, по указанию КГБ, опять же ввернул в разговор фразу о том, что Лора Кронберг-Соболевская все еще находится где-то на съемках и до сих пор в Москву не вернулась, а также заметил о ее муже, геологе, человеке грубом и ревнивом. Ни Кун, ни Надя, ни Мари-Клер не обратили особого внимания на эту фразу. Морис же, к которому она была адресована, как и в прошлый раз, остался совершенно спокоен.

Я мог предполагать, что у Грибанова на «данном отрезке» отношения с Дежаном не клеились так, как он этого хотел бы, и генерал решил снова припугнуть посла.

Вслед за тем в Управлении по производству художественных фильмов, но не в центральном зале, а в зале «Экспорт-фильма», был устроен просмотр картины «Капитан первого ранга». Разумеется, это было сделано по звонку Грибанова.

И хотя произведение это было на редкость убогим и примитивным, Мари-Клер и Морис, с присущим им тактом, хвалили нас, авторов фильма.

На просмотре Миши Орлова не было, но приехала, по приказу свыше, Лида Хованская. Кунавин сказал, что надо снова пустить ее в ход, ибо Дежан не любит «одинокчества». С того времени Морис начал опять навещать обыкновенную советскую женщину, Лиду Хованскую. Чуть позже выяснилось, что он этим не ограничивается. Случайно я попал в ресторан «Южный» на Калужском шоссе и вдруг увидел Мориса за столом с молоденькой, очень миловидной женщиной, явно нерусского типа.

Между прочим, ресторан «Южный» Дежану открыл я. Вернее, КГБ. Это весьма забавный эпизод и я упустил его из виду.

Во время отсутствия Мари-Клер и моего постепенного сближения с Морисом, по плану Грибанова, я пригласил посла в ресторан «Южный», объяснив по телефону, как его найти. Кунавин решил, и вполне справедливо, что не стоит злоупотреблять ресторанами в центре Москвы, в которых постоянно торчат иностранцы, особенно инкоры, а «Южный» был все же на отлете, навряд ли сюда мог забрести кто-либо из Дип. корпуса или из представителей зарубежной прессы.

Были приглашены Чередниченко и Жорж Мдивани с женой. Но накануне Надю срочно вызвали в Киев на кинопробу. Мдивани же, как на зло, застрял где-то в Московской области на охоте и приехать во время не мог. Стол же был накрыт на пять персон.

И вот мне пришлось в единственном числе встретить французского посла и весь вечер провести с ним вдвоем. Это был, пожалуй, первый и последний случай, когда мы с ним были лицом к лицу, без посторонних.

Я пытался всячески развлекать Дежана, но без женщин он явно скучал, взгляд его блуждал по соседним столикам, за которыми сидели представители нежного пола. Может быть здесь я с очевидностью понял, что Морис был наделен малым человеческим дарованием. Он мог быть превосходным дипломатом, тонким, хитрым, проницательным, но он был ограничен как человек. Его не интересовали люди, не интересовали их мысли, он не был любопытен в этой области, не умел откры-

вать вокруг себя людей. Конечно, мы оба вели игру и он, вероятно, в определенной мере догадывался об этом. Но игра наша была плоской, бесталанной, без глубины, без остроты. Ведь он мог приближаться к **грани**, что, между прочим, иногда я делал в разговоре с ним, то есть чуть-чуть рисковал. Но посол не хватался за мой посыл, не способствовал продолжению. Он трусил. А скорее, он просто был по натуре «непроницаем» и немного напоминал мне советских руководящих товарищей. Как много от этого он потерял. Ведь и я бы отнесся к нему иначе, если бы почувствовал в нем человека, пусть со слабостями, но **человека**, а не обходительного, светского чиновника. Не было у Мориса широких мыслей. И если что-либо мне в нем imponировало, так это его явный и натуральный интерес к женщинам, пусть чувственный. Все же это была страсть, увлечение, все же в этом он был весь и тут он даже был способен потерять голову. И это его, как ни парадоксально это звучит, украло.

Юля Кун понравился Мари-Клер. Мужчина такого типа подходил ей, может быть, гораздо больше чем я. И хотя задача «покорения» Мари-Клер была отставлена, Кунавин, вероятно, по собственной инициативе и по пословице — «маслом кашу не испортишь», решил все-таки довести дело до конца. Юля начал осторожно и тонко ухаживать за женой посла. Она ему тоже нравилась. Он любил таких женщин. Первое время я способствовал их сближению. Мы устроили раза два небольшие приемы в доме у Кунов. Познакомили, разумеется, Дежанов с матерью Куна. Они побывали в мастерской Юлии Альбертовны. Им понравились ее скульптурные работы, особенно миниатюрные барельефы из слоновой кости и янтаря. В доме у Кунов мы жарили шашлыки, танцевали и пр. В нашей компании бывали опять и Чередниченко, и Хованская, и Мдивани.

Вскоре Юлия Альбертовна начала лепить бюст Мари-Клер. Это делалось по указанию КГБ. Машенька часто приезжала на сеансы и в эти часы посол был, естественно, один, что и было необходимо Грибанову. Если я не ошибаюсь, за бюст Мари-Клер Юлия Альбертовна получила от КГБ 5 тысяч рублей в старом исчислении. Но с бюстом этим получился конфуз: он не понравился Мари-Клер, она выглядела в глине, да и в гипсе, слишком старой. И Мари-Клер бюст в виде по-

дарка Кун не взяла. Тогда Юлия Альбертовна начала делать другой бюст с нее.

Мари-Клер привозила с собой в мастерскую Юлии Альбертовны знакомых иностранок, популяризируя Кун. Как-то она приехала с Лемперт, женой американского корреспондента, с которой она дружила еще в Японии. Потом она позвонила Юлии Альбертовне и сказала, что приедет с женой посла США Томпсона. Кунавин немедленно приказал мне отправиться к Кунам и непременно познакомиться с ней. Позже я узнал, что и за женой американского посла шла охота. Но случилось так, что мадам Томпсон не приехала.

Однажды Машенька появилась у Кунов в компании Маргарет Монбрант-Голуа. Как сейчас вижу эту остроумную, веселую женщину, полуангличанку-полуфранцуженку. Тогда она была женой известного скрипача, на концерте которого в Доме Советской Армии мы были вместе с Дежанами, Жерарами и другими представителями посольства. Мы — то есть «советские друзья», я, Юля, кажется, Надя Чередниченко и т.д. В дальнейшем, по рассказам Мари-Клер, Маргарет разошлась с мужем-скрипачем и вышла за одного из директоров Парижской Оперы.

Был обед у Кунов. Мари-Клер и Маргарет, высокая, чуть рыжеватая, кокетливая, эти две женщины могли представить интерес и не для таких мужчин, как я и Юля. Они отличались обаянием, легкой фриivolностью в разговорах. Им нельзя было отказать в женской эрудиции и в оригинальности суждений. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю. Тем не менее, после подобных встреч, мне становилось не по себе, мне казалось, что что-то существенное и неуловимое атрофируется в моей душе, что я живу тремя или четырьмя внутренними приспособлениями, когда их на свете десять, а может быть и сто. Мари-Клер одна наводила на меня такие мысли. А тут еще Маргарет...

Затем произошла следующая курьезная история.

Я пригласил Дежанов к Наде Чередниченко. Это уже во второй раз. Они охотно согласились. Началась подготовка к ужину: поездка в ресторан «Арагви» за цыплятами «Табака», доставка свежих огурцов с базы КГБ, приготовление маленьких подарков и т.д. Наде хотелось блеснуть. Она позвала, с ведома КГБ, акомпаниаторшу и спела нам свои концертные

вещи. Дело в том что, будучи киноактрисой, она одновременно занималась пением и даже преуспевала в этой области. Надя мечтала, что Дежаны помогут ей устроить концерт для дипломатического корпуса.

На этом ужине были Мдивани, Хованская и Юлия Кун. В то время я с Надей перешел уже на «ты» и в присутствии Мориса и Мари-Клер, на всякий случай, а этот случай вскоре представился, мы разыгрывали «роман».

С ведома КГБ, разумеется, создав несколько торжественную обстановку, за ужином я пригласил Дежанов поехать на несколько дней в мой родной город Тбилиси. Они знали, что я родом из Грузии, что у меня там осталось много друзей и я мог показать им интересные места.

Морис и Машенька пошептались и сразу же согласились. Через дня два они подтвердили это телефонным звонком. Мари-Клер сказала, что они уже получили разрешение МИД'а СССР на выезд из Москвы в Грузию, и что уже заказаны билеты на самолет.

И тут случилось то, что предвидеть было очень трудно. Грибанов неожиданно скомандовал отставить это путешествие. Почему? Потому что, видите ли, оно требовало больших денежных затрат. А что же он раньше думал? Но факт оставался фактом: надо было бить отбой. Но как? Ведь я пригласил французов, значит я должен был лететь в Тбилиси раньше них, чтобы встретить их там или хотя бы лететь вместе с ними.

Мы с Кунавиным ломали голову: что бы такое придумать? Леонид Петрович также был возмущен поведением «маленького Наполеона», но сказать об этом открыто, конечно, не решился. Ломал голову вместе с нами и Мелкумов. Под каким предлогом отменить приглашение? Нужен же предлог, нужно что-то сказать, объяснить, если не послу, то хотя бы Мари-Клер.

И тут я подумал о Наде Чередниченко, о моем с ней «романе». До того я намекал в разговорах с Мари-Клер, что мои отношения с Надей приняли очень запутанный характер. Это в определенной мере оправдывало все наши ужины и дружбу с французами, мол, я ее этим приманиваю к себе, так как это доставляет ей удовольствие. Я предложил Мелкумову и Кунавину разыграть бурную романтическую драму. На стене в спальне Нади продолжал висеть портрет ее последнего мужа,

Петя Тодоровского. Это заметили и Морис и Мари-Клер. Я как-то сказал им, что они разошлись, но что Петя все же надеется, что Надя к нему вернется.

Так вот... я позвонил Мари-Клер в посольство и трагическим голосом заявил, что не могу лететь в Тбилиси, потому что немедленно улетаю в Одессу, так как Надя неожиданно выехала туда к Пете Тодоровскому. Я дал понять Машеньке, что моя поездка в Одессу будет решающей и что от нее зависит моя судьба, в том смысле, что либо я женюсь на Чередниченко, либо будет разрыв. (Ах, Мари-Клер, сколько вздорных фарсов было разыграно перед вами в течение восьми лет вашего пребывания в СССР!) Машенька была огорошена моим сообщением. Но что ей оставалось делать? Она выразила сожаление по поводу того, что я не разделю их компании в Грузии и... посол с женой отправились в Тбилиси, по моему «приглашению», без меня. Я же и Надя, конечно, сидели в Москве.

В дальнейшем нам с Надей уже приходилось разыгрывать почти официально роли жениха и невесты или по крайней мере любовников. По этому поводу Мелкумов, Кунавин и я имели специальную беседу с Чередниченко. Мы не могли объяснить ей всю ситуацию, но Мелкумов сказал, что в интересах КГБ, чтобы Надя играла в данное время такую роль. И добрая, наивная Мари-Клер ждала, что мы с Надей вот-вот поженимся...

Кстати, весьма характерная деталь. В беседе с Мелкумовым и Кунавиным Надя заявила, что она рассчитывает на помощь КГБ: мол, услуга за услугу. Она хотела, чтобы КГБ помог ей, во-первых, вне очереди купить «Волгу», и во-вторых, чтобы КГБ посодействовал ей в получении роли в одном из кинофильмов, запускающемся в производство на Украине. Мелкумов, которому Надя явно приглянулась, обещал сделать все возможное. И действительно из Москвы позвонили в КГБ Украины, там же начальник КГБ позвонил зам. министра культуры Украины Чабаненко, а тот телеграммой вызвал Чередниченко в Киев. На студию имени Довженко была передана директива Чабаненко и Надя получила несколько проб.

Было много разных встреч и приемов. На дворе стояла редкая погода: знаменитая Хрущевская оттепель. Мосты строились с бурной поспешностью. Запад судорожно схватился за

брошенную ему соломинку — «мирное сосуществование», как в свое время он схватился за «Мюнхен».

Да, было много встреч и приемов. Вот некоторые из них: приемы по случаю приезда к Москву французских театров Гранд-Опера, Комеди-Франсез, театра Жана Виллара, приемы по случаю фестиваля французских кинофильмов, приемы по случаю демонстрации в посольстве моделей Парижского Дома Диор...

Мы, «русские друзья» Дежанов всегда на приемах, на фестивалях, на выставках, в театрах, в опере, повсюду сидели в первых рядах. Это вызывало удивление у простых смертных. На кинофестивалях, например, в залах театров, мы с Надей Чередниченко сидели на специально отведенных гостевых местах, рядом с Верой Ивановной «Горбуновой» и Мариной Книппер, в то время, как весьма популярные советские кинорежиссеры, сценаристы и операторы были где-то позади нас. В Большом театре, в Малом и в других мы сидели почти рядом с Дежанами. Нас водили за кулисы, знакомили с актерами, балеринами, музыкантами и т.д. На выставке «Франция» в парке культуры и отдыха Сокольники меня и Куна энергично снимали на пленку французские кинохроникеры, разумеется, когда мы были рядом с Мари-Клер, которая, как «хозяйка», естественно, показывала нам павильоны этой выставки.

Мои советские коллеги и знакомые иногда спрашивали меня почему я получаю приглашения на приемы во французское посольство через Союз Работников Кино, членом которого я состоял. Я объяснял им, что в связи с работой над экранизацией «Дубровского» у меня наладились «дружеские» отношения с французами, акцентируя на Марселе Жераре, так как его многие знали, как советника по культурным вопросам. Правда, со сценарием «Дубровский» вскоре все лопнуло, как мыльный пузырь. Я так и не знаю истинную причину. Из-за этого была отменена и моя поездка в Париж, хотя Жерар и сам Морис как-то даже поздравили меня, ибо в их посольстве уже было получено разрешение на визу.

Многие киноработники смотрели на меня, Куна и Надю Чередниченко весьма подозрительно. Помню, на одном из приемов у французов, я танцевал с Машенькой. Рядом с нами оказался известный советский кинорежиссер Юля Райзман. Он танцевал со своей женой, Сюзанной. Легко и непринужденно,

так сказать, я предложил обмен дамами. Потом Райзман, шутя ли, всерьез ли, но спросил меня:

— Вы что живете с мадам Дежан?

Конечно, такому опытному человеку, как Райзман, все было ясно. Или вот другой пример. Не менее известный и талантливый кинорежиссер, Сергей Иосифович Юткевич, с которым я часто встречался в Доме творчества Союза Работников Кино в Болшево, однажды, за столом, хитро улыбнувшись, сказал:

— А что отбил Юля Кун у вас мадам Дежан, а?

Конечно, в условиях, в которых советский человек *нормально* не имеет права видаться, знакомиться, дружить с иностранцем, всякий, кто это делает как *нормальный*, вызывает у остальных *нормальных* — *ненормальное* подозрение.

Юля Кун убеждал меня, что Юткевич имеет секретное звание «полковника КГБ» и что работает на очень высоком уровне, пользуясь доверием ЦК КПСС и одновременно будучи близким другом художника Пикассо и других западных светил. Я сомневаюсь в полковничьем звании Юткевича, но думаю, что отдельные специальные поручения в высших сферах он может выполнять. Ходили слухи, что его жена, Елена Ильющенко, в прошлом балерина Большого театра, также была в связи с «органами» и «контролировала» своих подруг во время гастролей Большого в кап. странах.

Когда я говорил Кунавину о том, что обо мне идет «дурная слава», он отмахивался и советовал «плевать» на сплетников.

В Большом театре во время представлений балета Гранд Опера произошел следующий инцидент. Мы «русские друзья», получили от Дежанов несколько пригласительных билетов в разных местах. Надя Чередниченко и Лида Хованская сидели в партере. А мы с Алой Голубовой оказались в ложе бель-этажа. (Ала тогда еще не исчезла окончательно с горизонта). Но в той же ложе, по случайному стечению обстоятельств, сидел и молодой француз по имени Ален, который был знаком с Алой. Кунавин рассказывал мне, что он с Голубовой «подцепили» его недавно и пытались «обработать» соответствующим образом. Я знал, что Ален приехал в Москву, чтобы собрать материалы для своей диссертации, кажется, о поэте Андрее Белом, которую собирался защищать в Сорбонне. Попытка Кунавина «схватить» французского «за ножку» ничего не дала.

Ала быстро шепнула мне на ухо, что Ален пристально смотрит на нее. В антракте он сразу подошел к ней и стал упрекать за то, что она куда-то исчезла, стал уговаривать ее повидаться с ним. Я постарался отойти в сторону, чтобы не быть замеченным. Меня беспокоило то, что Ален, имевший связи с посольством, узнает, что мы сидим в этой ложе по билетам, полученным от Дежанова, а в этой ложе были одни французы. Ален показался мне лично парнем ловким и неглупым, а потому и опасным. Кое-как отбившись от Алена, Ала вместе со мной сошла в фойе и мы из оперы тотчас же уехали.

Сближение между Куном и Мари-Клер продолжалось. Раз или два мы выезжали вместе за город, куда-то по Дмитровскому шоссе. Располагались в лесу, жарили шашлыки, гуляли, фотографировались и т.д. (Все пленки проявлялись в лаборатории КГБ, а снимки потом преподносились Мари-Клер). Я имею в виду две пары: Куна с Машенькой и себя с Надей. Причем мы с Надей ехали уже на ее «Волге».

Но дальше наступил знаменательный момент, когда все «русские друзья», все без исключения, перестали видаться с Дежанами и посещать французское посольство. Это очень *важный* факт. По существу это был *карантин*. И он без особого удивления был принят послом и его женой. Значит ли это, что они тоже считали его необходимым? Дело в том, что поступили сведения (откуда?), что в Париже забили тревогу по поводу поведения посла. До Парижа дошли слухи, что его навещают какие-то подозрительные русские. Грибанов мог узнать об этом либо от самого Дежана, либо через 1-ое Главное управление и его французскую агентуру. Словом, надо было немедленно прекратить связи, так как из Парижа в любую минуту могла нагрянуть какая-либо комиссия для проверки. Вера Ивановна сказала мне, что КГБ подозревает, что слухи эти довел до сведения французской секретной службы старенький швейцар, который обычно встречал нас в вестибюле посольства, принимал нашу одежду и провожал на второй этаж. По данным КГБ, этот француз прежде работал в полиции. Он безусловно лучше всех знал: кто и когда посещает посла и его жену. Этот швейцар всегда улыбался, был радушен, вежлив, но кто знает, что он думал о нас на самом деле и какие функции выполнял.

Однако по прошествии месяца или двух паника постепенно

улеглась и все стало на свое место. Мы снова начали ездить в посольство, всякими выдуманными причинами объясняя Морису и Мари-Клер наше отсутствие в течение минувшего времени. И это их не очень удивляло. Я подчеркиваю это. А швейцар был на том же месте, что и прежде.

Кто же все-таки подал Грибанову сигнал тревоги? Да не сам ли Морис? Неужели он, узнав об этом первым, сказал Грибанову? Но для этого было необходимо, чтобы между ними были очень «короткие» отношения. Впрочем, он мог сказать о слухах полушутя-полусерьезно, в форме намека. А если это не Дежан, то кто же другой информировал генерала? Были ли иные каналы?

Были. Прежде всего вся прислуга в посольстве, за некоторым исключением, советская, работала по линии УИДК, то есть подчинялась КГБ, в том числе и старая женщина, приближенная к Мари-Клер. Об этом мне говорил Кунавин. Затем микрофоны в стенах посольства. По словам того же Кунавина, они работали безотказно. Дальше, Кунавин «обрабатывал» с помощью ласточек нескольких французских шифровальщиков. Я не знаю чего он достиг, но с одним из них, например, была близка Рита Прокофьева (Зоя). Она мне рассказывала, что он оказался очень милым парнем и она в него даже влюбилась, но он, будучи женат и с детьми, в решительную минуту «отступил». Делалась ставка и на шифровальщицу Франсуазу де Дампер. В этой операции и я принимал участие, но об этом — позже. Наконец, был у Грибанова какой-то таинственный *Алексей*. Он жил во Франции, но был русским. Приезжал, то ли легально, то ли не легально, в Москву и часто встречался с Олегом Михайловичем на агентурной квартире по улице Неждановой. Вера Ивановна как-то в беседе упомянула об этом Алексее очень почтительно и сказала, что он постоянно убеждает Грибанова в том, что СССР должен опасаться удара с Востока, а не с Запада. Тогда уже начали обостряться китайско-советские отношения. Но я думаю, что Алексей приезжал в Москву не только для того, чтобы убеждать в этом Грибанова. Вероятно, он привозил из Парижа что-то более существенное. Но, увы, мои сведения об Алексее этим и исчерпываются. Я лично полагаю, что Алексей был — важным каналом. Правда, все подобного рода источники находятся в ведении 1-го Главного управления КГБ, которое занимается разведкой за рубе-

жом, но практически между 1-м Главным и 2-м Главным управлениями нет такой уже четко разграничивающей линии, интересы дела требуют более комплексной и координированной работы.

Несколько слов о демонстрациях советских тружеников у зданий иностранных посольств, в частности, у здания французского посольства.

Я уже не могу припомнить что именно не понравилось Никите Хрущеву в действиях генерала де Голля, но это случилось зимой: москвичи, «трудящиеся города и села», подошли хорошо организованными колоннами с лозунгами и плакатами к красному, кирпичному зданию на Якиманке. Они размахивали кулаками, выкрикивали угрозы, потом даже выбили стекла в окнах первого этажа.

Мне сразу позвонила Вера Ивановна. Назначила встречу. Кажется она состоялась на агентурной квартире на Арбате. Вера Ивановна рассказала мне о демонстрации, так как я еще ничего не знал. Она попросила меня завтра же утром позвонить Машеньке, повидаться с ней и «сгладить» возмущение, которое естественно возникло у французов.

Я спросил Веру Ивановну:

— А что это произошло стихийно?

Я невольно улыбнулся, задавая этот вопрос. Она, так же улыбаясь, ответила:

— Такие акции могут происходить только по команде Олега Михайловича. Вернее, по звонку из ЦК. Так надо было. Но мы не хотим, чтобы это повлияло на *наши* дела... понимаете?

На следующий день я позвонил Мари-Клер, выразил ей свое сочувствие, потом повидался с ней и даже «посмел» сказать, что я не разделяю мнения московских тружеников и считаю демонстрацию варварством. Мари-Клер показала мне разбитые окна...

История «Операции Морис» будет описана недостаточно полно, если я не упомяну еще известного в СССР художника Илью Глазунова, хотя он и не был членом моей «банды», и занимал особое и весьма странное место в дислокации генерала Грибанова, а может быть и вносил в нее элемент хаоса.

Тут выступают явно противоречивые факты. Илья Глазунов — с одной стороны безусловно талантливый и своеоб-

разный мастер. Больше того, те круги в Москве, которые ищут нового и протестуют против осточертевшего «социалистического реализма», пытались одно время выставить Глазунова своим лидером или что-то в этом роде, во всяком случае, он определенно был в «якобинцах». ●фициальная пресса его постоянно ругала, часто смешивая с абстракционистами и ирреалистами, хотя он к ним не имел никакого отношения. Его не приняли в Союз Советских художников. С другой стороны Илья Глазунов имел специальную студию при УИДК, в которой давал уроки рисования иностранным дипломатам, главным образом — их женам. И тут очень трудно сомневаться в том, что у него не было «контакта» с КГБ. Но я не исключаю, что это был особого рода «контакт», который в известной мере давал художнику свободу и независимость. Замечу, что Вера Ивановна часто поругивала Глазунова и это как раз и было подозрительно — мне казалось, что она «темнит», то есть пытается закамуфлировать Глазунова, нужного КГБ, быть может, для общего антуража, как непременный аксессуар периода «мирного сосуществования», как модный и спорный художник, как личность близкая и понятная западным людям, особенно французам. А Кун, который хорошо знал Глазунова, говорил, что он и его жена просто-напросто кооптированные работники КГБ.

Меня смутил следующий факт: на одном из пленумов Союза Работников Кино не кто иной, как Сергей Михалков, выступая перед аудиторией, взял Илью Глазунова под защиту, так как того в то время «клевали» в газетах. Я слышал выступление Михалкова своими ушами. Этот тип был мне хорошо известен и я понял, что он отважился на такой «смелый» поступок только потому, что об этом его попросил Грибанов. Впрочем, Михалков защищал Глазунова с оглядкой, так чтобы оставить себе пути к отступлению, если таковое понадобится.

Мари-Клер как-то сказала мне, что советское правительство боится выпускать Глазунова за рубеж, чтобы с ним не случилось того, что случилось с танцором Рудольфом Нуревым. Я видел у Мари-Клер портрет, который сделал с нее Глазунов. Это была карандашная стилизация под русскую икону. Но Машенька ошиблась. Позже Глазунов выехал в Италию. И опять же — небольшая загадка: как он мог пройти все формальности, не будучи членом творческого союза? Думаю,

что без *особой* рекомендации дело не обошлось. Выездная комиссия ЦК КПСС слишком солидное учреждение, чтобы его проскочить фуксом. На Западе я читал, что Глазунов, был и во Франции и сделал там портреты: Мишеля Дебре, Жискара д'Эстена, Эдгара Фора, госпожи Фрей и госпожи Помпиду. Кажется все — весьма высокопоставленные личности.

В общем, я никогда не питал симпатии к Илье Глазунову, просто потому, что он внешне показался мне слишком приятным: гладко причесанный, смазливый, с бантиком вместо галстука, элегантно одетый... я встречал его почти на каждом приеме у французов, но мы с ним не были знакомы. Тем не менее, я не могу утверждать, как Юля Кун, что он был одним из «наших». Не могу утверждать так как этого я не знаю, не знаю была ли у него к.н. конкретная, определенная функция во французском посольстве?

Итак, я приближаюсь к концу описания «Операции Морис».

По решению КГБ я начал постепенно отходить от Мари-Клер, оставляя ее, так сказать, на попечении Юли Куна. Я стал реже бывать в посольстве, очень часто получая приглашения, но не используя их. Кун извинялся за меня и объяснял мое отсутствие творческой загруженностью.

Что же касается «успехов» Куна, то мне на этот счет известно немного. Знаю, что он продолжал видаться с Машенькой, но как будто бы ничего существенного не достиг.

Последний раз я был во французском посольстве на ужине, после моего возвращения из Японии в ноябре 1962 года. С нами были Кун и учительница русского языка из УПДК, Беатриса. Тоже ласточка, но о ней я ничего конкретно не знаю.

За столом Мари-Клер назвала меня «самым близким русским другом» и как-то странно намекнула на то, что я *очень* информированный человек. И я тогда подумал: уже не подозревает ли она меня в том, в чем ей давно было пора меня подозревать. Морис, как всегда, был ровен и невозмутим. Даже когда упоминалось имя Ларисы Кронберг-Соболевской, которая уже навечно исчезла с горизонта посла. Я рассказывал о своих впечатлениях после короткого путешествия в Японию. Морис и Мари-Клер вспоминали Японию с нежным чувством. Мы даже вместе спели песню «Сакура». Именно тогда Мари-Клер пригласила меня и Куна поехать во Францию. Но ее приглашением мы не воспользовались, так как были *социали-*

стическими пленниками и сами не могли решать куда нам ехать.

Завершая эту главу, я хотел бы упомянуть еще о нескольких фактах, не уместившихся в хронологическом повествовании, часть из которых, может быть, и не имеет прямого отношения к «Операции Морис», но тем не менее, по-моему, заслуживает внимания читателя.

Прежде всего на память мне приходит французская выставка в парке культуры и отдыха «Сокольники». На открытии этой выставки, будучи в числе почетных гостей, я слышал две речи. Одну произнес Морис Дежан. Другую Георгий Полянский, заместитель председателя Совета Министров СССР, ныне член Политбюро ЦК КПСС. Дежан говорил по-русски безо всякой шпаргалки, он говорил превосходно, и текст его речи был и оригинален и остроумен. Что же касается Полянского, то этот типичный представитель партийно-государственного аппарата, из молодых, из «технократов», конечно же, читал заранее утвержденный текст, составленный в лучших традициях сталинских времен, читал дубово, делая неверные ударения, спотыкаясь и т.д. Слушая Полянского, я думал, что будущее моей страны безнадежно. На смену старым приходят равнозначные молодые. Смена поколений мало что меняет...

Курьезная история произошла на приеме по случаю дня Бастилии в 1961 году. Это было месяца за два до открытия вышеупомянутой выставки в «Сокольниках». Дежаны решили пригласить на прием и тех, кто строил павильоны, французов и русских, — короче, рабочий класс. Во дворе посольства были воздвигнуты огромные шатры. Народу собралось очень много. И вот французские труженики, проявив свою национальную склонность к свободе и демократии, просто-напросто оккупировали центральный шатер, выпили все шампанское, охмелели и начали хором петь «Марсельезу».

Французы есть французы. Дипломаты пили фруктовые соки и минеральную воду, а труженики вылакали шампанское. Французские рабочие угощали своих советских коллег и, обнимаясь, понуждали их тоже петь «Марсельезу». Наши старались воздерживаться. Ведь они все были «профильтрованные».

На этом приеме Мари-Клер подходила к министру культуры СССР Екатерине Фурцевой с Куном, взяв последнего, неприужденно, под руку — это, разумеется, подняло шансы Куна

в лице министра. Впрочем, может быть, она и знала о «втором лице» Куна.

А теперь о Франсуазе де Дампер.

Вера Ивановна, по поручению Олега Михайловича, предложила мне заняться французской шифровальщицей. Речь шла о де Дампер. Эта молодая женщина жила одна в изолированной квартире на Воробьевых горах. (Это новый район города). Ездил она в посольство либо на служебной машине, либо на автобусе. Обедала всегда дома. Андреева сказала мне, что в Москве есть человек, по фамилии Петров, который познакомился с ней работая в Париже. Человек этот был связан с КГБ и, вернувшись в Москву, начал работать во Всесоюзном Радиокомитете. В дальнейшем, по приказу КГБ, Петров уже в Москве несколько раз встречался с де Дампер. Вера Ивановна намекнула мне на то, что между ними была близость.

Однако, увидав этого Петрова, я в этом усомнился. Мы встретились в одном из переулков на Сретенке. Мы с Верой Ивановной сидели в моей «Волге». Петров подошел к машине и сел сзади. На мой взгляд это был весьма вялый, как мой покойный отец говорил, «вареный» тип с печатью службиста на лице. Посоветовавшись, мы решили, что Петров должен «передать» Франсуазу мне и вот таким образом: предполагалось, что он позвонит француженке домой и пригласит ее куда-либо в ресторан, где случайно окажусь и я. По басне, мы с Петровым были старыми и закадычными друзьями, вместе работавшими на радио или что-то в этом роде.

Петров несколько раз звонил по телефону Франсуазе, но ничего из этого не выходило: то она не снимала трубку, то она была занята, то она не соглашалась на встречу. Складывалось впечатление, что она избегала Петрова. Когда это было окончательно установлено, Петров был отставлен. Появился другой, весьма замысловатый вариант.

Оказалось, что де Дампер изучала в Москве русский язык, а преподавателем у нее была пожилая женщина, как и все другие, конечно, связанная с КГБ. Но эта женщина через несколько месяцев уехала в Прагу на постоянную службу в какой-то журнал, я уже не помню название.

В КГБ придумали следующую историю: в юности я учился в школе, где работала эта женщина, и с тех пор, как «любимый ученик», я поддерживал с ней дружеские отношения. Недавно я

«был» в Праге по своим кинематографическим делам и, конечно, с радостью повидал там старую, дорогую учительницу. Она же попросила меня, по возвращении в Москву, передать письмо Франсуазе де Дампер, предварительно позвонив ей по телефону. Номер телефона француженки у нее был.

Сказано-сделано. Как в книге «Тысяча и одна ночь».

Женщина эта, учительница, которую я никогда не видал, но фотографию которой мне показала Вера Ивановна, находясь в Праге, написала соответствующее письмо и Андреева передала его мне. На все это ушло не больше недели.

И вот я позвонил по телефону. Ответила де Дампер. Она говорила по-английски. Я сказал ей, что привез письмо из Праги от ее бывшей учительницы. По тому, как Франсуаза реагировала, я понял, что она действительно любила свою учительницу. Но когда я предложил ей встретиться, чтобы передать письмо, она, как мне показалось, насторожилась и попросила позвонить ей на следующий день, чтобы условиться о времени и месте свидания.

Вера Ивановна по этому поводу сказала:

— Ах черт, будет докладывать своему резиденту...

На следующий день де Дампер дома не было или она к телефону не подходила. Мои попытки дозвониться были бесплодны. То же повторилось еще через день. А затем, когда я все же застал ее по телефону, вернее, когда она решила снять трубку, состоялся разговор, содержание которого сводилось к тому, что де Дампер не может со мной повидаться, так как неожиданно и срочно улетает за границу. Она просила переслать письмо по ее адресу почтой.

Вера Ивановна, узнав об этом, вспыхнула и воскликнула:

— Вот дрянь! Никуда она не улетает. Всё брех. Просто резидент, наверное, запретил ей встречу с вами...

На этом операция кончилась. Как бы оправдываясь, Вера Ивановна заметила, что кроме всего прочего, возможно, сказалось и то, что Франсуаза, по сведениям КГБ, увлеклась каким-то американским корреспондентом в Москве и чуть ли не собирается выйти за него замуж.

На последнем приеме в честь дня Бастилии, Андреева-Горбунова показала мне краем глаза Франсуазу де Дампер. Это была миниатюрная француженка в очках, с виду очень милая, хотя ее и нельзя было назвать красивой. Не знаю, то ли ради

какого-то спортивного интереса, то ли по какой-то другой причине, но я сказал Лиде Хованской, что надо непременно познакомиться с этой молодой женщиной и просил ее помочь мне. А Лида была в этих делах смелой и изобретательной. Мы стали вместе охотиться за де Дампер. (Ничего себе ситуация: охота КГБ за шифровальщицей на территории иностранного посольства!)

Тем не менее мы потерпели поражение. Франсуаза стояла в группе американцев, мужчин и женщин, она несколько раз отходила в сторону, но тут же вступала в разговор с другими гостями. Лида подошла к ней и попросила прикурить. Сразу же появился элегантный янки с шикарной зажигалкой, было произнесено н сколько любезных фраз, но ничего больше. Не клевало...

Бывает. Очень часто бывает, что и не клюет.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел и мог рассказать об «Операции Морис». Прошу учесть, читатель, что я пользовался только тем, что сохранилось в моей памяти. У меня нет под руками архивов КГБ, рапортов, приказов и так далее. А ведь операция эта продолжалась все же шесть или семь лет. Я пытался дать лишь каркас...

Спрашивается: могло ли все это случиться, если бы на месте Дежана был бы другой человек? Я отвечаю так: и да и нет. Страху подвержен каждый, поэтому с каждым можно производить подобные эксперименты, но без твердой уверенности в успехе. Разве кто-либо мешал Морису после сцены у Лоры вернуться в посольство, немедленно собрать чемоданы и на утро улететь в Париж и рассказать все своему президенту? Конечно, это отразилось бы на его карьере, но зато осталось бы главное: чистая совесть, честь и покой.

Но страдал ли Дежан? Переживал ли он тяжело эту историю? А может быть она просто забавляла его? Ну, разумеется, ему было неприятно вспоминать о пинках Миши и Кунавина. А дальше? Пинки ведь тоже забываются. А дальше? Не началась ли потом обычная для посла жизнь — игра, только в несколько новых обстоятельствах, жизнь-игра, требовавшая и обмана, и дипломатических уверток, и хитростей, и притворства, да и риска?

Торговля с Грибановым? Но кто может заявить, что Дежан действительно стал на путь предателя? Нет, я этого сделать

не могу. И вот тому самое убедительное доказательство. Я припас его к концу:

Однажды на приеме в посольстве я сказал Мари-Клер о том, что Лора Кронберг-Соболевская вышла замуж за кинорежиссера Файнцимера. Мари-Клер приняла это известие достаточно равнодушно. Но когда об этом, читая мой рапорт, узнала Вера Ивановна, она вдруг серьезно забеспокоилась: как же так, ведь Лора кричала: «Муж! Муж!», и Морис знал, что у Лоры муж геолог, страшный ревнивец, а тут нате вам — муж кинорежиссер. Вера Ивановна не могла откровенно объяснить своих опасений, ибо она же не знала, что я знал *что* произошло в квартире на Ананьевском. Но спустя немного Андреева успокоилась, сообразив, что Лора за минувшие годы могла разойтись с Мишей и выйти за другого.

Волнение Веры Ивановны достоверно доказывает, что генерал Грибанов не открыл Морису все карты, не сказал ему, что он не Горбунов, а генерал КГБ, и что «нечего валять дурака». Волнение Веры Ивановны свидетельствует о том, что до самого последнего дня игра шла в темную. Иначе Вера Ивановна не боялась бы накладок. Значит Морис до конца не знал, хотя и мог догадываться, какую шутку с ним сыграли.

Но значит ли это, что с Морисом Дежаном, в общем, ничего страшного в Москве не произошло? Значит ли, что он не был в зависимости от КГБ и не оказывал «Горбунову» какие-то услуги? Значит ли это, что в московском дипкорпусе Дежана зря называли «красным»?

Нет, не значит. И вот тому убедительное доказательство. Я и это припас к концу:

Когда произошел громкий скандал с признанием СССР Алжирского правительства Бен Беллы, в результате которого Морис был отозван в Париж, а советский посол во Франции, любимец де Голля, Виноградов, перешел на положение иностранного туриста, чтобы остаться все же в Париже, Вера Ивановна сказала мне как-то:

— Какая глупость! С таким трудом в течение долгого времени мы добивались, чтоб Дежан начал помогать нам, а теперь все летит в тартарары. И все из-за сумасбродства одного человека!

Имелся в виду Никита Хрущев, который вдруг послал роковую телеграмму с признанием Бен Беллы, что и привело

Францию и СССР почти к разрыву дипломатических отношений. Эта реплика врезалась мне в память еще и вот почему: тогда председателем Комитета Государственной Безопасности был уже Александр Шелепин. Вера Ивановна отзывалась о нем с восторгом. А Шелепина в КГБ посадил Хрушев и считалось, что он вообще его протеже. И нате вам пожалуйста, такая непочтительность по адресу главного босса. Конечно же слова произнесенные Андреевой были произнесены до того Грибачевым, а до того — Шелепиным. В этом сомневаться не приходится. Вспоминая это, я вспоминаю невольно еще одно изречение Шелепина, сделанное в узком кругу друзей: «А зря Никита все же старика боднул...» (Под стариком подразумевался Сталин).

На Западе один человек, познакомившись с содержанием «Операции Морис», сказал мне:

— А знаете ли вы, что своим переходом на Запад вы *спасли* Мориса Дежана?

Я посмотрел на него с удивлением, так как был уверен в обратном, то есть в том, что своим бегством я погубил его. Но подумав, я понял, что этот человек заглянул глубже. Ход его мысли был очень прост. После моего перехода на Запад, в сентябрь 1963 года, КГБ без труда должно было придти к мысли, что я не буду молчать и что французская секретная служба в конце концов узнает о том, что КГБ делало ставку на Дежана. И следовательно, всякие дальнейшие действия КГБ в этом направлении потеряют смысл.

Ю. Кротков

РАССКАЗ О РОДИТЕЛЯХ

Еще в студенческие годы меня все время преследовала мысль написать рассказ об отце. Это намерение возникло в 1947 г. после встречи с Иваном Павловичем Гавриловым, старым другом отца. Сын Ивана Павловича Володя был моим товарищем со школьных лет, и когда я узнал о том, что его отец освобожден из заключения, где он находился с 1937 г., я поехал повидать его в какую-то деревеньку в Московской области. Жить в Москве Ивану Павловичу было запрещено и он устроился на работу в совхозе.

Увидев меня, Иван Павлович обрадовался и разволновался. Оказалось, что он совсем случайно встретил моего отца на Колыме в 1939 г., хотя занесло их туда в разное время и разными потоками. Гаврилов был арестован в Сибири «за попытку покушения» на какого-то замнаркома, машина которого (в ней сидел и сам Гаврилов) попала в дорожную выбоину и повредила колесо. При этом никто из находившихся в машине не пострадал. Мой отец был арестован в Москве «за связь с троцкистами», а по существу в результате клеветнического доноса. Гаврилов был другом отца еще с 1923 г., когда они вместе были преподавателями в Военно-партийной школе в Закавказье. Здесь же в Тбилиси Гаврилов в 1925 г. приходил в гости к Медведеву, чтобы посмотреть на только что родившихся близнецов.

В Магадан Гаврилов был доставлен в 1939 г. Отсюда, вместе с большой партией заключенных, зимой, этапом Ивану Павловичу предстояло пройти несколько сот километров до Нижнего Сеймчана, расположенного у Полярного круга. В Нижнем Сеймчане были медные рудники, которые все время требовали людских пополнений. Из-за морозов и болезней смертность среди заключенных рабочих на рудниках была очень велика, а медь была нужна стране. На зимнем перегоне, километрах в 200 от Магадана, колонна «пополнения» остановилась на обед. Здесь они встретились с другой встречной

Мы с удовольствием печатаем эти воспоминания Жореса Александровича Медведева. «Представлять» этого автора нашим читателям — излишне: Ж. А. Медведева знают. РЕД.

колонной «сактированных», больных и полуслепых от ксерофтальмии заключенных, которые шли с рудников в сборный лагерь под Магаданом. В этот лагерь стекались «сактированные» со всего Колымского полуострова, и после лечения направлялись в другие лагеря на более легкие работы. На вечерней раздаче пищи один из «сактированных», зрение которого, повидимому, сохранилось лучше чем у других, начал собирать свою группу, служа ей как бы поводырем. И вдруг Гаврилов услышал, что этот поводырь обращался к своим товарищам громким столь знакомым, красивым баритоном Александра Романовича Медведева, лучшего лектора по философии Военно-Политической академии. Кроме голоса ничто больше не говорило о том, что перед Иваном Павловичем был его старый друг.

Через несколько месяцев Иван Павлович тоже был «сактирован» и, через сборный лагерь под Магаданом, был направлен в Верхний Сеймчан в «легкий» лагерь сельскохозяйственного направления. Этот лагерь на Колыме назывался «совхозом». Здесь осенью 1940 г. Гаврилов опять случайно встретил моего отца. На «вечере художественной самодеятельности» отец вышел читать стихи Маяковского.

В 1948 г. всех, когда-то освобожденных из заключения людей, забирали снова и уже без суда, просто как «социально опасных», вновь отправляли в концентрационные лагеря. Эта мера касалась людей отсидевших по политическим обвинениям. Был вновь арестован и Иван Павлович Гаврилов. К 10 годам, уже проведенным в тюрьмах и лагерях, судьба добавила ему еще 6 лет «особлага». (В 1954 г. Гаврилов вышел на свободу, а в 1956 г. был полностью реабилитирован. В процессе реабилитации он встретился и с тем «замнаркома», который когда-то утверждал о совершенном на него «покушении». Теперь он, в 1956 г. — зам. министра в том же ведомстве, удостоверял, что никакого «покушения» не было. В 1957 г. И. П. получил квартиру в Москве. Сейчас ему за 70, но он работает партийным пропагандистом на заводе).

Желание написать какие-то воспоминания об отце не исчезло у меня и после нового ареста Гаврилова. Воспоминаний, собственно, было немного, когда я в последний раз видел отца, было мне 12 лет. И самым острым воспоминанием было последнее — арест отца у нас на квартире на Писцовой улице в Москве 23 августа 1938 г. Подробности этого ареста я описал

в небольшом рассказе летом 1950 г. Этот рассказ был с вымышленными именами и без подписи. Написанный мелким почерком он хранился в разных местах. В 1969 г. я расширил этот рассказ, назвав в нем и действительные имена. Поводом к этому было событие, о котором я скажу дальше. Сейчас в 1972 г. я вновь возвращаюсь к этой теме и следующий ниже текст является переработанным и дополненным рассказом трехлетней давности.

В 1950 г. я описал в основном сцену ареста, так как картина этого события очень часто была для меня кошмарным воспоминанием. Мне казалось, что, записав все на бумаге, я буду реже вспоминать о ней, не боясь уже, что время выветрит из памяти детали, которые я не хотел забывать. Но вот прошло 34 года после того летнего дня, когда сон нашей семьи был нарушен сильным стуком в дверь. Проснувшись от стука, необычного по громкости и настойчивости, я услышал как-то очень странно прозвучавший в передней голос отца. — Что ж вы так поздно, товарищи. — Затем послышался звук открываемой и захлопнувшейся двери, чужие голоса, и гости прошли в кабинет. Я же снова уснул. Когда я проснулся было уже светло, но очень рано. За стеной слышались разговоры, звуки передвижаемой мебели. Вдруг в дверях детской появился отец. На нем была гимнастерка, но почему-то без пояса и без столь привычного ромба в петлицах. Рой тоже проснулся и сидел в кровати с испуганным выражением лица. Неожиданно отец быстро подошел к нашим кроватям, обнял нас сразу вместе двумя руками, прижал с обеих сторон к колющему небритому лицу, и, не говоря ни слова, вдруг заплакал. Это было так страшно, что мы тоже заплакали, а мать, тоже вошедшая в комнату, громко зарыдала. Недалеко от двери я увидел военного с петлицами НКВД. Все мгновенно стало понятно. Отец поцеловал каждого из нас и вышел. Через несколько мгновений в передней снова хлопнула выходная дверь.

Мы долго сидели, не зная что делать. Мать плакала. Затем она достала из буфета бутылку вина, налила полный стакан и выпила. Потом долго сидела молча, не замечая ничего. Очнувшись минут через тридцать, она заговорила срывающимся голосом. — «Ваш отец ни в чем не виновен... это ошибка, это Чагин и Пручанский оклеветали его... и Васюков вместе с

ними... его должны отпустить, он скоро вернется... мы сейчас сразу пойдем в ЦК...»

Я помню, что этим же утром мать с горящими от отчаяния глазами, взяла нас за руки и почти побежала к автобусной остановке, чтобы ехать в центр города. Вскоре мы оказались у ворот Кремля, возле Спасской башни. Охрана нас не впустила, в окошке охранной будки матери сказали, что по таким вопросам нужно обращаться в Верховный Суд или в Прокуратуру. Затем мы оказались в вестибюле большого здания, где было множество людей, взволнованных не меньше нас. Дежурный в окошечке, когда дошла наша очередь, попросил мать написать заявление, в котором и изложить жалобу. Мать что-то долго писала, а потом попросила подписаться и нас с Роем.

С этого дня мы наверное раз десять были в этой приемной и в разных других. Мать писала в Прокуратуру, в НКВД, в Наркомат обороны, в Верховный Совет СССР. Всюду мы слышали один и тот же ответ... не беспокойтесь... в НКВД разберутся... невиновных не осуждают....

Спустя месяц к нам в квартиру опять пришла небольшая группа людей, вместе с военным в форме НКВД. Они сняли печать с кабинета отца и произвели тщательный обыск. Затем они увезли на машине все рукописи отца, тетради, записные книжки, картотеку, переписку. Всё, что было когда-либо написано отцом. Заодно взяли именные золотые часы, подарок наркома обороны, облигации государственных займов и ряд мелких ценных вещей, хранившихся в столе у отца.

Отец всегда много писал, но публиковал лишь очень немногое. Он был старшим преподавателем философии в Военно-политической академии имени Ленина и считался лучшим лектором. Он любил говорить своим друзьям и дома, что начнет публиковать свои работы и лекции после того, как ему исполнится 40 лет. — Философ должен обладать зрелым умом, — говорил он часто, — его мысли должны быть взвешены годами раздумий и опыта. Молодой философ — явление неестественное и печальное. — И он приводил множество примеров, когда ранние работы знаменитых философов полностью противоречили их исследованиям, написанным в зрелом возрасте. Для рукописей отец покупал только лучшие толстые тетради с гладкой бумагой. В эти тетради он переписывал начисто свои работы, тексты лекций, конспекты некоторых книг. Он писал

мелким, но необыкновенно четким и красивым почерком. Этими тетрадами был заполнен весь огромный письменный стол отца. В день ареста отцу было 39 лет и 7 месяцев.

Моя мать была виолончелисткой, но в последние несколько лет она не работала. Примерно через два месяца после ареста отца она устроилась на работу в кинотеатр, в небольшой оркестр, игравший в фойе перед началом вечерних сеансов.

Так прошли несколько месяцев. Все мы были в напряженном ожидании, вздрагивая при каждом стуке в дверь, при каждом звонке телефона. Мне тогда и потом много лет снился один и тот же сон о возвращении отца домой. Зимой, вернувшись однажды из школы, по заплаканному, искаженному горем лицу матери, я понял, что случилось что-то страшное. Я бросился к ней, стал расспрашивать. Она, плача, сказала, что был закрытый суд, что папу приговорили к 8 годам и начала громко ругать всех, Ежова, прокурора, НКВД, судей и неизвестных мне Чагина, Пручанского и Васюкова, которые по ее словам подали на отца клеветническое заявление, а еще раньше на его друга Тымянского и на кого-то еще.

Примерно через неделю мать нашла в почтовом ящике извещение от жилотдела академии. Согласно распоряжению жилотдела наша семья должна была в течение двух дней освободить ведомственную квартиру. Но уезжать было некуда. Через три дня, рано утром в дверь снова громко постучали. На лестнице стояли управдом, дворник и милиционер. У них были виноватые, но решительные выражения лиц. — У нас есть приказ жилотдела академии освободить квартиру, — сказал управдом, и показал матери какую-то бумажку. — Но ведь мне некуда уезжать, — глухим, чужим голосом ответила мать, — у меня двое детей, они ни в чем не виноваты. Пусть нас переселят, или оставят хотя бы одну комнату здесь, мы же не можем жить на улице.

— Я понимаю, гражданка, — управдом пожал плечами, — но сделать ничего нельзя. Вы же знаете такие случаи были. На вашу квартиру выписан ордер, завтра в нее должна въехать новая семья.

Он был прав, только в нашем подъезде в последние месяцы были выселены три семьи, а во всем огромном доме академии были выселены десятки семей арестованных преподавателей и слушателей.

Дворник с каким-то помощником и милиционер вошли в квартиру и начали выносить вещи во двор, складывая их прямо на снег. Мы не пытались им помочь. Но когда дошла очередь до книг, до шести больших полок прекрасной библиотеки отца, мать встала и стала всё делать сама. Она заворачивала пачки книг простынями, завязывала веревками и бережно сносила вниз. Возле кучи вещей на снегу собралась небольшая группа любопытных. Все нас знали, дом был академический, а отец работал в академии больше 10 лет. Но никто не предлагал помощи. Один из друзей и сослуживцев отца, добрый человек, только и заходивший к нам после ареста отца, полковой комиссар со странной фамилией Кур, был также арестован месяца два назад, после того как он подал в НКВД заявление, ругаясь за абсолютную честность и невиновность Медведева, которого он знал с времен гражданской войны. Они оба работали в политотделе легендарной 9-ой Красной армии.

Я помню, что мебель мать тут же на снегу продала за бесценок, а книги и некоторые другие вещи мы с помощью дальних родственников матери, живших в Москве, перенесли к ним в квартиру. Затем мы уехали в Ленинград, где жили сестра мамы Надя и сестра отца Тося. Надя жила с дочкой в небольшой комнате, принадлежавшей нашей бабушке, тогда уже полупарализованной Елизавете Михайловне. Жить в небольшой комнате вшестером было тесно, но мы надеялись, что именно сюда вскоре придет письмо от отца, когда он поймет, что по старому адресу нас уже нет. Отец был осужден «с правом переписки» и нам казалось, что письма начнут поступать очень скоро. Но прошло несколько месяцев прежде чем летом 1939 г. мы получили первое письмо из неизвестного нам Сеймчана в Колымском крае Дальнего Востока.

В конце лета 1939 г. нам удалось обменять комнату в Ленинграде на сравнительно хорошую двухкомнатную квартиру в Ростове на Дону. Мама устроилась там на работу в театр, тетя Надя, оставившая с 1934 г. после рождения дочки, профессию артистки, работала машинисткой. От отца приходили не только письма, но иногда и подробные заявления, пересланные, очевидно, через «вольных». В этих заявлениях, адресованных в ЦК ВКП, в Верховный Суд СССР, отец подробно доказывал необоснованность обвинений, описывал пытки, которым подвергался, приводил имена следователей НКВД, применявших

пытки. Я помню почему-то только одно из этих истязаний, — сидение на торчащей из пола палке, упирающейся в копчик. Отец писал, что он не подписал никаких «признаний». В заявлениях отца указывались и имена тех, кто подал на него и на многих других сотрудников академии клеветнические заявления. Этими доносчиками, как и была уверена мать, были Чагин, Пручанский и Васюков. Они подписывали заявления втроем, это действовало неотразимо. Тетя снимала с заявлений машинописные копии, а оригинал мать обычно везла в Москву в приемную того, к кому обращался отец. Но на все заявления приходил обычно один и тот же ответ — «в пересмотре дела отказано».

Мы все часто писали на Колыму, посылали продукты, теплые вещи, денежные переводы. Отец просил ничего не посылать, говорил, что у него всё есть, письма его были бодрые, написанные все тем же ясным четким мелким почерком. Зимой писем почти не было, авиапочта в те годы практически не существовала, а морская навигация с Колымой закрывалась на 6-7 месяцев.

Зимой в начале 1941 г. пришла неожиданная телеграмма. Отец сообщал, что он в больнице, но «выздоровливает». Просил прислать витамины. Мы набивали конверты таблетками и порошками (в основном витаминами А и С), посылая их через каждые два-три дня авиапочтой, надеясь, что какой-нибудь из них попадет на редкие самолеты, не дожидаясь навигации. Почта гарантировала доставку самолетами писем только до Хабаровска. Оставшиеся две тысячи километров письмо могло преодолеть только волей случая.

Когда в конце весны 1941 г. открылась навигация, к нам вернулся денежный перевод с наклейкой «адресат умер». Получив его, мать несколько дней пролежала в кровати, не принимая пищи и почти без сна. Она жила надеждой, что это ошибка, а мы с Роем каждый день встречали почтальона во дворе, чтобы брать и уничтожать другие возвращаемые с наклейкой наши письма. Никакого официального извещения о смерти не было. Почта приносила также, уже после смерти отца, задержанные зимой его письма, написанные в конце лета 1940 г. Когда в начале сентября 1941 г. нам всем пришлось срочно бежать из Ростова, к которому неожиданно прорвалась немецкая армия, все письма и все вещи остались в Ростове.

Каким-то чудом уцелело одно последнее письмо, написанное в конце лета 1940 г. Рою и полученное уже после смерти отца. Рой имел его при себе, когда в наступившей в Ростове панике, началась стихийная эвакуация за Дон.

«Здравствуй, сынок! — писал отец. Наконец-то получил долгожданные письма, совершившие долгий (с 23/III!) и странный путь: побывали на Камчатке в г. Петропавловске. Скупые вести радостно взволновали меня и особенно обрадовали фотокарточки. Перечитываю десятки раз короткие письма. Вглядываюсь до боли в глаза в знакомые милые черты и лью слезы. Роем летят воспоминания. Настроение приподнятое. Приободряюсь. Недоволен я только краткостью ваших писем. Я ждал ответов на множество вопросов и пока не получил их. Сообщаешь мне голые факты и баста. А этого мне мало, дружок. Например с книгами. Привел длинный перечень названий, прочитанных за два месяца. А о своих впечатлениях ни слова. Слишком уж ты много проглотил за два месяца! Значит ты читал без размышления, без записи в дневник важнейших мыслей из прочитанного... Старайся читать, прежде всего, классическую литературу, то есть книги гениальных людей. А гений требует уважения к себе и тщательного изучения... Читай медленнее, усваивай **идеи** писателя, оценивай **его слог**. Слог — это умение писателя употреблять слова в их настоящем значении, способность выражаться ясно, сжато, точно, тесно слить идею и форму ее выражения, накладывая на него отпечаток самобытности, неповторимого своеобразия писателя...»

Через неделю Советские войска отбили Ростов у немцев наступлением из под Батайска. Но мы были уже в Тбилиси у старшей сестры матери Руси. Возвращаться в Ростов мы не решались, фронт был рядом и город бомбили. Нужно было ухаживать за бабушкой, которая с трудом перенесла дорогу. В октябре бабушка умерла. Летом 1942 г. Ростов вновь был занят немцами, теперь уже надолго.

Мать продолжала писать письма в разные учреждения Магадана, стараясь узнать о судьбе отца. Она все время надеялась, что он жив, она ведь не знала о том, что с наклейками о смерти адресата возвратился не только один почтовый перевод. В 1943 г. у нее прибавились новые тревоги. Я до сих пор помню ее мокрые от слез и какие-то полубезумные глаза, когда 1 февраля 1943 г. шла она по проспекту Шота Руставели,

проводя в армию двух своих сыновей сразу. Раньше она всегда радовалась, что у нее близнецы и мальчики. Теперь это оборачивалось плохими предчувствиями. Оба ее сына, не доучившись в 10-м классе, прямо из школы, 17-тилетними тощими юнцами бодро уходили на военную службу. Их сверстников и друзей еще не призывали. Им разрешали закончить школу, а после этого должны были направить в военные офицерские училища. Но детям репрессированных путь в военные училища был закрыт. По какой-то тайной инструкции дела таких призывников лежали в военкоматах в папках «ПМС» («политически-морально сниженные») и их можно было посылать на фронт только рядовыми. А для этого среднее образование не требовалось.

Но судьба не оправдала плохих предчувствий матери. Она сделала ее намного счастливее других послевоенных матерей. Оба ее сына вернулись из армии живыми. Рой всю войну проработал в в/ч, занимавшейся ремонтом поврежденной на фронте военной техники. Я попал на Таманский фронт, но воевал недолго. В конце мая 1943 г. я был ранен. В сентябре после госпиталя меня демобилизовали из армии.

Пробыв месяц в Тбилиси, я поехал в недавно освобожденный Ростов на Дону. Дом наш на Пушкинской улице был невредим, но в квартире жили другие. Никаких следов библиотеки отца не осталось. Очевидно ее уничтожили из страха во время неминой оккупации, это была все-таки библиотека марксиста и военного комиссара.

В 1954 г. вскоре после сообщений о суде над Берия, мать брат и я опять подали в Верховный Суд заявление о пересмотре дела А. Р. Медведева, уже посмертно. Реабилитации тогда выдавались с трудом, назначалось серьезное переследствие с вызовом бывших сослуживцев, а иногда и доносчиков. Каждый месяц я, как единственный тогда москвич из всей нашей семьи, ходил на улицу Кирова в Приемную Военной Коллегии Верховного Суда СССР узнавать о ходе переследствия. Два года продолжались эти визиты, а решения Суда все не было. Однако, после XX-го Съезда КПСС машина правосудия заработала быстрее. В сентябре 1956 г. мне была выдана справка о Решении Военной Коллегии Верховного Суда от 1 сентября 1956 г. согласно которому дело Медведева Александра

Романовича было прекращено «за отсутствием состава преступления».

Вслед за этим все мы втроем написали заявление в МГБ с просьбой вернуть нам конфискованные рукописи отца, весь его архив. Рой пошел по стопам отца, окончив философский факультет. В то время он работал преподавателем истории и директором школы в одном из районов Ленинградской области, но чувствовал себя все же философом. Он хотел сохранить и обработать научное наследство отца, прочитать его толстые тетради с главами оконченных и неоконченных книг, его многочисленные, особой формы карточки с выписками, мыслями, короткими заметками, афоризмами, формулировками. Его лекции по истории философии, по истории религии, по логике, — плоды каждодневного, до глубокой ночи, упорного труда. Ответа на наше заявление не последовало. Мы написали снова, на этот раз в ЦК КПСС. Месяца через два стандартный, печатный бланк с чьей-то неразборчивой подписью известил нас о том, что конфискованные после ареста А. Р. Медведева материалы не сохранились. Фамилия «А. Р. Медведев» была вписана в бланк от руки. Повидимому, тысячи людей получали такие бланки, поэтому и была заготовлена типографская форма.

Следовательно, конечно, тогда в 1938 г., когда готовил «дело» для «суда», не утруждал себя внимательным чтением бумаг арестованного. Арестованных было много, а времени мало, да и оплата следователей зависела от числа успешно законченных дел. После «суда» он наверное списал весь архив на уничтожение, на сжигание. Ведь не хранить же в НКВД все конфискованные рукописи, бумаги и книги, а возвращать материалы «врагов народа» родственникам не было принято.

Надеждам нашим узнать неопубликованные мысли и труды отца не суждено было сбыться. Мы знаем, что был наш отец философ, знаем несколько опубликованных им в журналах статей. Но мы знали, что большую часть своих работ отец не публиковал, ссылаясь на то, что он ждет для этого своего сороколетия. А может быть ждал он чего-нибудь еще, например, того времени, когда философия действительно станет наукой. Арест отца, как и многих других советских философов и историков, не был просто хаотическим явлением. Это я понял и узнал много позднее. В двадцатые и тридцатые годы в этих областях знания шла сложная борьба направлений между уче-

ными, которые считали, что классики марксизма создали лишь методы и предпосылки науки и ее нужно развивать расширяющимся и углубляющимся фронтом, и теми, кто считал, что классики уже создали всё, что нужно. По мнению второй группы, следовало прежде всего трактовать и анализировать труды «основоположников» марксизма, применяя их к различным условиям. Создавать в философии что-то новое могли, с этой точки зрения, лишь вожди, гении, из которых живым гением был тогда лишь Сталин. В области истории линия раздела направлений была еще проще. Борьба шла между теми, кто мог фальсифицировать историю, вычеркивая из нее некогда славные и заслуженные имена и приписывая их заслуги другим, и теми, кто был честен в исторических исследованиях. Кто одержал верх в этой борьбе в условиях сталинского террора хорошо известно, и что стало с нашей философией и историей — известно также не хуже. Одной из множества жертв этого беспощадного процесса и был Александр Романович Медведев. Может быть был он гений, может быть талант, может быть способный ученый, а скорее всего просто честный труженик науки. Ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем, он сгорел в бездонных печах большого здания на площади Дзержинского в Москве.

Реабилитации отца мы добивались просто из чувства долга перед его светлой памятью. Но при получении справки о реабилитации в канцелярии Военной Коллегии Верховного суда мне разъяснили, что жена реабилитированного имеет право на получение «военной» пенсии, наравне с женами командиров погибших на фронте. Таков был приказ Министра обороны маршала Г. К. Жукова. Кроме того, всем женам реабилитированных, военных и гражданских выдавали справку, по которой с последнего места работы погибшего мужа выплачивали в качестве компенсации двухмесячный оклад по должностным ставкам не 1937-1938 гг., а по ставкам 1956 г. Когда я получал эти деньги в военной академии по доверенности матери, кассир, вместо соболезнования вдруг сказал с улыбкой... — Повезло вам, должность вашего отца считается сейчас профессорской, зарплата у него сейчас в три раза выше чем раньше. — Мать положила эти деньги в сберкассу и не притрагивалась к ним.

Но главное было в том, что жена реабилитированного, высленная после ареста из квартиры, могла хлопотать о пе-

реезде в тот город, где она раньше жила. Ей должны были предоставить жилплощадь, обычно однокомнатную квартиру. А это ей хотелось больше всего. В 1957 г. Рой переехал в Москву, но и у него и у меня не было в Москве отдельных квартир, наши семьи жили в маленьких комнатах, а мама хотела жить отдельно и самостоятельно. Она была прекрасной виолончелисткой, работала в Тбилиси в оркестре театра и надеялась, что будет работать и в Москве. Мы собрали справки о том, что Юлия Исааковна Медведева жила до 1938 г. в доме Военно-политической академии, нашли свидетелей, которые удостоверили в письменной форме факт насильственного выселения зимой 1938 г. Эти документы в 1958 г. были направлены в Моссовет с заявлением матери о предоставлении ей квартиры в Москве. Заявление было принято, но решения пришлось ждать очень долго.

Реабилитированные и члены их семей получали жилплощадь вне общей очереди, но число реабилитированных было слишком велико. Прошло три года прежде чем мать приблизилась к заветной цели. Но в этот момент случилось несчастье. Мама жила тогда в Тбилиси, недалеко от театра, где она работала. В Тбилиси зимой в большинстве домов печи топят углем. Мама жила вместе с подругой в небольшом одноэтажном доме. Затопив печку углем, подруги легли спать, не дождавшись пока печь прогорит. А уголь горел плохо и из-за сильного ветра тяга была слабая. К утру обе женщины угорели так, что были без сознания. В больницу их доставили только к вечеру, когда кто-то пришел из театра и заподозрил неладное. К утру хозяйка квартиры, лежавшая ближе к печке умерла. Брат и я прилетели из Москвы по вызову родственников, когда мать еще не пришла в сознание. Она очнулась только на четвертый день, узнала нас, немного поела. С этого дня дело пошло на выздоровление. Несмотря на свои 59 лет, мама была крепкой женщиной, сердце у нее было здоровое и она до этого ничем не болела. Но выздоровления не наступило. Когда уже казалось, что дело идет к лучшему, возникло осложнение, обычное при сильных отравлениях угарным газом — воспаление мозговых оболочек. Месяц мы с братом не отходили от кровати мамы, вновь потерявшей сознание. Мы поочередно дежурили в больничной палате днем и ночью, но спасти маму не удалось. Я до сих пор не могу забыть как на рассвете в марте 1961 г.

врачи еще живую вынесли маму на носилках в дальний коридор и уложили там умирать. Умирать в общей палате по правилам больницы нельзя, а палат для умирающих не существует, разве только в особых больницах. Если врач видит, что смерть близка, больного выносят в коридор. Может быть это и имеет медицинский смысл, другие больные не видят смерти.

Возвратившись после неожиданно очень многолюдных похорон в Москву, я нашел в почте, поступившей за время нашего отсутствия, долгожданное извещение из Моссовета. Исполком Моссовета принял решение удовлетворить просьбу Ю. И. Медведевой о предоставлении ей в Москве однокомнатной квартиры.

В личных вещах мамы мы нашли сберкнижку с двухмесячным окладом отца с последнего места работы. На эти деньги, сразу после похорон, мы заказали памятник на могилу. Эта могила теперь для них двоих.

Два года спустя, в 1963 г., читая как-то «Известия», я увидел большой, на всю страницу список ученых, выдвинутых на объявленные Академией Наук СССР вакансии действительных членов и членов-корреспондентов. Проглядывая список, я заметил, что какой-то Чагин Борис Александрович, член-корреспондент Академии наук СССР выдвинут в действительные члены академии по отделению философии и права. Чагин — фамилия редкая и я мгновенно решил, что это и есть тот Чагин, который когда-то написал в НКВД заявление с требованием ареста моего отца. Фамилии составителей клеветнического доноса я помнил хорошо: Чагин, Пручанский и Васюков, а инициалы в памяти не удержал. От одного из бывших сослуживцев отца, вызывавшегося в связи с пересмотром дела отца в 1955 г., я узнал и о судьбе всех троих, но только в довоенный период. Васюков и сам был вскоре арестован по доносу своих соавторов. При этом его приговорили к высшей мере наказания. Чагин после этого возглавил кафедру в академии, а также и кафедру философии в Университете. Пручанский был у него в ассистентах. Но в 1940 г. Чагина и Пручанского уволили из Военно-политической академии, причем именно за клеветнические доносы. Они оба переехали в Ленинград и устроились на работу в Ленинградском Университете. Пручанский затем перешел на работу по кафедре марксизма-ленинизма в ленинградском институте физкультуры. Увольнение Чагина и Пручанского из

академии в 1940 г. было специфическим явлением военной среды, другие, штатские философы, ликвидировавшие с помощью НКВД многих своих коллег, не теряли трудно завоеванных постов.

В 1939-1940 гг., в связи с крайне тяжелой войной с Финляндией, стало очевидно, что Красная армия ощущает острую нехватку квалифицированных и опытных командиров. Это было естественно, к 1939 г. почти все кадровые командиры нашей армии от командира батальона и выше были в лагерях или расстреляны. Финская кампания привела к новым потерям командного состава. А хорошего военного специалиста подготовить непросто. Поэтому по ходатайствам некоторых приближенных к Сталину маршалов и высших военных начальников еще до окончания финской войны стала проводиться частичная, выборочная реабилитация находящихся в заключении военных специалистов и преподавателей военных академий. По некоторым неофициальным данным к началу войны с Германией были освобождены из «трудовых» лагерей около 10.000 кадровых офицеров. И им неизбежно приходилось встречаться с теми, кто раньше писал на них клеветнические доносы. Возвращались в Военно-политическую академию и те, кто был жертвой доносов Чагина и Пручанского. На этой основе возникали острые конфликты и руководству академии пришлось уволить полкового комиссара Чагина и батальонного комиссара Пручанского из армии. Привлекать их к более серьезной ответственности за «бдительность» никто, конечно, не собирался. Что ж, думал я, клеветники все таки были наказаны. И не вспоминал больше о них. И вдруг увидел фамилию одного из них в списке кандидатов в академики! И он уже член-корреспондент! За что? Я немедленно отправился в Библиотеку имени Ленина и стал смотреть авторские годовые указатели «Летописи книг» и «Летописи журнальных статей». Смотреть для подобной цели каталоги библиотек — дело ненадежное. В каталогах стоят карточки, которые сами авторы, стыдясь своих прошлых работ, могут вынимать из ящиков и уничтожать бесследно. А многие карточки удаляют и библиографы, если ту или иную книгу решено изъять из открытых фондов библиотек. Это я обнаружил, когда изучал историю генетической дискуссии в СССР. Очень многие «разгромные» статьи и книги, менявших свою ориентацию ученых, было бы бесполезно искать по каталогам

библиотеки. Летописи книг, журнальных статей и газетных статей — это абсолютно надежный библиографический справочник, по которому можно проследить общественную и научную биографию любого автора.

Моя уверенность оправдалась. Борис Александрович Чагин, ныне Член-корреспондент Академии Наук, был тем самым полковым комиссаром Чагиным, который в тридцатые годы служил в Военно-политической академии имени Ленина. А вот и продукт их совместного научного творчества с соавтором доносов — Б. Чагин и Б. Пручанский, — статья «Классический труд марксизма» опубликованная в «Ленинградской правде» 1 октября 1948 г. и посвященная разбору работы молодого Сталина «Анархизм или социализм?». Но вообще Пручанский далеко отстал от Чагина. В 1963 г. он все еще доцент при институте физкультуры, обучает марксизму спортсменов. Чагин же оказался на редкость продуктивен и всегда в соответствии с потребностями текущего момента. До 1938 г. я нашел только одну его небольшую книгу «Против реакционных теорий на лесном фронте», изданную в 1932 г. Главный расцвет его творчества начался с 1940 г., а ведь по словам матери Чагин был одного возраста с отцом. Неужели и он ждал сорокалетия? А может быть просто расчищал себе путь в науку от конкурентов, и расчистил, наконец, к сорокалетнему юбилею? В 1940 г. Чагин опубликовал книгу «Борьба Ленина за марксистский материализм в двадцатых годах», в 1948 г. появилась его книга «Партийность философии и борьба с буржуазным объективизмом», за ней в 1950 г. последовала книга «Борьба марксизма-ленинизма против реакционной философии». Между 1950 и 1958 гг. наступило затишье, а затем пошли почти те же заголовки и все это были книги большого объема. «Борьба марксизма-ленинизма против философии ревизионизма» 1959 г., «Из истории борьбы Ленина за развитие марксистской философии» — 1960 г., «Из истории борьбы против философского ревизионизма» — 1961 г. Боевыми и разоблачительными были и многочисленные журнальные и газетные статьи Чагина. Десятки похожих друг на друга заголовков: «Ленин и борьба...», «Сталин и борьба...», «Ревизионизм и буржуазная идеология», «Англо-американский расизм и современная идеология космополитизма» и т.д. Чагин сделал вклад во все политические кампании послевоенного времени: против космополитизма (сио-

низма), против морганизма, против ревизионизма. Он не включился, однако, в кампанию по разоблачению культа личности Сталина. Либо чувствовал, что она недолговечна, либо слишком тесно был связан с этим культом в прошлые годы. По «Летописям статей» можно иногда составить представление и о моральных качествах автора. Чагин своими публикациями явно преследовал не только научные и политические цели, но очень заботился и о коммерческой выгоде. Одну и ту же статью он часто публиковал в разных провинциальных изданиях, понимая, что в Литве не читают узбекских газет. Например статья Чагина «Борьба Ленина за теоретические основы партии» была напечатана в разное время в десятках газет. Очень часто директивные статьи публикуются сразу во многих газетах, но они появляются **одновременно** или на **следующий день** после публикации их в центральной прессе. Статья же Чагина появилась в начале марта 1949 г. впервые в «Казахстанской правде», а через неделю была опубликована в «Правде Востока», в «Советской Киргизии», а еще через два дня в «Советской Литве», в «Советской Эстонии» и в ряде других республиканских изданий. Статья Чагина «О работе тов. Сталина 'Анархизм или социализм' первоначально 12 мая 1948 г. появилась в газете «Коммунист Таджикистана», 14 мая она была опубликована в газете «Коммунист Армении», 21 мая в газете «Ленинское знамя» в Петрозаводске, 12 июня в «Советской Молдавии», 16 июня в «Туркменской искре» и все лето 1948 г. кочевала из одной провинциальной газеты в другую. А гонорар, надо думать поступал из всех газет. Приводить другие примеры подобной практики Чагина было бы скучно.

В каком году Чагина избрали Членом-корреспондентом Академии Наук я не знаю, но в Действительные члены на выборах 1963 г. он не прошел. Хотя через два года его имя снова появилось в списке кандидатов на вакансию академика. Но снова он не был избран.

В 1967 г. Чагин опубликовал еще одну книгу «Ленин о роли субъективного фактора в истории». Он таким образом стал главным экспертом и комментатором В. И. Ленина. Но и в 1967 г. Чагину не удалось стать академиком. В 1969 г. в 11-ом номере «Вопросов философии» была опубликована статья, посвященная 70-летию Б. А. Чагина. Эта статья под заголовком «Разработка ленинского философского наследства»

давала обзор основных работ Чагина, посвященных «осуществлению благородной задачи исследования места и роли ленинского теоретического наследия в духовной жизни человечества». О других работах Чагина, например, о его развитии теоретического наследия Сталина или о его антисемитских статьях по поводу «космополитизма» юбилейный обзор, конечно, не упоминал.

В 1972 г. раскрыв «Известия» за 14 ноября, я снова увидел обширный список кандидатов, выдвинутых в действительные члены академии на многие вакансии. По отделению философии и права были выдвинуты 11 человек и в этом списке снова была фамилия Чагина. Свободными в отделении были две вакансии и я стал с интересом следить за результатами выборов. Другие имена среди кандидатов также не были очень светлыми и я подумал, что у Чагина может быть есть шансы, ведь голосовать в отделении будут академики вроде Митина или Константинова, на совести которых также немало жертв 1937-38 гг. и в период послевоенной борьбы с «космополитизмом». Но в отделении философии и права сочли более целесообразным должностной принцип. Чагин, руководивший только кафедрой в Ленинграде, не был избран академиком. Отделение отдало предпочтение М. Т. Иовчуку — Ректору академии общественных наук и В. М. Чхиквадзе — директору института права Академии Наук СССР. Оба они были уже членами-корреспондентами. Оба были известными консерваторами, но я их научных биографий не знаю. Однако, открыв 28 ноября «Известия», опубликовавшие список утвержденных Общим собранием Академии действительных членов, я с удивлением обнаружил, что ни Иовчук, ни Чхиквадзе не фигурировали среди новых академиков. На следующий день я узнал, что случилось редкое явление. Тайным голосованием Общего собрания Академии, на котором доминируют представители естественных наук, выборы по отделению философии и права были отменены и большинство академиков отвергли предложенных отделением ученых. Обе вакансии остались открытыми.

Портрет отца всегда над моим письменным столом. Он на нем молодой, намного моложе меня. Я смотрю ему в глаза каждый день и думаю, что его сыновьям все же повезло. Они смогли пройти тот рубеж сорокалетия, которого ждал и не дождался он. И хотя второй вариант этого рассказа, написанный

в 1969 г. тоже был конфискован вместе с другими архивами на квартире брата в октябре 1971 г., но многое из того, что было тогда взято и не возвращено до сих пор, все-таки не погибнет бесследно, как погиб навсегда многолетний труд отца. Хотя далеко еще до торжества идей справедливости и гуманности, но то время, когда насилие было всемогущим, ушло, и надо надеяться, безвозвратно.

Обнинск, Декабрь, 1972 г.

Жорес А. Медведев

ИЗ ДНЕВНИКОВ И. А. БУНИНА

ПУБЛИКАЦИЯ МИЛИЦЫ ГРИН

28. VII. 40. Воскресенье.

Читаю роман Краснова «С нами Бог». Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен...

2 часа. Да, живу в раю. До сих пор не могу привыкнуть к таким дням, к такому виду. Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой дымке. В сторону Ниццы над горами чудесные грозные облака. Правее, в сосновом лесу над нами, красота зноя, сухости, сквозящего в вершинах неба. Справа вдоль нашей каменной лестницы зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми листьями. И одиночество, одиночество, как всегда! И томительное ожидание разрешения судьбы Англии. По утрам боюсь раскрыть газету.

Евреям с древности предписано: всегда (и особенно в счастливые дни) думать о смерти.

«Belligérants» можно перевести старинным русским словом: *противоборники*.²

Зажгли маяки. В первый раз увидал отсюда (с «Жаннет»)³ Антибский: взмывает и исчезает большая золотая звезда.

29. VII. 40.

Вчера еще читал «Вечерние/и/ огни» Фета — в который раз! (Теперь, верно, уже в последний в жизни). Почти все из рук вон плохо. Многие даже противно — его старческая любовь. То есть, то, *как* он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, — губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в

¹ См. «Новый Журнал» №№ 108, 109, 110, 111.

² Все подчеркивания сделаны Буниным.

³ Вилла, которую во время войны снимали Бунины.

чудесном белье, — по чувств и мыслей *тайных*, глубоко ото всех скрытых.

А у меня все одно, одно в глубине души: тысячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет.

Был в Кани, хотел купаться и не купался — еще только начали ставить кабинки.

30. VII. 40.

Все то же — бьют друг друга авионы. И немцы все пугают, пускают слухи, что они делают «гигантские приготовления» к решительной атаке.

Весть из Лозанны — о возможности выступления Америки. Нет, не выступит!

Прочел о том опыте, который сделали несколько лет тому назад два венских студента: решили удавиться, чтобы их вынули из петли за мгновение до смерти и они могли рассказать, что испытали. Оказалось, что испытали ослепит/ельный/ свет и грохот грома.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова (мужа моей двоюродной сестры Софьи Николаевны Буниной) весной 1885 г. Так помню эти дни, точно в прошлом году были (написаны в «Жизни Арсеньева»). Замечательней всего то, что мне и в голову не приходило, что и я умру. Вернее — м/ожет/ б/ыть/, и приходило, но все-таки ничуть не касалось меня.

Вдруг вспомнилось: Москва, Малый театр, лестницы — и то очень теплые, то холодные сквозняки.

1. VIII. 40. Грасс. Приморские Альпы.

...Карло⁴ прописал постоянно носить очки (для дали, для чтения оставил те, что дал Поллак) и прикладывать утром и вечером очень горячие компрессы из чая: левый глаз слезится от утомления зрения. Постоянно носить очки не могу — буду чувствовать себя неестественно поглупевшим...

10. VIII. 40.

Продолжается разграбление Румынии — румыны должны дать что-то еще и Венгрии.

8-го была огромная битва нем/ецких/ и англ/ийских/ авионов над берегами Англии. Японцы, пользуясь случаем, придираются к Англии. Сталин — к Финляндии, Испания — к Англии

⁴ Глазной врач в Ницце.

(отдай Гибралтар). Все растет юдофобство — в Рум/ынии/ новые меры против евреев. Начинает юдофобствовать и Франция.

Олеандры густо покрылись алыми цветами.

15. VIII. 40. Католич/еское/ Успенье.

Немцы стреляют по Англии из тяж/елых/ орудий. Англ/ичане/ бомбардировали Милан и Турин. Болгарск/ие/ и венгерские требования к Румынии. Рум/ынский/ король будто бы намерен отречься и скрыться в Турции.

Сталин устраивает ком/мунистические/ манифестации в Гельсинг/форсе/ и Або — и грозит финнам, которые эти мани/ф/естации/ разгоняют. Верно, вот-вот возьмет всю Финляндию...

17. VIII. 40.

Проснулся в 6½ (значит, по настоящему в 5½). Выпил кофе, прочитал в «Вест/нике Европы» (за 1881 г., взял в библи/отеке/ канской церкви) «Типяги» Эртеля.⁵ Ужасно. Люба должна выйти замуж за «господина Карамышева», камер-юнкера, богача, пошляка, проповедующего «верховенство» дворянства в России надо всем, его опеку над народом — «на благо народу». Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна...

Все утро все долины и горы в светлом пару — неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышимый горьковатый запах воздуха — уже осенний.

...Огромный налет немцев («с удивительной точностью»!) на Лондон, на берега Темзы — «все в дыму, в пламени...» Кажется, и впрямь начинается.

Погода разгулялась, тишина, зной, торопливо, без усталости, без перерыва точат-точат цикады у нас в саду.

Сейчас около 7 вечера. Были в городе за покупками... Магазины почти пусты — все раскупалось последн/ий/ месяц бесшено. Уже исчезло и сало (масла нет давным давно). Мыло для стирки выдают по карточкам маленьк/ими/ кусочками, весят, как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего.

⁵ Ранний рассказ А. И. Эртеля, вошедший в его «Записки Степняка».

⁶ И. С. Тургенева.

Днем начал пересчитывать «Песнь торжествующей/ любви»⁶ — ноябрь 1881 г., «Вестник/ Европы/». Сейчас кончил. Удивительно написано. Но опять то же чувство: мертво, слишком «великолепно», «слишком хорошо».

Вечер тихий, прекрасный. И опять все долины и горы в дымке.

Наши летчики во время прошлой «великой» войны: синяя куртка, серебряные/ погоны с черными/ орлами, черные/ широкие/ шаровары с красным кантом, узкие щегольские/ сапоги. Двое таких (молодых, красивых, страшно любезных) встретили в Киеве на вокзале Каменскую, с которой я ехал весной 16-го г. из Москвы в Одессу (в маленьком/ отдельном купе международного вагона).

...Англичане/ сообщают, что за последних/ два дня немцы потеряли 255 авионов. Так что «великое нападение» кончилось неважно. И вот, вчера решено покончить с Англией/: «Германия хочет установить полную блокаду британских островов». Так и объявил вчера Берлин — официально: «надо покончить с этой войной!» — ни более, ни менее... «Германия/ должна оказать Европе услугу чрезвычайной исторической важности». Все это сказано с совершенной/ серьезностью...

19. VIII. 40.

Вчера после полудня немцы опять бросали бомбы с авионов в окрестностях/ Лондона. Англичане/ сообщают, что до 7 ч. вечера немцы потеряли 36 авионов/...

Итальянцы стараются — их газеты кричат, грозят: «Немецкая армия готова! Англия будет сожжена!»

Шведский/ министр внутренних/ дел/ произнес речь на счет притязаний России на остальную/ часть Финляндии/ — «Швеция окажет Финляндии/ военную помощь». Окажет ли? Не верится.

Пухлая облачность, прохладно. Ночью на меня сильно дуло из раскрывающихся полотнищ занавеса — уже недели две сплю с открытым (в сторону Марселя) окном.

Ждем к завтраку Самойловых.

Разговор с Самойловыми/ шел точно в советской/ России — все на счет того, как мы будем кормиться осень и зиму.

20. VIII. 40.

Проснулся в 8, читал А.⁷ — вероятно, в десятый раз — удивительно! Можно перечитывать каждый год.

Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) — он виден далеко внизу — Божьей Матери и Маленькой Терезе (Б/ожья/ М/атерь над порталом, Т/ереза/ в соборе, недалеко от входа, справа). Развернул Библию — погадать, что выйдет; вышло: «Вот Я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваох; ибо наступит день твой, время, когда Я посетю тебя». (Иер/емия/ 50, 31).

Вчера в «Эклерер дю Суар»: англ/ийское/ *официальное*/ сообщение: вчера (в воскр/есенье/) вечером над Анг/лией/ пролетело 600 нем/ецких/ авионов, мы сбили всего за воскр/есенье/ более ста. Неужели правда? Дальше... блокада Англии есть наказание за ее бесчеловечное ведение войны. Англия должна быть уничтожна как можно скорее — это она одна мешает установлению долгого и прочного мира в Европе...

10 ч. Принесли «Эклерер». Англ/ичане/ отступили из Сомалии. Речь Буллита, америк/анского/ посла во Фр/анции, — говорил в Вашингтоне, — что надо оказать помощь Англии, что, после победы над ней, немцы с Японией нападут на Америку. Канада и Соед/иненные/ Шт/аты/ заключили союз для защиты Сев/ерной/ Америки. Утка, — думаю, что утка, — будто возможно, что Черчилль заменит этот старый неугомонный подлец Ллойд Джордж...

21. VIII.

Вчера был в Канн, хотел купаться, но встретил вдруг Адамовича⁸ — только несколько дней как в Ницце (т.е. демобилизован) — и просидел часа 1½ с ним и Кантором⁹ в кафе «под платанами». Пригласил их к себе на завтрак во вторник 27-го.

Сейчас один в доме — «наши дамы»¹⁰ уехали вчера... на почевку... Вера нынче тоже в Канн...

Итальянцы трубят победу в Сомалии, она... будто бы очень важна. Черчилль вчера сказал в Палате общин, что Англ/ия/

⁷ Над этим инициалом карандашом поставлен вопросительный знак.

⁸ Поэт и критик Г. Адамович.

⁹ М. Л. Кантор, издатель и критик.

¹⁰ Жившие у Буниных Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.

должна готовиться «к кампании 1941-42». Соглашение Рузвельта с Канадой вызвало «беспокойство в Японии» и последствием этого соглашения будет то, что теперь америк/анские/ истребители будут направляться в Канаду, а из К/анады/ в Англ/ию/. Так что *косвенно* Ам/ерика/ вступила в войну против немцев?

В вечерней газете: Рузвельт опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду в Англию: известие, что Троцкий умирает — кто-то проломил ему череп железн/ым/ брусом в его собств/енном/ доме в Мексике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончат/ельного/ возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично.

22. VIII. 40.

Ночью сильный и оч/ень/ прохладный ветер. Сейчас (11 ч.) солнце, но все еще шумит. В долине под Кабризом пожар в лесах — гигантский дым серо-молочно-рыжеватый медленно идет, поднимаясь, над долинами под Эстерелем.

Убийца Троцкого какой-то Жак Мортон Ванденбреч, родился в Тегеране и натурализованный бельгиец; он арестован; череп у Тр/оцкого/ так проломан, что виден мозг; Жак слыл другом Тр/оцкого/ и часто навещал его.

12 ч. 45 м. Слушал радио. Троцкий умер.

23. VIII. 40.

Газета: итальянск/ие/ газеты негодуют, что газеты пвей-царск/ие/ непочтительны к фашизму, к Германии, к итало-нем/ецкому/ союзу, — тон угрожающий: эту моду требовать к себе почтения от всех стран и обуздывания свободы их печати ввела Герм/ания/; томаты, которые стоили в Ницце в прошл/ом/ году 40,60 сант/имов/ кило, стоят теперь от 4 до 5 фр/анков/...

Некролог Троцкого (Лейба Бронштейн): писал кто-то очень осведомленный — кем? немцами?

Письмо из Ниццы:... Цакни посадили в острог за неимение карт д'идентите и еще за какие-то «небылицы» — просит моей помощи, как «родного» его (а как~~ой~~ же я ему родисй, разведенный с его сестрой уже чуть не 20 лет тому назад?) — поручительства за него и еще чего-то, говоря о моем «добром сердце» — очевидно, денег, которых у меня нет.

Солнечно — и уже августовск/ая/ и сент/ябрьская/ сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль.

Прочитал Лескова «Захудалый род» — очень скучно, не-пужно. В той же книге «●вцебык» — оч/ень/ хорошо.

В «В/естнике/ Евр/опы/» еще три очерка из «Зап/исок/ Степняка» Эртеля — все очень плохи. Лучшие других «Поплѣш-ка», но и тот пудный, на вечную тему тех времен о народной нищете, о мироедах итд. Впервые я читал этого «Поплѣшку/» больше полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа... Молочный блеск — особенно хорошо.

Лесн/ые/ пожары возле Ниццы, под Тулоном. Вчерашний, недалеко от нас, еще не совсем потух.

Да, да, а прежней Франции, которую я знал 20 лет, свобод-ной, богатой, с Палатой, с Президентом Р/еспублики/, уже нет! То и дело мелькает это в голове и в сердце — с болью, страхом — и удивлением: да как же это рушилось все в 2 недели! И немцы — хозяева в Париже!

24. VIII. 40.

Немцы стреляли в четверг (позавчера) из орудий с фран-ц/узских/ берегов по Лондону... довольно безрезультатно... Еще: Москва, Берлин, Рим посвящают удовлетворенные комментарии годовщины заключения германо-советского пакта. Да, Москва сделала недурное дельце.

Тело Троцкого будет сожжено и «прах» будет брошен в море — по его завещанию.

25. VIII. 40.

Франц/узское/ радио все чаще за посл/еднее/ время клонит к тому, что необходим блок Герм/ания/ — Италия — Франция. Нынче прямо сказано: «Без канц/лера/ Гитлера невозможно устройство новой Европы и прочного мира». Что должен чувствовать П.¹¹ А может он ничего не чувствует...

Вчерашнее письмо Алданова: «Я получил вызов к амери-к/анскому/ консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С. Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем (Т. М.¹² — буквально), что есть...»

¹¹ Вероятно, маршал Петэн.

¹² Татьяна Марковна, жена Алданова.

...Поехал в Канны... Нашел Цетлину¹³ в кафе... Уговаривала, чтобы я серьезно подумал об Америке — «жить тут вы все равно не сможете». Сказала, что Авксентьев¹⁴ уже уехал, Вишняк¹⁵ и Руднев¹⁶ тоже получили визы. «Почему так скоро?» — «Американск/ие/ социалисты ходили к самому Рузвельту, просили за социалистов во Франции...» Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!

Погода все та же — горячее солнце и холодный ветер в тени. Олеандры с их мелкими, острыми, бледно-зелеными/ листьями, сплошь осыпан/ные/ розовыми цветами, уже скоро потеряют эти цветы — они стали подсыхать, кое-где чернеть, умирать.

Весь день сижу за своими набросками, заметками...

27. VIII. 40. Вторник.

Вчера завтракал в Канны с Цетлиными и Алдановым. Цетлины и Алданов приехали к нам со мною к вечеру на обед и ночевку. Нынче у нас завтракали Адамович, Кантор, Цетлины и Алдановы. Все уехали в 5 ч.

Офицеры бежали больше всего. «Лучше Гитлер, чем Блюм».

29. VIII. 40. Четверг.

Немцы бомбардируют/ «безостановочно» порты и заводы англ/ичан/.

Из Виши: запрещение в свободн/ой/ зоне спектаклей представлений, фестивалей.

М. А.¹⁷ говорил за завтраком у нас, что читал три тома генерала де Голля, (кот/орый/ сейчас в Англии и заочно приговорен франц/узским/ правительством — нынешним — к смертной казни) и был соверш/енно/ поражен как его литер/атурным/ талантом, так и знанием Германии и предсказаниями на счет будущей войны Франции с Герм/анией/.

¹³ Марья Самойловна Цетлина, жена Михаила Осиповича, писателя, основателя «Нового Журнала».

¹⁴ Н. Д. Авксентьев, политический деятель.

¹⁵ М. В. Вишняк, б. секретарь Учредительного Собрания, один из редакторов «Современных Записок».

¹⁶ В. В. Руднев, политический деятель, один из редакторов «Современных Записок».

¹⁷ Марк Александрович Алданов.

Кофе будут выдавать тоже по карточкам — 100 грамм в месяц на человека. Похоже и это на издевательство.

Как-то на днях ахнул, вдруг подумав: первый раз в жизни я живу в завоеванной стране!

Читал эти дни в «Сев/ерном/ В/естнике/» (1897 г.) «Дневник бр/атьев/ Гонкуров». ¹⁸ Очень хорошо — кроме посл/едних/ лет, когда Эдмонд стал иногда писать сущий вздор (напр. о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во фр/анцузской/ литературе, который будто бы он с братом совершил.

В одном месте говорит: «Книги иногда не выходят такими, какими задуманы». Правда, правда.

Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат/ериной/ Мих/айловой/. ¹⁹

Еще — историю моих стихов и рассказов. ²⁰

Суб/бота/ 31. VIII. 40.

..Вчера был в Ницце. Завтракал, как всегда, в Эльзаск/ой/ таверне, с безнадежной тоской в душе: вот еще год жизни прошел, и уже далекой кажется грустная прошлая зима и нет несчастной, всегда бодро усмехающейся Ирины, и Цакпи сидит в остроге (это с ним бывал я в этой таверне).

Наднях в «Эклерё» было большое пустое место — зачеркнута цензурой целая статейка. Оказывается... в Ницце было такое событие: стояла толпа в очереди, дожидаясь выдачи гор-сточки кофе, а мимо проходил итальянский офицер с деньщиком (очевидно, из оккупир/ованной/ части Ментоны); из толпы стали кричать злобно и насмешливо: «эй, вы, макароны!», офицер ответил толпе каким-то оскорблением, а кто-то из толпы дал ему пощечину, а его деньщик застрелил этого кого-то...

День облачный. К вечеру так прохладно, что я надел теплую куртку.

Александр III умер в Ливадии в 2 ч. 15 м. 20 Окт/ября/

¹⁸ Goncourt, Ed. et J. французские писатели 19 века.

¹⁹ Екатерина Михайловна Лопатина, сестра философа, в эмиграции настоятельница Никольской Общины, близкий друг Буниных. О ее «романе» с Иваном Алексеевичем, бывшим на пять с половиной лет моложе ее, рассказывает Вера Николаевна в своей книге (см. В. Н. Муромцева-Бунина, «Жизнь Бунина», Париж, 1958, стр. 106-109).

²⁰ Этот и предыдущий абзац отмечены красным крестиком на полях.

1894 г. (старый стиль). В тот же день на площадке перед церковью Малого дворца присягнула Николаю вся царская фамилия. Думал ли он, какой смертью погибнет он сам и вся его семья! И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после всего пережитого опять в Данию, старухой, почти нищей, и умершей там! И чего только не пережил на своем веку *я*! И вот опять, переживаю.

1. IX. 40. Воскресенье.

Все увеличивающаяся «воздушная дуэль» Германии и Англии/... Налеты на Лондон и на Берлин, алерты и там и тут по 2-3 часа. Немцы подводят итоги воздушной войны *за год*: «мы уничтожили 7000 вражеских/их/ авионов, сами потеряли всего 1050». Довольно странно!

Все таки это правда — наступают *самые* решительные дни.

В прошлом году первое сентября было в пятницу. После завтрака все внезапно полетело к чорту — радио известило, что немцы ворвались в Польшу и что завтра начнется всеобщая мобилизация во Фр/анции/. Г/алина/ и М/арга/²¹ сошли с ума, кинулись собираться в Париж и через час мы отвезли их в такси в Кайн на вокзал.

3. IX. 40.

Были с В/ерой/ у мадам Жако — просили ее написать нашей хозяйке²² — эта старая дура надеется кому-то сдать «Жаннет», соверш/енно/ не представляет себе жизнь во Франции.

Облачно, у нас почти холодно, внизу было душно как перед грозой. Ночи совсем свежие. Годовщина объявления войны!

4. IX. 40.

...Надпях прочитал (перечитал, давным давно не перечитывал) «Мальву» и «Озорника» Горького. Вполне лубок. И хитрый, преднамеренный.

6. IX. 40.

Отличный тихий солнечный день, хорошо выспался, не плохо себя чувствую, только втайне тревожусь, как всегда утром, — жду газету.

²¹ Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.

²² Вилла, которую снимали Бунины, принадлежала англичанке.

Часто думаю: как незаметно прошло такое огромное событие — исчезновение целых трех государств — Литвы, Латвии, Эстонии! Давно ли я видел их со всем (вероятно, «всей» *М. П.*) их национальной гордостью, их президентами, их «процветанием» итд! Поиграли больше 20 лет во все это — и вот точно ничего этого никогда не было!²³ От Карамзиной²⁴ уже давным давно ни слуху, ни духу — и наверно, навсегда... А Чехия, Польша, Бессарабия, Дания, Голландия, Норвегия, Бельгия, прежняя Франция? Уму непостижимо! И изо дня в день, самыми последними словами, поносят в газетах и по радио сами себя французы — эту прежнюю, вчерашнюю Францию.

Пишу и гляжу в солнечный «фонарь» своей комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой красотой и пространностью (пространностью? *М. П.*) лежит вокруг под нами, и огромное белесо-солнечное небо. И среди всего этого — мое одинокое, вечно грустное я.

Принесли газету... Речь Черчиля перед Палатой Общин. За 2 посл./едних/ месяца Англия потеряла 558 авионоов. За август погибло смертью среди гражданск/ого/ населения 1075 человек, 800 домов разрушено. Атаки немцев в сентябре еще усилятся...

Радио в 12½: нынче ночью большие демонстрации в Букаресте против евреев и с требованием отречения короля; король ночью отрекся и намерен переселиться в Швейц/арию/. Все теперь во власти «Железн/ой/ гвардии», т.е. немецких ставленников. На престол вступил Михаил.

7. IX. 40.

Вчера в три часа поехал в Кани, — автобус, как всегда, был набит народом до ужаса, — купался на пляже; кабинка стоит теперь уже 8 франков! Возвратясь, поднимался пешком, — такси уже совсем исчезли, — тяжкий труд!

...Декреты, декреты, декреты... Вчера особенно замечательный: запрещается пить кофе в кафе с 3 ч. дня. Да, если бы не немцы, уже давным давно все летело бы к чорту, — «грабь награбленное!»

²³ Балтийские страны были оккупированы советскими войсками в середине июня 1940 г.

²⁴ Поэтесса М. Карамзина, жившая в Эстонии.

Дневник братьев Гонкур: почему Тургенев «милый варвар»? Какая французская тупость, какое самоопущение!...

Радио в 12½: Антонеску послал телеграммы «великому фюреру» и «великому дуче». Так прямо и адресовался. Еще одно дельце Гитлер обделал. Какие они все дьявольски неустанные, двужилые — Ленины, Троцкие, Сталины, фюреры, дуче!

Пынце проснулся с мыслью, которая со сна показалась ужасной: «Жизнь Арс/еньева/» может остаться не конченной! Но тотчас с облегчением подумал, что не только «Евг/ений/ Онегин», но не мало и других вещей Пушк/инна/ не кончены, и заснул.

Уже давным давно не могу видеть без отвращения бород и вообще волосатых людей.

За мной 70 лет. Нет, за мной ничего нет.

8. IX. 40. Воскресенье.

...Еще раз просматриваю «Красную лилию» Франса. Нет, это редкий роман, *во многих* отношениях прекрасный.

9 ч. вечера. Восьмичасовое радио:... «гигантская битва» немцев с англ/ичанами/, — тысяча авионон над Лондоном, сброшено *миллион* пудов бомб, сотни убитых и раненых. а англичане громят Берлин и сев/ерное/ побережье Франции. Уже часа два идет дождь и через кажд/ые/ пять секунд тяжело, со стуком, потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на «фраме» Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок — очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить?

9. IX. 40. Понедельник.

И в газете то же, что вчера говорили по радио.

Дым от пожаров в Англии виден с сев/ерных/ берегов Франции.

Вечери/е/ радио: немцы *продолжают* свое дело. Англ/ичане/ три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то америк/анской/ газете говорят: «Это истинный ад на земле!»

Опять думал о том *необыкновенном/* одиночестве, в котором я живу уже столько лет. *Достойно написания!*

10. IX. 40. Вторник.

Вчера свежая лунная ночь (уже половина луны). Прошлись с В/ерой/ по «дороге Наполеона» ...Раздумал ехать прощаться с Алдановым. М/ожет/ б/ыть/, уже уехал. Посылаю письмо.

На олеандрах еще осталось много цветов.

11. IX. 40.

...Нынче с утра вся долина как на ладони, черная, маленькая. Но день ясный, солнечный, только очень прохладный ветер в окна (с Италии). Беспокойство, хочется ехать на море — зачем, однако? Да и трудны теперь поездки. Вера уехала в Канн...

Вечером: в ночь со вторника на среду алерт над Лондоном длился более 8 часов; англич/ане/ в эту ночь бомбардировали Берлин...

Слушали Москву в 9½ вечера (по московски в 11½).

12. IX. 40.

Вчера в 6 ч. вечера Черчилль говорил перед радио: немцы всячески приготовились к высадке в Англии — нападение может произойти каждую минуту — и мы готовы к нему; каждая пядь земли, каждая деревня, каждая улица будет защищаться нами...

Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людовику Моро — между прочим, в качестве скульптора и живописца: «во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, — *по сравнению с кем угодно*». Вот это я понимаю!

Пушкин незадолго до смерти писал: «Юя душа расширилась: я чувствую, что могу творить».

13. IX.

Из писем Флобера:

«Я самый ярый либерал и ненавижу деспотизм. Вот почему социализм мне кажется чем-то педантичным и ужасным, долженствующим нанести смертельн/ый/ удар и нравственности, и искусству». — «Женщины кажутся мне чем-то загадочным. Чем более изучаю их, тем менее понимаю».

16. IX. 40. Понед/ельник/.

Итальянцы, в количестве 260.000 человек, вторглись в Египет. Англо-немецкая «дуэль» продолжается с большой силой.

Леон Блюм посажен в замок де Шазерон. За что? Я его всегда терпеть не мог, но сейчас все таки возмущен чрезвычайно. Ведь он был избран и правил «волею народа».

19. IX. 40. Четверг.

Позавчера ездил с М/аргой/ и Г/алиной/ в Канн, бегали по городу, там и сям накуная сыры (дают по кусочку, все бросились их покупать, прочитав в «Эклерё»), что в сырах много всяких витаминов...

После этого, видимо, наступил период усиленной творческой работы. В записях коротко говорится о том, когда был написан тот или другой рассказ. Вероятно, все другое было опущено Буниным при переписке дневников или же вкратце включено в запись от 30-го октября.

20. IX. 40. Начал «Русю». 22. IX. 40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой». 27. IX. 40. Дописал «Русю». 29. IX. 40. Набросал «Волки». 2. X. 40. Написал «Антигону». 3. X. 40. Написал «Пашу» и «Смарагд». 5. X. 40. Вчера и сегодня писал «Визитн/ые/ карточки». 7.X.40. Переписал и исправил «Волки». 10. 11, 12, 13. X. 40. Писал и кончил (в Зч. 15 м.) «Зойку и Вал/ерию/». 14, 17, 18, 20, 21, 22. X. 40. Писал и кончил «Ганю». 25 и 26.X.40. Написал «В Париже» (первые страницы — 24. X. 40). 27 и 28. X. 40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4 часа 40 м. дня 28. X).

На отдельном пожелтевшем листке бумаги другого формата и качества есть помеченная по табеной явно не переписанная Буниным запись:

23. X. 40. (10. X. 40 по старому стилю), 11½ ч. вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукиванье капель. Иногда всё сотрясающие раскаты грома. Лежал, читал «Несм/ертельно-го/ Голована» Лескова, потом выпил полстаканчика водки.

70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянск/ой/ улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного и пройдут они очень быстро, — давно ли, напр/имер/, была осень в Босолей, где мы жили на этой горе, в этом высоком доме (вилла Доминанте)! А прошло уже 2 года.

Проснулся поздно (в 9 ч.), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь Все таки мое рожденье немного

праздновалось — баранье плечо, вино (Марга подарила Понте-Канэ). Галина переписала «Таню», которую я кончил вчера в 5 ч. вечера.

Следующие записи опять на бумаге размера фолио.

30. X. 40.

С утра солнце, но из-за Альп над Вансом дожд/евые/ облака. К полудню распогодилось, прохладно.

...Перетащил сейчас (три часа дня) к себе письм/енный/ стол из кабинета вниз. Тотчас после того началась ужасная кровь.

Все посл/еднее/ время то дожди, то хорошая погода. 14 (1 Окт/ября/, на Покров) Вера ездила в Кани к обедне (в страшный дождь) — ее рождение. Жалко ее, больную, слабую, нервную, утешающуюся чем Бог даст, жалко нестерпимо...

С месяц почти пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед сном.

18 Окт/ября/ ездил с Бахраком²⁵ (он живет у нас) в Ниццу — прощальное свидание в кафе под Казино с Алдановым (онять вернувшимся).

26 Окт/ября/ была от Зайцева²⁶ открытка: 17-го Окт. умер Н. К. Кульман²⁷ (19 похоронен) — кончается, кончается наша прежняя, долгая и сравнит/ельно/ благополучная эмигр/антская/ жизнь. Да, 20 лет, треть человеч/еской/ жизни мы в эмиграции.

28 Окт/ября/, вечером, узнали: началась еще одна война — Италия напала на Грецию, придралась к чему-то, о чем *сама* солгала, и напала.

6. XI. и 7. XI. 40.

Написал «Генрих».

9. XI. 40.

Семь лет тому назад весть о Поб/елевской/ премии. Был счастлив — и, как ни странно сказать, молод. Все прошло, невозвратно (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами).

²⁵ Литератор А. Бахрак.

²⁶ Б. К. Зайцев.

²⁷ Профессор Николай Карлович. С ним и его женой Бунины были близки.

10. XI. 40.

Были чудесные, солн/ечные/ дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечная, небо в пей было яркое, бирюзовое. (Другая липа все еще густая, зеленая). Нынче ливень, холод.

11. XI. 40.

Вчера поздно вечером кончил «Генриха» (начал 6, писал 7 и 9). Опять хороший, теплый день. В 2 ч. ходил в город, в банк, меняю посл/едние/ тысячи...

«Генриха» перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, что так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось — помоги и спаси, Господи.

За прошлую неделю оч/ень/ много потерял крови, слабость и боль в темени.

14. XI. 40.

Позавчера был в Ницце у доктора Карлотти — все слезится левый глаз. Прописал новые капли, сказал, что зрение у меня хорошее и что все-таки я должен постоянно носить очки (для дали, а работать в прежних).

Были с Бахраком в Альзасской (правописание Бунина, М. Г.) таверне, завтракали...

...Весь день перечитывал написанные за эту осень рассказы и клал их в две палки — одну надо положить в сейф.

Молотов был два дня в Берлине: решают новое устройство Европы «на развалинах старой», — как пишут итальянцы.

Умер и похоронен, как самый обыкн/овенный/ человек, забытый уже всеми Чемберлен.

Итальянцы пока напоролись на греков.

17. XI. 40.

Все добываем пропитание... добыли $\frac{1}{2}$ бут/ылки/ пров/анского/ масла, 2 кило картошки, 30 яиц — и счастливы!..

Среда. 20. XI. 40.

Послал заказн/ой/ экспресс... Прошу устроить мне денежн/ую/ помощь у богатых шведов. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

Пяти/ица/. 22. XI. 40.

Письмо от Алданова из По: умер В. В. Руднев. Рак желудка. Очень жалко. Алдановы уезжают в Америку 25-го. Кончаются, кончаются наши эмигрантск/не/ годы!

Воскр/есенье/ 24. XI. 40.

...После захода — там, к Марселю: внизу темнеющее оранжево-красное, выше зеленоватое, прозрачное, еще выше — бесцветная синева.

Среда. 27. XI. 40.

...Хочется писать, но чувствую себя тревожно, мысленно хватаюсь то за одно, то за другое.

4. XI. 19. 5. XII и 9. XII.

Написал «Три рубля».

13. XII. 40. Пятница.

Италия объявила о своем вступлении в войну 10 июня в 6 часов вечера — уже отлично зная, что немцы разбили Францию, спускаются в долину Роны и угрожают «де прендр а ревер» французск/ую/ Альпийскую армию...

Ниче сообщение англичан, что они взяли в Африке 20000 тысяч (так написано Буниним, М. Г.) итальянцев в плен.

Греки бьют их (итальянцев) все время.

Статья в «Кандид» о Блюме. При выборах все эти Блюмы делали чорт знает что.

9 Дек/абря/ переписал начисто «Три рубля». Писал 4 и 5-го.

Перечитываю Чехова. Очень хороша «Жена». Какая была всяческая опытность у него уже в те годы! Всегда этому дивился и опять дивлюсь. Удивительны и «Скучн/ая/ история» и «Дуэль».

С 28 ноября приказали опять полное затемнение. Ночи стоят лунные, прекрасные и очень холодные.

В конце ноября зверства в Румынии.

15. XII. 40. Воскр/есенье/.

Позавчера поразила ночь, — оч/ень/ мало звезд, на юге невысоко лучистый, не очень ясно видный голубыми брилл/нантами/ играющий (только он один) Сириус, луна оч/ень/ высоко почти над головой как золотое солнце (шаром), высоко на западе (оч/ень/ высоко) золотой Юпитер, каменная неподвижность вершин деревьев...

Вчера завтракал в Карльтон'е у Гукасова.²⁸ Богатство вестибюля, рестор/анная/ зала, много богатых американцев и англич/ан/. Меню как будто нет войны. Две бутылки «папа Клеман». Солнечно, прекрасно. Оптимизм Гукасова.

Ничего не могу писать...

Разгром итальянцев в Африке и в Албании продолжается. 26000 пленных в Африке.

Вчера был у доктора Шарле на счет глаз. И он приказывает носить очки (для дали) *постоянно*.

Живем очень холодно и очень голодно.

Нынче неожид/анная/ новость: выкинут Лаваль. Путаное, непонятное обращение к Франции в связи с этим маршала. Что-то случилось. Что?

18. XII. 40. Среда.

Дня два было сыро и очень холодно. Вчера опять солнечно, тихо, свежо. Нынче тоже. И от этого, как часто, еще грустней. Страшное одиночество...

Англичане и греки продолжают бить итальянцев — в Албании и в Африке. Позавчера московск/ое/ радио сообщало вечером, что англич/ане/ взяли в Африке в плен 50 тысяч итальян/цев/.

20. XII. 40.

Серо, очень холодно. В доме от холода просто невыносимо. Все утро сидел, не отдергивая занавеса в фонаре, при электричестве.

Едим очень скудно. Весь день хочется есть. И нечего — что кажется очень странно: никогда еще не переживал этого. Разве только в июне, в июле 19 г. в Одессе, при большевиках.

22. XII. 40.

Было солнце и облака. Прочел «Исполнение желаний» Каверина («советский»). *В общем* плохо.

Письмо от Алданова из Лисабона (послано 13 Дек/абря/). Цетлины тоже в Лисабоне, визу в Америку еще не получили. Алдановы уезжают 28 Дек/абря/.

²⁸ А. О. Гукасов.

30. XII. 40.

Почти все время солнечно и морозно. Дня три лежал снег (в полвершка), в тени до сих пор не совсем стаял. В доме страшный холод, несмотря на горячее солнце (особенно у меня в фонаре). Голодно.

Поздно вечером в Сочельник вернулся из Ниццы Бахрак. Слухи о Лавале, твердости Петэна. ...Ничего не могу писать.

Рождество было нищее, грустное, — несчастная Франция!

Читал последние дни «Василия Теркина» Боборыкина. Скука адова, длинно, надумано...

Продолжал перечитывать Чехова. За некоторыми исключениями, все совершенно замечательно по уму и таланту. «Иванов» совершенно никуда.

31. XII. 40.

Гораздо теплее, даже некоторое весеннее тепло.

(Продолжение следует)

Милица Грим

ИЗ ПЕРЕПИСКИ З. Н. ГИППИУС С М. Л. КАНТОРОМ

(1927—1936)

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

В архиве М. Л. Кантора (см. мои публикации из него в №№ 107 и 108 «Нового Журнала») сохранилось 11 писем и открыток З. Н. Гиппиус, относящихся в большинстве к 1927 году — времени ее сотрудничества в журнале «Звено». Журнал этот, основанный в 1923 г. П. Н. Милюковым и М. М. Винавером, выходил сначала еженедельно — в виде своего рода «литературного приложения» к ежедневной газете «Последние Новости». С какого-то времени М. Л. Кантор имел ближайшее отношение к редактированию его, а после смерти М. М. Винавера в 1926 г. стал единоличным редактором. С 1 июля 1927 г. журнал перешел на ежемесячное издание и в такой форме продолжал выходить до июля 1928 г. В «Звене» сотрудничали многие зарубежные писатели, как старшего поколения, так и молодые. Одним из ближайших сотрудников его был Г. В. Адамович, и в архиве М. Л. Кантора сохранилось много его писем.

З. Н. Гиппиус должна была часто встречать М. Л. Кантора на своих «воскресеньях», а также в других русских домах в Париже, но постоянной переписки между ними не было. Кроме писем 1927 г. по «Звену», в архиве Кантора сохранилось одно письмо З. Н. Гиппиус 1934 г., связанное с участием ее в журнале «Встречи», а также одно короткое письмо и одна открытка, написанные из Италии в 1936 г., в которых — правда, мимоходом — отразилось отношение Мережковских к фашистскому режиму Муссолини. Мы печатаем в хронологическом порядке все эти письма, а также три письма М. Л. Кантора к З. Н. (№№ 1, 3 и 4) без которых не все в письмах З. Н. было бы понятно читателю. Письма М. Л. Кантора сохранились в виде сделанных им от руки, наспех, для себя, копий.

Письма З. Н. Гиппиус №№ 2, 5 и 6 бросают интересный свет на одно ее сравнительно мало известное прозаическое произведение — серию рассказов под названием «Мемуары Мартынова».

Письма сопровождаются краткими пояснительными примечаниями, рассчитанными главным образом на тех читателей в Зарубежье, которые сравнительно мало знают о жизни русской эмиграции до Второй мировой войны, а также на читателей в СССР, знающих о ней еще меньше.

Г. С.

№ 1: М. Л. КАНТОР—З. Н. ГИППИУС

20.1.27.

Глубокоуважаемая] З[инаида] Н[иколаевна].

После нашего собрания в понедельник мне пришла в голову мысль, что по какому-нибудь из поднятых в тот вечер вопросов Вы, вероятно, не отказались бы написать что-нибудь для «Звезда». Правда, беседа наша не носила систематического характера, но все же мне представляется, что затронуты были некоторые основные и мало освещенные проблемы, связанные с романом, и что остановиться на них поподробнее безусловно стоило бы. Если предложение это Вам улыбается, то я не буду связывать Вас сроком и когда бы Вы ни дали нам статью, мы всегда будем ей очень рады. Просил бы Вас только не отказать написать мне о Вашем решении.

Закончена ли Ваша большая повесть, о которой мы с Вами как-то говорили?

Искренне уважающий Вас и преданный

[М. Кантор]

№ 2: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

28-I-27, Париж.

Многоуважаемый Михаил Львович,

Посылаю вам заметку, — это всё, что я могла написать... и то не о «романе», а лишь «около» романа. Уж очень зыбкая тема...

Затем вот что: я читала Георгию Викторовичу маленький рассказ, который он мне предложил переписать к воскресенью и передать ему для вас. Я согласилась. Но сегодня, в связи с

вашим вопросом в последнем письме, мне пришло в голову: может быть вы предпочтете иметь всю серию рассказов? Они объединены общим заглавием «Мемуары Мартынова» и в 20-ти строках предисловия объясняется, почему М[артынов], «обыкновенный человек, интеллигент, по профессии... ну хоть свободный философ», решил писать мемуары особого рода: мемуары своих любовных историй. Затем начинаются эти очень коротенькие истории-рассказы, совершенно самостоятельные. каждый под своим заглавием. Рассказ, кот[орый] я читала Ад[амови]чу — уже пятый. Серию можно прервать когда угодно, и можно печатать последовательно, ну, скажем, через №, или когда у вас не будет другого материала. (Памятую вечную заботу Макс[има] Монс[еевича] о беллетристике.) То, что я вам предлагаю — гораздо более, по форме, подходит для Звена, чем большая повесть, о кот[орой] я думала и вы спрашивали. (Она не копчена). Тем более, что серия эта будет продолжаться (пока V — последний), а сюжет всегда забавный, особенно если с перерывами печатается. Минус (для вас) этого предложения — это не пониженный, а обычный гонорар.

Словом — предоставляю дело на ваше усмотрение. А меня только прошу известить, как вы решаете.

Сердечный привет.

З. Гиппиус

Р. S. Все автобиографические подробности об А. Крайнем в начале заметки абсолютно соответствуют действительности.

№ 3: М. Л. КАНТОР—З. Н. ГИППИУС

Париж, 29 января 1927.

Глубокоуважаемая Зинаида Николаевна,

Я собирался завтра зайти к Вам, но, к сожалению, вижу, что мне это не удастся: очень много срочной работы.

Благодарю Вас за интереснейшую статью о романе. Что касается рассказов, то Вы, пожалуй, правы, что ряд отдельных рассказов, хотя бы и связанных внешне общим заглавием и впутренне единством темы, но все же самостоятельных по сюжетам — удобнее для Звена, чем большая повесть. Буду весьма признателен Вам, если Вы передадите Г[еоргию] В[икторовичу] — или пришлете, как Вам удобнее — готовые уже рассказы. Мы начнем их печатать, как только пропущу ту беллетристику, в

отношении которой я уже связан сроком (2-3 номера), и будем помещать их с небольшими перерывами, как Вы предлагаете.

[М. Кантор]

№ 4: М. Л. КАНТОР—З. Н. ГИППИУС

6.II.27, portée à la main.

Глубок[уважаемая] З[инанда] Н[иколаевна]

спасибо за введение к рассказу, которое передал мне Г[еоргий] В[икторович]. Я вижу, что Вы решили сохранить цифру V, и, признаться, это меня смущает. Смущает прежде всего потому, что читатель будет недоумевать, почему «мемуары» начинаются с V главы, а, во-вторых, потому, что может получиться впечатление, будто выбор данного рассказа не случайный, предположение, которое ведь нежелательно именно из-за некоторой «рискованности сюжета». Простите, что вновь беспокою Вас по вопросу, о котором мы уже имели случай беседовать, но мне казалось бы, что лучше было бы, если бы можно было поставить над рассказом цифру I. А если это невозможно, то не пустить ли все-таки первым *первый* рассказ, а пятый напечатать в естественную очередь. Я мог бы принять экстренные меры в типографии и сговориться о том, что рукопись будет доставлена во вторник утром, если только это срок достаточный для переписки набело первого рассказа. Очень обяжете меня, если сообщите Ваше решение.

[М. Кантор]

№ 5: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

7-2-27, Париж.

Многоуважаемый Михаил Львович,

Уж не испугались ли вы — узнав от Г[еоргия] В[икторовича] какое волнение и «борьбу психологий» произвел мой рассказ вчера у меня? Для меня тут ничего неожиданного не было, вплоть до «импрессионизма» Дм[итрия] С[ергееви]ча. Этот его импрессионизм, впрочем, давно всем, как и мне, известен.

И я шучу, конечно, говоря, что вы «испугались»: замечьте, это ваше сегодняшнее письмо — это только ответ на мое-же предложение, которое я все время поддерживала, и основания у меня были те-же. Я считала: или рассказ можно напечатать совершенно *безотносительно* к целому, без всякой связи с «Мемуа-

рами», или включить его в серию других, поставить его на пятом, м.б. на *четвертом* месте, т.е. во всяком случае не раньше трех первых, отчего он только выиграет. И лишь уступая настояниям Г[еоргия] В[икторови]ча, я согласилась сделать общее введение, напечатать рассказ в первую (неестественную) очередь. Г[еоргий] В[икторович], не зная целого, мог и не представлять себе основательности моих возражений, — как раз тех, которые делаете и вы. И я очень рада, что мы с вами тут сошлись. Вы были, кроме того, правы сразу и в том, что рассказ требует маленьких фактических точек над «и». Я это сильно подзревала, но два моих советчика уверяли, что не нужно. Теперь и они должны признать эту необходимость (после вчерашних gaffes... не «простых», кажется читателей).

Итак, практически: завтра утром, во вторник, я вам (на вашу квартиру) пришлю первый рассказ «Сашенька», очень коротенький. Затем позабочусь о втором «Скандал» и о третьем «Смирение», после которых можно поставить и «Ты — ты», с крошечным «обострением» для не предупрежденных. А в дальнейшем, после нескольких загадок, уже все будет ясно. 4-ый рассказ («Горный кизил») не имеет значения в этой цепи, его можно поставить куда угодно.

В случае, если у вас с типографией не выйдет и «завтра» будет поздно (а раньше я *никак* не могу успеть с перепиской) — пустите рассказ *безотносительно*, сохранив имеющееся у вас предисловие для будущего (и отрезав нижний кусок). Но это, конечно, было бы жаль.

Сердечный привет. Ваша З. Гиппиус

№ 6: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович,

По сегодняшнему объявлению о «Звене» я вижу, мы таки не успели с вами договориться, как *в полном* использовать «Мемуары Мартынова» (в интересах «Звена»). Я очень прошу вас заметить, что я, в данном случае, исключительно с точки зрения этих интересов говорю, т[ак] к[ак] мои личные ничем не затронуты. У нас с Макс[имом] Моисеевичем разговор о «длинной вещи» для Звена был начат объективно, т.е. когда еще о «моей» ни у кого из нас и мысли не было (и таковой не существовало). Мы говорили, что т[ак] к[ак] теперь все газеты начали печатать фельетоны, нарицательно — «Деревянная нога», то и «Зве-

ну» надо этой полезной модой воспользоваться, но только, ввиду несколько высшего, в культурном отношении, положения журнала, хорошо бы «щегольнуть» оригинальной Деревянной Ногой, а не «переведенным» иностранным бульваром. Но предполагалось, что эта «щегольская» нога будет иметь вид и длительности, а также интересности ноги обыкновенной. Потом уж, в поисках этой Ноги, я вспомнила, что у меня есть что-то вроде нее, начатое и неконченное. М[аксим] М[онсеевич] так обрадовался этой мысли, что в одном из последних писем просил меня прислать «как можно скорее» хотя бы начало. Я не успела ему ответить, что это для меня затруднительно, и что придется подождать. Но вы видите, из этого, что М[аксим] М[онсеевич] стоял за вид *цельной* и *длительной* вещи, сказав даже, что хотя сначала, первые годы, он этим затруднялся (переносом в след[ующий] №, но в некотором отношении можно теперь сделать перемену. Заходил даже вопрос о создании «подвала» в Звене (по это техника).

Все это я вам пишу вот для чего: о наших разговорах я вам упоминала вскользь, так как эти проекты, с кончиной М[аксима] М[онсеевича], считала не актуальными: к тому же повесть моя осталась далеко не конченной и не обработанной. Но вот, к тому времени, как вы о ней (о «длинной» вещи) напомнили мне, у меня оказались «Мемуары Мартынова», по счастливой случайности как нельзя более отвечающие, формой, Звену: т.е. цельная, длинная вещь — с *естественными перерывами*. Мне и казалось, что в интересах Звена не следовало бы затирать ее цельности (опять не столько в интересах автора, сколько в интересах журнала). Не следовало, благодаря естественным перерывам, сводить ее просто к случайным моим рассказам, каковые и раньше иногда в Звене бывали. Напечатав просто «*Сашенька*» (*рассказ*), вы, по моему, так и сделали, не подчеркнув для читателя того единства вещи и героя, которое имеет для него свою ценную сторону. Стереть цельность — легко, но нужно ли? А не трудно и сохранить, ставя, между прочим, всегда заглавие, а не один подзаголовок. Сохранение отличало бы эти «главы» от прочих рассказов Звена, и необходимая Звену «отдельность» каждого рассказа от этого не пострадала бы. Я, между прочим, и этими соображениями руководствовалась, стремясь начать «сначала», а не с V рассказа.

Простите эти рассуждения; повторяю, что они вполне объ-

ективны и были бы те же, если б вещь была не моя. А наконец, может быть я и не права.

Ужасно мне неприятен инцидент «Бахтин-Ходасевич» и вид глупого положения, на которое меня Бахтин толкает, но которого я определенно *не* принимаю: положение «выбирающей» между ними. Кроме того я чрезвычайно хорошо отношусь к Бахтину (Д[митрий] С[ергеевич] тоже) и отнюдь не желаю его «лишаться». А тут еще злостная случайность мешает мне быть на его первой лекции!

Сердечный привет. З. Гиппиус

Надеюсь, зайдете в воскресенье.

№ 7: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

11-3-27, Париж.

Дорогой Михаил Львович,

Особенно хотелось бы, чтобы вы удосужились заглянуть к нам в это воскресенье, послезавтра. У нас будет Фондаминский, который, к сожалению, уезжает раньше след[ующего] собрания З[еленой] Л[ампы], где, однако, мы хотим подвергнуть критике его прошлую речь (если у З[еленой] Л[ампы] и может быть подход к обществу, то *не* помимо литературы, а через нее, неправда ли?).

При возможности скажите Бахтину, что «все обо всем были» и что ему естественно тоже притти, ибо очень естественно и нужно говорить в этот раз на З[еленой] Л[ампе].

Сердечный привет. З. Гиппиус

Р. S. Передайте нашу просьбу притти и Георгию Викторовичу, который нынче стал «манкером» воскресений. Вот тебе и «метафизика»!

№ 8: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

11-3-27, Париж.

Дорогой Михаил Львович,

Почти в ту же минуту, как мы с вами условились насчет пятницы, я с досадой вспомнила, что у меня именно в пятницу в 5 ч. есть неприятное дело в городе. И такая вся эта неудачная неделя, — в смысле «дней», ибо если б вы нашли ваш вечер свободным в четверг или в пятницу, — или даже часок свободны, *avant-soirée* — я была бы очень рада. Мне тоже хотелось бы,

и весьма, с вами поговорить. Черкните мне *par tube*, выйдет ли это, и когда именно.

Сердечно ваша, З. Гиппиус

Если «выйдет», скажем в четверг, и если вернулся Г[еоргий] В[икторович], может быть вы и его захватите? Предложите ему *si cela vous chante*, вам обоим.

№ 9: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

5-5-27, Париж.

Дорогой Михаил Львович,

Нисколько не поздно, буду вас ждать в пятницу между 10 — и даже — 11. А то опять неизвестно, как сложится будущая неделя.

Ваша З. Гиппиус

№ 10: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

[Б. д., штемпель — как будто 27-5-27].

Дорогой Михаил Львович,

Я написала небольшую статейку, кот[орую] собственно предназначала для П[оследних] Н[овостей], но, кончив ее, подумала, что она может пригодиться вам. Это, — по поводу Линдберга, — несколько картинок — исторических — летанья. Думаю, что и по тону эти «картинки» вам бы подошли. Но т[ак] к[ак] тема злободневная, то заметку следовало бы пустить в ближайший №; и если почему-нибудь этого нельзя, номер у вас уже готов, или мало-ли! то известите меня поскорее, чтобы я могла послать рукопись Игорю Платоновичу.

Жду, значит, вашей строчки, а в воскресенье — вас.

Искренно Ваша З. Гиппиус

[Сверху, в левом углу]: Заметка называется «На моих глазах».

№ 11: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

15-6-27.

Дорогой Михаил Львович,

Конечно, если вам так удобнее, — почему же нет? Если я вам предложила последний № прежнего вида, то именно в целях закругления, законченности.

Не могу не выразить своего вполне объективного огорчения,

которое я... вернее, Ант[он] Крайний испытал при чтении двух последних в Звене рассказов. Откуда вам их Бог (или лукавый) послал? Они так различно (и одинаково) плохи, что критик затруднился бы даже сказать, который хуже. Не «Финики» ли? Ох, пожалуй.

Простите, что пишу вам это, но с тех пор, как А. Кр[айний] выступил против дружественной ему редакции на защиту Звена, он не может не ревновать о Звене и Финиками — вчуже не огорчаться. Таково объяснение.

Мы уезжаем в субботу, вероятно; эта задержка меня ужасно утомила. Очень хочется вырваться из Парижа; думаю и вам тоже, и от души желаю вам хорошего отдыха. Адрес наш:

Villa Tranquille, rue Jérôme Czernovsky, Le Cannet (А. М.).

Насчет фамилии Жерома я, кажется, вру, но это не важно. Сердечный привет от Д[митрия] С[ергеевича] и от меня.

Ваша З. Гиппиус

От 1927 года сохранилось только еще коротенькое письмо Д. С. Мережковского из Ле Канне:

№ 12: Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ—М. Л. КАНТОРУ

12.XI.27

Глубокоуважаемый Михаил Львович,

очень прошу Вас отправить прилагаемое письмо Г. В. Адамовичу, адреса которого я не знаю. Мы возвращаемся 14 Ноября и надеемся скоро Вас повидать.

Искренне Ваш Д. Мережковский

№ 13: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

19-1-34.

Дорогой Михаил Львович,

Я всю неделю в нездоровьи и едва что-то пыталась мазать (не об А[ндрея] Б[елом]), не кончила; но к полному окончанию и нельзя притти, было-бы слишком длинно). К полу-концу я, может быть, приду, если в ближайшие дни буду лучше себя чувствовать. Тогда вы получите это мазанье не позже *понедельника*. Буде же не получите — значит предестинация. И, пожалуй, к лучшему, ибо за такое мазанье Фил[ософов] будет вянще браниться... но лишь тогда будет прав.

А в конце концов, правы, конечно, вы: «Встречи» в чужом пиру похмелье. Да что им до пир «Молвы»?

[Подписи нет, но на обороте секретки
— адрес отправителя].

№ 14: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

15 Окт[ября] 36, Пансион Пичиоли, Флоренция.

Дорогой Михаил Львович,

Посылаю заметку, для скорости — по воздуху, очень буду рада, если запоздание мое не окажется роковым. Во всяком случае еще раз прошу его простить. Оба мы, я и Д[митрий] С[ергеевич], шлем вам самый сердечный привет из «страшной фашистской» Италии — такой «страшной», что мы, за три месяца в тосканской деревне, наслаждаясь общим “расе” и приветливостью крестьян, ни о каком fascio ни разу и не вспомнили! Tutto va bene, чего и новому моему «дому», Франции, очень бы я желала!

Ваша З. Гиппиус

Известите меня о получении рукописи, пожалуйста!

№ 15: З. Н. ГИППИУС—М. Л. КАНТОРУ

14-10-36, Ровета.

[Открытка с видом источников в Сан-Джиминьяно].

Дорогой Михаил Львович,

простите, ради Бога, что я запоздала, завтра высылаю рукопись из Флоренции, куда мы уезжаем (Пансион Пичоли). Только forse majeure, и даже не одна, заставила меня так медлить. Очень буду огорчена, если, ради задержки, не попаду в сборник. Когда получите рукопись, известите. Копии у меня нет, да здесь нет и переписчиков. Поклон и приветы от нас обоих.

Ваша Z. Hippius

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМАМ З. Н. ГИППИУС К М. Л. КАНТОРУ

№ 1: «После нашего собрания...» — речь идет о собраниях на квартире у Мережковских. См. о них в книге Ю. К. Терапиано «Встречи» (Нью-Йорк, 1953). «...большая повесть» — о чем именно идет речь, мы не знаем.

№ 2: «Посылаю Вам заметку...» — небольшая статья З. Н. «Около романа», по поводу доклада К. В. Мочульского «О романе», была

напечатана в № 210 «Звена», от 27 января 1927 г. См. также письмо № 3.

Георгий Викторович — Адамович.

«Мемуары Мартынова» — см. письма №№ 3, 4 и 5 и примечание к письму № 5.

№ 5: *Дмитрий Сергеевич* — Мережковский.

«*Уж не испугались ли вы...*» — на собрании у них на квартире в воскресенье 6 февраля, на котором М. Л. Кантор, очевидно, не был, З. Н. читала один из рассказов из серии «Мемуары Мартынова», о которой она писала в письме № 2. Очевидно, это был тот рассказ, который она сначала думала напечатать первым под цифрой «V» и который назывался «Что это такое?» Перечисленные в этом письме четыре рассказа — «Сашенька», «Скандал», «Смирение» и «Ты — ты» — были напечатаны в №№ 211, 215, 217 и 225 еженедельного «Звена» под общим названием «Мемуары Мартынова». Первому рассказу было предпослано небольшое вступление. Рассказ «Горный кизил», как будто не входивший в серию «Мемуаров», был напечатан в 1927 же году в № 17 журнала «Иллюстрированная Россия». Позже в том же году в «Звене», в первом номере ежемесячного издания (июль, 1927), появился еще один из рассказов этой серии. Он назывался «Что это такое?» и носил подзаголовок «Из мемуаров Мартынова». Сюжетом его была одновременная любовь Мартынова к дочери и матери, причем по этому поводу сам Мартынов иронически вспоминал Хлестакова. Последний рассказ из той же серии, и самый длинный из всех, назывался «Перламутровая трость» и был напечатан много позже в журнале «Числа» (№ 7/8, 1933). Действие в нем происходит в Сицилии, и все персонажи, кроме самого Мартынова и рассказчика (в этом рассказе он имеется) — иностранцы: итальянцы, англичане, американцы, немцы, венгерцы. В недавно вышедшей американской книге о З. Н. Гиппиус Темиры Пахмусс библиографические данные об этих рассказах приведены не совсем точно.

«*Деревянная нога*» — так назывался один из переводных романов — в данном случае, кажется, популярного английского писателя Эдгара Уоллеса (1875-1932) — печатавшихся фельетонами на последней странице в обеих русских ежедневных газетах в Париже, «Последних Новостях» и «Возрождении». Романы эти были очень популярны у широкого читателя обеих газет (в «Последних Новостях» их переводил Н. П. Вакар), но вызывали ироническое отношение в литературных кругах. З. Н. употребляет название насмешливо-собираательно.

Максим Моисеевич — Винавер (1863-1926), известный адвокат и общественный деятель, член Первой Гос. Думы, кадет. Вместе с П. Н. Милюковым основал «Звено» и до самой смерти был его редактором.

№ 7: *Фондаминский (Бунаков), Илья Исидорович (1879-1942)* — один из редакторов «Современных Записок», эсер. Погиб в гитлеровском лагере.

Инцидент «Бахтин-Ходасевич» — столкновение между Н. М. Бахтиным и В. Ходасевичем произошло, насколько нам известно, на чисто-личной почве. Хотя Ходасевич и грозился уйти из Зеленой Лампы, инцидент был улажен при посредничестве других членов Лампы.

«...все обо всем забыли...» — относится, очевидно, к тому же инциденту.

№ 8: “par tube” — т.е. пневматической почтой.

№ 10: «...небольшую статейку...» — заметка под названием «На моих глазах», о перелете Линдберга из Америки в Европу была напечатана в № 227 «Звена» от 5 июня 1927 г. В ней З. Н. рассказывала о виденных ею еще в 1907-1909 гг. полетах, в частности, о полетах знаменитого Латама в Берлине. Она писала: «Есть такое особое над-человеческое волнение: над-корыстное, над-личное, над-национальное, но очень земное, все-человеческое. В нем ощущаешь себя частью всего человеческого. В порядке разума оно не лежит...» И З. Н. говорила, что хочет «проследить одну из его бесчисленных линий». Она писала также: «Только бы помнили мы, не забывали, что всякая ‘наша’ победа над материей мира может, по нашей же вине, обратиться в поражение, и тем более страшное, чем победа будет более великой». Эпиграфом к статье были даны строки (самой З. Н.):

...Его туманные винты

Как две медузы дымнострейны.

Игорь Платонович — Демидов (1873-1946), помощник П. Н. Миллюкова по редактированию «Последних Новостей». До революции — кадет, член Гос. Думы.

№ 11: «...последние №№ прежнего вида» — с 1 июля 1927 г. «Звено» перешло на ежемесячное издание и изменило формат. Журнал прекратился в 1928 г.

«Конечно, если Вам так удобнее...» — речь идет, очевидно, о последнем напечатанном в «Звене» рассказе из «Мемуаров Мартынова». З. Н. хотела, повидимому, чтобы он появился в «старом» «Звене», до перехода на ежемесячное издание. Кантор же предпочел дать его в первом номере нового, ежемесячного издания, где он и был напечатан на стр. 32-39, с подзаголовками: «(Из мемуаров Мартынова)» и «Рассказ».

«Два последних в «Звене» рассказа» — «Финики» Н. Д. Городецкой (в № 228, от 12 июня) и, вероятно, «Неудачный день» Георгия Евангулова (в № 227).

№ 13: В этом письме идет речь о том, что З. Н. согласилась написать для журнала «Встречи», который в течение полугода в 1934 г. выпускали М. Л. Кантор и Г. В. Адамович. Первоначально предполагалось, что она напишет об Андрее Белом, незадолго до того скончавшемся. Но вместо того она написала небольшую статью под названием «Встречи и свобода» — по поводу «воскресений», петербургских и парижских, у них, Мережковских. Статья эта была напечатана в № 2 «Встреч» (см. мою публикацию переписки Г. В. Адамовича и М. Л. Кантора по «Встречам» в кн. 109 «Нового Журнала»).

№ 14: О какой заметке и для какого сборника идет речь в этом и в следующем письме — неясно. Возможно, что об альманахе «Круг». В первой книге этого альманаха не было ничего написанного З. Н. Не было ничего и во второй. В третьей книге, вышедшей только в 1938 г., был напечатан доклад З. Н. в «Зеленой Лампе», под названием «Черты любви». Едва ли однако в 1936 г. речь шла об этой вещи. Еще менее вероятно, что могла идти речь о статье «Опыт свободы», которая появилась в вышедшем только в 1939 г. сборнике под редакцией З. Н. и Д. С. Мережковского под названием «Литературный смотр».

ТОЛЬКО ВЕРОЙ

Эти слова, в заголовке, взяты у Льва Шестова: так озаглавлена одна из его книг, часть которой вышла на французском языке через двадцать лет после его смерти («Sola Fide», 1957, Париж).*

Шестов в свою очередь взял эти слова — у Лютера. Но они хорошо подходят к теме моих заметок, в которых я обращаюсь и к размышлениям Шестова в другой его работе.

Тема заметок возникла давно, в разговорах больше чем сорокалетней давности, но я вряд ли вернулся бы к ней, если бы не совсем недавние напоминания в двух книгах. Одно — очень талантливый и интересный рассказ Л. Ржевского, с весьма современным названием — «Симпозиум», которые так любят созывать ныне те или иные специалисты; рассказ напечатан в 109 книге «Нового журнала».

На этот раз «симпозиум» был посвящен Достоевскому и состоялся в старом европейском городке, куда отправились рассказчик Дабль, — от его имени ведется рассказ, — и его собеседник Сергей Сергеевич, человек остроумный, едкий и язвительный. Оба они тоже участники «симпозиума», на котором, как и полагается, говорилось много глупостей и у Сергея Сергеевича не было недостатка в поводах для упражнения в язвлении и красноречии, — он, как заметил Дабль, за словом в карман не лазил.

Пересказывать рассказ однако нет нужды, отмечу лишь то, что и автор назвал самым главным, в последней главке. В ней Сергей Сергеевич обращается к самому Достоевскому, к его тени, явившейся собеседникам, с жаркой, по сути обвинительной речью: откуда он приписал русскому мужику высокое духовное совершенство, гуманность, даже аристократизм и прочие отличные свойства, тогда как спустя всего полстолетие, в революцию, мужик воочию показал, что начисто их лишен?

* Шесть глав из этой книги были напечатаны в альманахе «Мо-сты», №№ 9, 10, 1962-63, Мюнхен.

Почему выдумал, что русский народ — богоносец, идея которого будто бы заключена в служении Христу, в жажде подвига за Христа, в любви к ближнему, что он самый религиозный народ на свете, — а народ этот разрушил свои храмы, другие превратил в конюшни, клубы, склады, неистово и бессмысленно истреблял своих братьев и наставников, учивших его духовности и давно отвернулся от Христа?

Долгая, горячая и убедительная речь Сергея Сергеевича заканчивается кульминационным вопросом: «Возможно ли возрождение?... Что есть и что будут русские? Действительно ли от них ждать спасения мира, или они только нелепое бродило для огромной вселенской квашни Зла, удобрение для посева разложения и гибели человечества? Вот вопрос, и ты, зачинщик его, не можешь избежать ответа!»

Тень Достоевского, оказавшаяся, как видим, на месте Христа в «Легенде о Великом Инквизиторе», не отвечает. Вдруг гаснет свет, — а когда вспыхнул вновь, тени писателя уже не было, а обличавший его воскликнул:

«— Вы видели? — задыхаясь, повернулся ко мне С. С. — Он положил мне на плечи руки и поцеловал в губы. Видели???»

Но рассказчик, Дабль, этого эпизода не видел...

Другое напоминание встретилось во «Второй книге» воспоминаний Надежды Мандельштам, вышедшей тоже в прошлом году. В этой во многом замечательной книге автор, говоря о своеволии, пишет о себе и Анне Ахматовой:

«Мы вместе перечитывали Достоевского в Ташкенте и поражались силе его прозрений и невероятным провалам Достоевского-публициста с его ненавистью к католицизму, убогим почвенничеством и мужиком Мареем, 'Оба они ересиархи', — говорила Ахматова про Достоевского и Толстого. Она сравнивала двух величайших русских мыслителей с двумя башнями одной постройки: оба искали спасения от надвигающейся катастрофы. Суть катастрофы понял Достоевский, а не Толстой, но в рецептах спасения каждый из них оказался глубочайшим своевольцем... Воспитывать мужика Мареев, как предлагали западники, или учиться у него, как настаивал Достоевский, в равной степени было безумно. Неизвестно, чему научит Марей, хотя он бывает иногда удивительно добрым, а еще чаще — просто ласковым. Пока Марей не выйдет из себя, он отличается

невыносимым терпением, и мне кажется, что терпение и страдание... запутавшиеся люди отождествили с верой...

Вот так легко отнеся и Достоевского к «запутавшимся», жена трагически погибшего поэта бесповоротно осудила его как публициста. Но можно ли отделить публициста от художника? Недавно кто-то справедливо заметил, что разделение Толстого и Достоевского на художника и проповедника или публициста искусственно и несостоятельно: оба они в художественных произведениях неизменно отражали свои воззрения, те же, что и в публицистике, но делали это тоньше, глубже, в слиянии с жизненной правдой, — в публицистике получалось резче, грубее, острее, почему и режет слух. Защищаясь, мы производим операцию, делим каждого на две части, но разве, осуждая за одну часть, мы тем самым не осуждаем писателя вообще?

Категоричность суждений об «убогом почвенничестве» и «мужике Марее» в книге Надежды Мандельштам, на мой взгляд, все же несколько смягчается неоднократными ссылками на свой тяжелый путь и встречи на нем с не раз бескорыстно помогавшими ей простыми людьми, с Мареями и Марьями из деревень и рабочих поселков. Иногда она и не смешивает их в кучу, разделяет своевольников и жертвы, но подводя требуемую черту, как-то сводит всех в дикий «народ», который, в общей куче, чуть ли не оказывается главным виновником катастрофического провала, поглотившего вдохновенную веру Достоевского.

Поспешным обобщением грешит и Сергей Сергеевич (это не только литературный персонаж, его настроения разделяются многими, почему о них надо говорить), в «Симпозиуме» Л. Ржевского. Автор очень четко показал нам и его, и Дабля: они, как и Н. Мандельштам, наши современники, люди XX века — и потому, как все мы, разве лишь полухристиане или христиане только по названию, а не по вере. И ничего не меняет, что Сергею Сергеевичу показалось, будто тень писателя поцеловала его (честный Дабль заявил, что этого не видел): ведь не в данной реминисценции, а в знаменитой «Легенде» поцелуй Христа может означать прощение, но никак не оправдание Великого инквизитора. Тут тем более: и речь идет все же совсем о другом, не сходном, и не может же Достоевский заменить Христа, это было бы просто кощунством! Беда однако

в том, что в XX веке мы теряем способность ощущать недопустимость подобных подмен и автор рассказа верно, для полувверия или псевдоверы Сергея Сергеевича, нам это подчеркнул.

В обличительной речи Сергей Сергеевич, среди прочего, говорит:

«Скажи: за двенадцатью разбойниками ты и сейчас видишь еще Иисуса, как его видел Блок — самый близкий тебе знаменосец духа смутного нашего времени?»

Тут тоже смешение несовместимого, однако полувер этого уже не видит. Для Блока, поэта несравненного, но больного человека больного же века, которого так зло изругал Бунин в своих воспоминаниях в частности за кошунства, за святотатство, Христос перед «двенадцатью» — только символ, тогда как у Достоевского Он всюду — Истина, Спаситель, Открывший Свет. Здесь совершенно разные явления. В одном случае — игра ума, и как часто нездоровая, пустая подмена придуманной схожестю, сомнительными символами, когда ими подчас забавляются, — в другом мучительное, до непереносимости накаленное взыскание правды, обращение к последней инстанции, выше и больше которой нет и не может быть уже решительно ничего — к Полноте Истины.

Для Сергея Сергеевича все это, очень может быть, пустой звук. В другом месте на слова Достоевского: «Как в святыню верую в душу народную», он, прокурорски уверенный в своей правоте, замечает, как приговор выносит: «Веровать — не значит знать». Но вынес он приговор самому себе, показав, что и тут подмена, что верит он не в Христа, а лишь в знание, в науку.

Скромный Дабль в кротости своей откровенно обнажает язву времени, говоря: «...на самом деле любить ближнего неосуществимо, но жалеть, жалеть!» — очевидно не замечая, что это ведь отрицание Благой Вести, основы христианства, состоящей в завете Христа: любите ближнего своего, как самого себя. Может ли быть христианство без этого? У Дабля и Сергея Сергеевича, людей XX века, получается слишком уж ревизованное, модернизированное, сниженное христианство, — а может быть это уже антихристианство, вера в «Того, Другого»?

Как же люди такой «модерной» веры, где Христос и Антихрист чудовишно переплетены, где их могут своевольно менять местами, способны воспринимать веру Достоевского, у

которого такой подмены быть не могло? Как решаются они судить его за его веру, требовать за нее к ответу?

**
*

За годы скитаний на севере, в Соловках, на Сысоле, на Ухте и Печоре, потом на Оби, Иртыше, по лагерям и следственным и пересыльным тюрьмам, сколько и какого разного народа пришлось повидать! Подлинные праведники и даже подвижники, тут же отменные преступники против человека — и неоглядное море обыкновенных людей, ни в чем невиновных жертв небылого разбойного своеволия. Море тех, кто не умеет злодействовать и еще не научился изощренно ловчить, что в России до революции было не обязательно, и потому обреченных быть жертвами.

Там, в этом море, и велись разговоры, о которых я упомянул в начале, сороколетней и больше, почти уже полувекковой давности, все о том же: как могла случиться такая невероятная, трудно представимая катастрофа? Как мы, с такой большой культурой, могли сорваться, низринуться в зияющую и вонючую пропасть, захлебнуться в зловонной нечистоте? Почему так страшно подвела вера в праведность, будто бы неуничтожимо присущую народу, — разве не ошибались наши власти-тели дум и первый Достоевский среди них? Те же доводы и тот же мужик Марей мелькали в разговорах, уходивших в глубины: как не раз замечалось, тюрьмы и лагеря оставались у нас самым свободным местом, где, хотя и не всегда, можно было говорить обо всем.

Одна из особенностей тех разговоров: новички могли поначалу распаляться почти как Сергей Сергеевич, но потом, в зависимости от увиденного и пережитого, пыл у них спадал и улетучивался. Иначе и не могло быть: ведь мы видели, как тут же рядом с нами гибнет, истребляется поносимая верующая Русь.

Ее представляли тоже разные люди: от высших иерархов церкви до деревенских священников, прицерковного и монастырского люда, староверческое духовенство, верующие разных званий, больше из простого народа, защищавшие церковь и веру, сектанты разных толков, со своими наставниками и проповедниками. Загнанные в лагеря за веру, почти все они оттуда не вышли.

Резче всего подвижничество в стоянии за веру было видно у сектантов. Секты были различные, почти за полвека названия забылись, в памяти остались лишь отдельные черты. Так, были сектанты, считавшие, что нельзя разговаривать с властью, которую они полагали за сатанинскую — и добиться у них ответа представителям власти нельзя было никакой силой. Никто не знал, кто из них Иванов, кто Сидоров, откуда они, какие у них сроки: шли общим счетом голов.

Другие на все вопросы отвечали: «Бог знает», «Бог простит», «Христос спасет» — и эти десятки и сотни раз спокойно повторенные слова доводили начальство до зеленого бешенства. Но и жестокие побои, «дрыном» (тяжелой дубиной), не могли заставить их отвечать, что было нужно начальству. Ему надо было людей сломить, — сломить сектантов оказывалось невозможно, их можно было только истребить.

Многие считали большим грехом работу для сатанинской власти и отказывались работать. Что только ни делали с ними! Избиения тоже не помогали: они принимали муки, как неизбежные страдания за веру. Зимой в жестокий мороз их вытаскивали за ноги из бараков, избивали на снегу, оставляли замерзать или волочили в лес, на делянки и бросали там в снежные сугробы, иногда раздетых. Летом, в Соловках, тоже в одном белье, ставили «на комары». Потом стали расстреливать: собирали по несколько десятков человек, устраивали «суд» и за «саботаж», за «злостное нарушение лагерного режима», приговаривали к расстрелу. Во всех случаях для верующих и не изменяющих вере отказ от работы означал смерть.

Верующие это знали. Они сознательно шли по своему Крестному пути и принимали муки и смерть за веру как в первые века христианства. И без злобы, без отчаяния: лица обычно были замкнуты, но не угрюмы, не хмуры: они поднимались на Голгофу как на должное, служа Христу.

Одна группа женщин-сектанток особенно поражала. В Исаково, на Соловках, знакомый показал однажды на группку женщин, вешавших во дворе лагерное белье из прачечной. Одеты они были во все черное, как монашки, в черных же косынках, но аккуратно, чисто, не лагерно, белые лица у них светились, губы улыбались: не было ничего печального, гнетущего, напротив, от них исходило впечатление приветливости, просветленной радости.

Они не отказывались ни от какой работы и все делали по виду легко, охотно, без суеты, послушно выполняя приказы начальства, но избегали с ним говорить: в ответ лишь наклоняли головы. Они и всем отвечали односложно, больше — «Бог простит», но глядя всегда приветливо, не резко, не грубо, готовые служить всем. И эта непоколебимая приветливость, спокойная, даже вроде бы величаявая радость, в ответ на хамство, выводила начальство из себя, заставляла злобствовать. Я вспомнил этих женщин, когда читал ранее Сергея Сергеевича, что Достоевский выдумал у русского крестьянина высокое духовное совершенство, гуманизм, аристократизм и другие такие же свойства.

Сколько было такого верующего, истребленного только в лагерях православного люда? Вряд ли знает и сама истреблявшая власть. Тысячи, десятки тысяч, — может быть, не так и много, на миллионы жителей в стране. Но земля праведниками держится, а праведников немного всегда.

Истребленные и были праведниками, принявшими смерть за всех. Большею частью это были крестьяне, не богатеи, но и не беднота, трезвенники, не лежебоки: они входили в лучшую, наиболее крепкую часть деревни, кустарей, ремесленников. Эта лучшая, верующая часть и была истреблена; остатки ее выкорчевали во время коллективизации. Уничтожение ее — одна из главных причин бедственного состояния советского сельского хозяйства, до наших дней.

Этот православный народ [между прочим, в нем, в лагерях, не видно было «мыслящих братьев и наставников, обучавших его духовности»] превосходно знал барин, помещик граф Лев Толстой, дворянин Достоевский хорошо узнал его на каторге и поселении. И его неоткуда было знать ни Сергею Сергеевичу, ни Надежде Мандельштам, ни Амальрику, несчастную мысль которого о том, что русский крестьянин якобы не хочет благополучия ближнего, как эхо повторил Сергей Сергеевич. Он забыл, что Амальрик видел только разгромленную, затурканную и униженную колхозную деревню, знающую преимущественно одну высшую радость: пьянство и непотребство.

Надежда Мандельштам увидела «низы» только в тридцатые годы, когда лучшая часть была истреблена. Но все равно, это не помешало ей отнести и Толстого, и Достоевского к ересиар-

хам.* Но вот, спустя еще двадцать лет, в село попал бывший лагерник Солженицын — и нашел там Матрену, тоже праведницу, хотя может быть и не той духовной высоты, что истребленные. Свято место совсем пусто не может быть. Но как мало осталось Матрен! И как сравнительно много было их прежде!

Сергей Сергеевич тоже судит не по лучшим, а по месиву массы, по тем, кому кинули, спуская в них с цепи зверя, как разинское «сарынь на кичку», такое же разбойное: «грабь награбленное!» — и кто бросился громить и грабить добро отцов, нажитое долгими веками. После, когда лучших истребляли, Сергей Сергеевич этого не видел: ему по необходимости пришлось приспособляться к «новой жизни», а знать, что делается в тюрьмах и лагерях ГПУ, было небезопасно и во всех отношениях обременительно.

Сидя в советских узилищах, мы не могли ни осуждать Достоевского, ни рассуждать о его вере так, как делает это Сергей Сергеевич. Но и уйти от тех же «проклятых вопросов», конечно, никуда не могли.

**
*

С полгода прожил я в Соловках в памятной четвертой роте, в углу монастырских корпусов, наискосок от входа в главный на Соловках Преображенский собор. В роте жили канцелярские работники, преимущественно интеллигентные люди, все «каэры»: за «контрреволюцию», по 58 статье. Самым интересным в нашей камере-келье был пухлый, страдавший водянкой небольшого роста старик, за семьдесят, — полвека назад такие считались глубокими старцами. Из древней знатной семьи, он работал при трех императорах, был крупным сановником, близким ко двору, между собой мы звали его «сенатором». Неистощимой когда то любознательности, образование свое он закончил в Оксфорде, обладал обширными познаниями, сохранилась у него и память. Подолгу жила в Европе, говорил на многих языках, — иногда, забывшись, он обращался к нам по-англий-

* Слово это встречается во «Второй книге» и без связи с Ахматовой. К тому, что именно Ахматова назвала Толстого и Достоевского ереснархами, что допустимо, приходится все же относиться с осторожностью: из Москвы были сведения, что друзья Ахматовой не доверяют всему, что сказано во «Второй книге» о ней и о некоторых других лицах.

ски или по-французски, говорил минуту, две, потом спохватывался, извинялся и переходил на русский.

Он считался либеральным [наверно, попросту был более живым в сановном кругу] и может быть поэтому сначала его щадили: первое время сажали, таскали по чрезвычайкам, потом оставили в покое. Иезуитская подозрительность Дзержинского заставила все же упрятать старика в Соловки.

Старик был неоценимым свидетелем: он родился перед началом Крымской войны, в год смерти Достоевского ему было за тридцать. Кого только он не знал, с кем не был знаком! И на наши недоуменные вопросы не раз бывало отвечал целыми трактатами из русской и общей истории, с точными фактами, именами, неизвестными данными. Но говорил, что высказывает только свое мнение.

Мы могли понять веру Достоевского в народ, но мессианские воззрения его, уверенность, что нам предстоит сказать Европе «последнее слово», неотступно занимали нас. Они, казалось, близко сходились с тем, чем все мы обречены мучиться и о чем я уже упоминал: как могло случиться, что мы вдруг свалились в зловонную нечистоту и захлебываемся в ней? Достоевский и 1917 год оказывались будто бы неразделимыми и то, что мы хотели понять, вольно и невольно рассматривалось сквозь призму революции.

Вера в свою исключительность, непомерное превознесение себя казались нам слишком сомнительными, неоправданными. Сказать, то есть показать другим, что мы знаем что-то особое, высшее, чего не знают они, — зачем эти потуги, к чему? Учить другие народы — может быть «мировой революции», тому, что так сокрушительно обрушилось на нас? «Мировой пожар» — тоже «последнее слово». Мессианские нотки у Достоевского словно бы откликались в исступленном ленинском, большевистском мессианизме, — ни одно, ни другое принять мы не могли.

Одно время в нашей камере жил бывший полковник, продававший всю войну, а за ней и гражданскую, уже в Белой армии. Ранен он был что-то семь или восемь раз и не эвакуировался за границу потому, что долго лежал без движения в захолустном лазарете. Он багровел, когда слышал, что мы должны Европе «нести свет», в чем-то помогать: ничего мы не должны, хватит, уплатили сполна и кроме насмешек и предательства ничего за свои жертвы не видели. В первый же месяц

войны угробили в Восточной Пруссии целую армию, сознательно пошли на позор поражения, — только чтобы выручить Францию. Мы уже тогда выиграли войну тем, что сорвали немецкий знаменитый «план Шлиффена»: что было бы, если бы этот план удался? Ценой сотен тысяч своих солдат и офицеров мы перечеркнули шлиффеновский план, — а когда зазнавшиеся победители собрались в Версаль, никто и не заикнулся, чтобы позвать нас за общий стол. А история с Лениным, которому немцы дали кучу золота и доставили через Германию, чтобы он разложил нашу армию и тыл? Как могли немцы не понимать, что роют могилу не только нам, но и себе? А предательство Белых армий? Мы им были нужны, пока Германия не сдалась, из-за вспыхнувшей в Берлине революции, — после этого союзнички оставили нас на произвол судьбы. Кто выдал большевикам адмирала Колчака? Французский генералишка, служаая Ленину. Нет, нет и еще раз нет: если бы мы больше думали о себе самих, занимались больше своими делами, не было бы и этой ямы...

В гневных речах полковника были преувеличения, но была и правда, горько отзывавшаяся в нас. Она создавала наши настроения, отрицавшие мессианизм, — но не было ли в них смутного отклика тех настроений прошлого века, которые как раз и вызывали отрицаемые нами чувства своей исключительно-сти, превосходства, те же мессианские устремления?

Сенатор этим чувствам придавал мало значения. Он говорил, что они в общем есть у всех — и у католиков ничуть не меньше, чем у нас, православных. Каждый ставит свою веру на первое место. Нет ничего необычного и в том, что временами эти чувства могут доходить до предела, до экзальтации, — так произошло у нас в прошлом веке, на что были веские причины. Наш счет к католичеству велик, но никто не собирался его предъявлять: наша тяжба все больше теряла политическое значение, сохраняя значение духовное. В этом у нас резкое, неустранимое различие с большевизмом, мессианизм которого на деле остается целиком в области политики.

Главным событием прошлого века, окрасившим настроения в нем до последних десятилетий, было наполеоновское нашествие. Опустошение большой полосы России, разгром и разграбление Москвы, огромные тяготы для всего населения не могли не отразиться глубоко в сознании народа, от дворянских

кругов и до последнего крестьянского двора. Русское сознание сильно потрясло разграбление и осквернение Москвы, ее храмов, в которых временные победители, ограбив иконы и утварь, устраивали конюшни. Мы обычно, говоря о западном влиянии в прошлом веке, ссылаемся на Декларацию прав человека и гражданина, французскую и английскую литературу, немецкую философию, — все это верно, но верно и то, что надругательства над нашими святынями наполеоновских полчищ, из христианских народов, не басурман, тоже подсказывало определенные выводы. Они смягчались сознанием победы над Антихристом, как называли тогда Наполеона, — вместе с тем это же сознание еще подогревало чувство нашего превосходства.

В середине века мы получили еще урок, с другим результатом: Франция и Англия выступили на стороне Турции, союзники которой веками разоряли наши южные окраины. Войска новых турецких союзников высадились в Крыму, осадили Севастополь; английские военные корабли бомбардировали Соловецкий монастырь, угрожали Архангельску, поселениям на Камчатке и даже Петербургу. В народе это вызвало большой шок: христианские страны Европы, в союзе с басурманской Турцией, напали на Россию, оплот православия.

Между прочим, по мнению Сенатора, к западникам середины века тянулась линия от Александра Первого, первой половины царствования, недаром потом, незадолго до смерти, он не хотел преследовать будущих декабристов. А к славянофилам Сенатор вел линию от Кутузова, говоря, что оба течения были зачаты в годы высшего национального напряжения, потребовавшего мобилизации всех физических и духовных сил. У нас больше ссылаются на увлечение Шеллингом, немецкой философией, когда ищут истоки славянофильства, но они были разные, их надо искать главным образом у себя дома, — добавлял Сенатор.

В отличие от полковника, он говорил спокойно, без тени ксенофобии, никого не осуждая, стараясь лишь пояснить, почему так, до болезненности, обострилось тогда у нас чувство превосходства и даже пришла уверенность, что нам предстоит сказать Европе «последнее слово». Сенатор говорил, что эти настроения в России в то время преобладали, они были живой реальностью, воздухом, которым дышал каждый думающий.

Достоевский, говорил Сенатор, ничего не выдумывал: он писал о том, что есть. Замечательный писатель, он открывал нам душу человека, может быть, как никто до него, но его религиозные, общественные, политические взгляды были только до предела сгущенным и заостренным отражением чувств, мыслей, настроений того времени. Вероятно этим и объясняется, почему произведения Достоевского, появляясь в печати, возбуждали меньше внимания, чем, например, романы «ловца душ» Тургенева, хотя, по сравнению с Достоевским, какой же Тургенев «ловец душ»? Мысли Достоевского, даже такие, как объявление им русского народа богоносцем, мало кого шокировали, они воспринимались почти как простая констатация факта. И мало кто считал его провидцем или мессианистом, мало кто и видел пустое фанфаронство в обещании научить Европу верить и жить.

Внимание к Достоевскому теперь оживилось, из-за революции, которую он будто бы предсказал, но он ничего не предсказывал: показывая «бесов» и революционную бесовщину, он был уверен, что Россия с ними справится и что ее ждет другое, лучшее будущее. И я, добавлял Сенатор, совершенно с ним согласен: революция случилась, но было несравненно больше шансов, что она не случится.

На возражения, что революция готовилась десятилетиями и что все вело к ней, что правящий слой у нас разложился и был бессилен, Сенатор, улыбаясь, отвечал, что слой этот всегда и у всех более или менее разложен и это может играть роль, но может и не играть никакой роли. То, что революция произошла, оказывает на нас большое влияние и мы, отыскивая ее причины, создаем цепь верных или только правдоподобных фактов, событий, обстоятельств, которые будто бы неизбежно вели к революции. Теоретики большевизма даже изобрели «железные законы истории», все в ней детерминируют, — это не от ума, а только от умствования: история не знает непоколебимой закономерности, разве кроме той, что со временем все стареет и сменяется другим. Но России куда как далеко до старения, сил было с избытком и даже в последние годы, несмотря на военные неудачи, запас ее духовных и физических возможностей оставался неисчерпаем. Стечение разных обстоятельств, — одни оказались необходимыми, другие вполне случайными, — все изменило и все мы виноваты в этом, каждый

по-своему, а не только какая-то часть распустившегося народа, будто бы зачеркнувшая веру Достоевского. Все виноваты уже тем, что плохо сопротивлялись, а многие даже посчитали, что революционный бунт может быть благом. Теперь все позади, ничего не возворишь, но и небылицы не к чему выдумывать, — заключал старик.

Мы не всегда и не во всем соглашались с ним, но это не имело значения. Перед нами было живое прошлое, так и м больше мы его никогда не увидим и мне навсегда запомнился наш Сенатор,* этот, как тогда говорили, «осколок империи». Их, «осколков», в Соловках было не мало, некоторых я знал, но никого так хорошо, как жившего с нами Сенатора.

В его словах перед нами вставала Российская империя и Россия, как воплощение и оплот православия, — империя, в которой каждый, любой религии, применительно к известной фразе Николая Первого, должен быть ее верноподданным, но увенчивает которую православная вера. Мы внимательно слушали, что говорил Сенатор о настроениях и взглядах в этой величественной России: они ведь поднимались из плодороднейшей почвы веры и силы. Но Сенатор прав: империя и православная Россия, мысли и настроения в ней — все кануло в прошлое и воскреснуть им не суждено...

Наши «претензии к Достоевскому» меркли, интерес к ним пропадал. Но не совсем. Поиски ответа на вопрос, «как случилось», продолжались, мы обратили внимание на характер русской религиозности. Не знаю, до чего тут дошли: меня вскоре перевели из четвертой роты, потом отправили и из Соловков в другой лагерь. Помнится, говорилось так: христианство — самая реалистическая религия, в том смысле, что она дает человеку полную свободу выбора и не обещает ему спасение или идеальное существование тут, на земле. Однако в нашем православии — нет ли в нем все же обещания, намек на него, что спасение возможно уже здесь и даже не в таком далеком будущем, второго пришествия можно и не ждать? Не отсюда разве берет начало убеждение, что мы можем сказать «последнее», очевидно спасительное слово? (От этого не свободен даже такой скептик, как Сергей Сергеевич в рас-

* Я привел лишь отрывки того, что он говорил, к тому же приблизительно: все и точно за столько лет не упомнишь.

сказе «Симпозиум», иначе он не спрашивал бы у тени Достоевского: ждать от русских спасения мира или не ждать?) Разве не присуща нашей вере подспудная, донная надежда на возможность идеальной жизни, откуда и встает марево абсолютно справедливого Опоньского царства, как-то сочетающееся с христианской религиозностью, отрицающей подобные царства? Как могли христиане Толстой и Достоевский в какой-то хотя бы малейшей мере поддаваться таким надеждам? И не потому ли Константин Леонтьев, человек скорее ветхозаветной веры, назвал христианство их «розовым», своего рода мягкотелым? Может быть именно эта «розовость» позволила большевизму приспособить к своему бунту тягу к Опоньскому царству и переключить ее от христианства к антихристианству?

Но все это относилось уже ко всем нам, а не только к Достоевскому. И если искать виноватых, то надо признавать, что, как говорил Сенатор, виноваты мы все.



В середине тридцатых годов Лев Шестов прочел в Париже, на французском языке, несколько бесед, — они были опубликованы потом в журнале «Русские записки» (№ 2, 1937, Париж) на русском, под заголовком: «О 'перерождении убеждений' у Достоевского». В 1873 году (ровно сто лет назад!) Достоевский писал: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений», — хотя, замечает Шестов, он «во всем, что писал, только и делал, что рассказывал о перерождении своих убеждений».*

По-моему, никто другой не раскрыл эту тему с такой силой и глубиной. Это не удивительно: не было у нас и другого философа, к тому же с большим писательским талантом, который все свое время посвятил бы уяснению вечных контраверз между знанием и верой — между «Афинами и Иерусалимом», «Умозрением и Откровением», как названы две его книги и что составило содержание трудов его жизни. Эта же проблематика проходит и в творчестве Достоевского.

Все написанное Достоевским обычно делят на два периода, границу между которыми провели его осуждение, каторга и

* Эти беседы, в виде статьи, вошли в книгу «Умозрение и Откровение», выпущенную дочерью Льва Шестова в 1964 году, в Париже.

поселение. По Шестову, это не совсем так. Он знает, что без осуждения Достоевский может быть не поднялся бы на ту высоту, которой он достиг во втором периоде, скорее остался бы только еще одним защитником «бедных людей», — по советской терминологии, еще одним «прогрессивным писателем». Тем не менее Шестов и «Записки из Мертвого дома», и «Униженные и оскорбленные», написанные после возвращения в Петербург, относит к первому периоду и второй начинает с «Записок из подполья» (1864).

Советское литературоведение с таким делением согласно: написанное до этого оно считает «прогрессивным», — после Достоевский будто бы стал «реакционером» и утерять способность правдиво изображать действительность. От этой нелепости не осталось бы и помина, если б советские литературоведы могли следовать за мыслями Шестова о «перерождении убеждений» писателя, включая утверждение, что он и во втором периоде остался верен взглядам своей молодости.

Шестов привел то место из «Дневника писателя» за 1873 год, где Достоевский вспоминает что он и его друзья чувствовали, когда стояли на эшафоте и ждали казни. Он писал, что его друзья может быть и раскаивались в каких-то своих поступках, — «но то дело, за какое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое много нам простится!... Ни годы ссылки, ни страдания нас не сломили... и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга». Шестов также напоминает, что если в своей первой повести «Бедные люди» Достоевский так трогательно рассказал о горестной судьбе Макара Деушкина, а спустя пятнадцать лет, уже после каторги, в «Униженных и оскорбленных» вновь писал: «сердце захватывает, познается, что самый забытый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой», то и за пять лет до смерти, в рассказе «Мужик Марей», он с тем же чувством снова говорит о «забытых» своих братьях. Нет, Достоевский до последнего дня «бедным людям» не изменял и считал своим долгом служить им. И «перерождение убеждений» надо искать где-то в другом.

Шестов пишет: «Три четверти того, что писал Достоевский, посвящено... ужасам человеческого существования... Но

теперь он описывает эти ужасы иначе, чем в молодости, точнее говоря, прежде ему казалось, что в этих описаниях есть уже что-то разрешающее, положительное, успокаивающее... Теперь такое разрешение Достоевского не удовлетворяет, наоборот, оно раздражает, возмущает и бесконечно тревожит его. Он начинает требовать отчета о каждой жертве... о замученной истязаниями девочке, о затравленном собаками на глазах матери мальчике...»

В «Дневнике» за 1876 год Достоевский записал: «Я утверждаю, что сознание совершенного своего бессилия помочь или принести хоть какую-то пользу или облегчение страдающему человечеству... может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему». Бессильная любовь к людям превращается в ненависть, — «эта страшная истина, открывшаяся Достоевскому, — пишет Шестов, — и была началом перерождения его убеждений. Он уже не довольствуется тем, что 'обливается слезами' над 'униженными и оскорбленными'. Перед ним возникает грозный в своей очевидной неразрешимости вопрос: можно ли помочь 'забитым' людям?»

Но как помочь, если неразрешимо? Бессильная любовь обращается в ненависть, — какой же должна быть любовь деятельная? Ответ начал приоткрываться еще на каторге, где единственной книгой, разрешенной Достоевскому, была Библия и где его окружали неведомые прежде люди, убежденные, что самое страшное преступление — отпадение от Бога, когда человек становится безбожным.

Ответы былых западных учителей Достоевского теперь ожесточали, он с негодованием отбрасывал их. Западная философская мысль от веры отвернулась, она признавала только «религию в пределах разума» (Кант), провозглашая, что «все действительное разумно» и что «дисгармония есть условие гармонии» (Гегель), — страждущему человечеству, подчеркивает Шестов, помочь это ни в чем не могло. «Религия в пределах разума» незаметно слова Писания «Бог есть любовь» подменила разумной истиной «любовь есть Бог», — пишет Шестов, тогда как Достоевский рвался к истине откровения о живом Боге и решительно старался противопоставить Библию ничему в действительности не разрешающим идеям западной философии. Он уже был убежден, и рассказал об этом в «Преступлении и наказании», а потом и в других произведениях, что мораль

сама по себе, оторванная от Св. Писания, человека не защищает и что любовь к ближнему — не Бог, что она, если нельзя помочь, обращается в ненависть и что все идеи, без высшей — идеи Бога и бессмертия души, призрачны и тоже могут обращаться в свою противоположность. Как же мог он удовлетвориться истинами западных идей, которые он считал по меньшей мере слишком легковесными?

Достоевский Гегеля не читал, говорит Шестов, и не знал, как Гегель, вопреки духу и слову Писания, самодовольно провозгласил, что плоды с древа познания добра и зла стали источником философии для всех времен, — что истину, следовательно, надо искать в этих плодах. «Но и не читая Гегеля он чувствовал, что 'все мы', 'всемство' насквозь пропитаны убеждением истинности того, что провозгласил Гегель, — продолжает Шестов. — И именно потому он с такой страстью восстает против того, чему все мы поклоняемся».

Ожесточенный своего рода бунт Достоевского далек от смирения, шаблонно приписываемого ему. «Для чего потребовалось смирение мое? Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело», — протестует в «Идиоте» Ипполит. Герой «Записок из подполья» яростно отрицает все, что утверждает всемство, даже дважды два четыре, — потому что дважды два четыре уже не жизнь, а начало смерти, дважды два четыре — пошлость, нахальство, кричит «подпольный человек». «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» — восстает Иван Карамазов. «Наше смирение есть смирение перед глухой и бесчувственной природой», — замечает Шестов, — той, которая представляется Достоевскому «в виде огромного, неумолимого и немного зверя, или громадной машины, которая бессмысленно поглотила... великое и бесценное Существо, которое одно стоило всей природы и всех ее законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого Существа...» («Идиот») Требовать от Достоевского смирения перед бессмысленным зверем, перед бесчувственной машиной, распявшей Христа? Перед месивом «всемства», «непосредственных людей», распластывающихся под «каменными стенами»? Достоевский со всем своим неистовством бросается на «каменные стены».

Шестов пишет, что «Записки из подполья» — «Есть отча-

янная и неслыханная по смелости попытка вытравить из сознания падшего человека то, в чем он, замороженный грехом, видит истину и добро. Наши истины, то, что нам кажется наиболее непреложным и несомненным, есть не истина, а ложь, и то, что мы считаем добром, есть не добро, а ложь... Наша совесть, не смеющая с разумом спорить и в этом 'смирении' своем усматривающая величайшую добродетель, требует от нас смиренного приятия того, что мы изменить не в силах — и мы безвольно покоряемся. Пока мы во власти истин и идеалов всемства, мы обречены на все ужасы бытия, неизбежно ведущие к гибели».

Все творчество Достоевского второго периода есть героическая попытка освободить мир от наслоений лжи, зла, показать людям, как закрыт от них мир Бога живого, — горами измышлений от лица «бога философов», давно забывших Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова, по слову Паскаля, который, пишет Шестов, во многом был близок Достоевскому. Эта попытка и была проявлением деятельной любви писателя к людям, его служением «униженным и оскорбленным».

Вершина этой любви — «Братья Карамазовы», апофеоз — в поэме Ивана Карамазова о Великом Инквизиторе. «Что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с кем говорю?... Слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна». Но как ни возносился богу философов старик, он все-таки еще на что-то надеялся, ждал, чтобы Узник — «сказал ему что-нибудь, хотя бы горькое и страшное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста».

«Так Бог Писания отвечает на величайшую хулу на него, — замечает Шестов. — И вот, когда Достоевскому открывается эта великая, непостижимая для нашего эвклидова ума истина, в нем происходит то загадочное преображение, которое он назвал перерождением своих убеждений. Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь... Любовь, за которой стоит всемогущий Бог, никогда не обратится в ненависть... Чтобы обрести эту истину, Достоевский прошел сам и провел нас всех через те ужасы, которые изображены в его сочинениях, показал нам земной ад, как некогда Данте показал ад потусторонний. Из глубины ужасов и последних падений он научился звать к Господу».

В эти минуты, добавил Шестов, Достоевский написал «Мальчика у Христа на елке»: он как бы закреплял найденный

ответ. В такие минуты голос его приобретал необыкновенную силу, — как в том отрывке, где Алеша, после смерти старца, вышел из кельи и его охватило ни с чем несравнимое ощущение прикосновения к тайне неба и земли, полноты жизни и он плакал, обнимая и целуя землю и клянясь любить ее во веки веков.

Так Достоевский узнал сам и непременно хотел сказать всем, что ответ на когда-то казавшийся неразрешимым вопрос, которым мучаются миллионы людей, ответ, о котором он впервые читал в Библии на каторге, только в вере, только в Боге. Что спасаются только верой.



Мы видим, как бесконечно далеко ушел мир за сто лет от веры и умонастроений времен Достоевского, — по дороге «бога философов», а точнее, в условиях современности, обожествления науки, «не признающей наряду с собой никакого авторитета», требующей безраздельного, тотального подчинения вере в ее всемогущество. Сама Церковь, верховные ее служители, заискивают перед науковерами и спешат оправдаться, заверяя, что религия науке не противоречит и может с нею сосуществовать.

Мы уже не замечаем, до какой степени наша мысль опутана новым заблуждением: даже стараясь не поддаваться ему, мы оказываемся способными судить и о вере Достоевского лишь «в пределах благоразумия», едва не осуждая его за неблагоразумность. Впрочем, подчас и явно осуждая: объявление Достоевского «ересиархом», «глубочайшим своевольцем», «убогим почвенником» и почти лжецом или путаником, по крайней мере слишком опрометчиво объявившим русский народ богоносцем, преданным идее служения Христу, — разве это не есть прямое осуждение? И трудно в свою очередь осуждать осуждающих: кто же теперь может восставать против благоразумия, осененного благодатью разумных, научно добытых истин? Хотя бы они почерпались из таких «ученых трудов», как статьи и доклады «О насекомых у Достоевского» или «Искусство цирка и Достоевский», о чем язвит Сергей Сергеевич в рассказе «Симпозиум»?

При засилье обожествления науки и науковсемства судьба Достоевского оказалась довольно двусмысленной. Интерес к

нему в последние полвека, богатые грозными кризисными явлениями, возрос необычайно. Западная серьезная философская, художественная, а отчасти и научная мысль высоко ценит творчество Достоевского и лучшие ее представители считают несомненной необходимостью по меньшей мере его знать. Но что делать с ним — этого в сущности не знает никто. Идти за Достоевским, за его идеями, хотя бы только признавать, что он полностью прав, — кто же решится на это в век прохладного благоразумия, превратившего жизнь на земле в безумный обильно политый кровью ад? И только немногие высшие жрецы науки, сами творцы, проникающие в тайны мироздания дальше других — и больше других способствовавшие утверждению науковерия, — не могут или не хотят отрицать подчинение мира Творцу, в которого так горячо верил наш писатель-мыслитель.

Вслед за лучшими науковсество тоже почтительно взирает на великого, запрокидывая голову, — но оно в большинстве своем может теперь воспринимать его мысли лишь поверху, придерживаясь шаблонной формы, и часто несет никому ненужный вздор, кое-как оправдывающий только существование самих выдумщиков вздора. Но и лучшие, в паутине науковерия, не свободны от него.

Надежда Мандельштам, подводя итог своим воспоминаниям, глубинную причину катастрофы в России видит в отходе интеллигенции от христианства. К этому выводу пришли многие и у нас, и на Западе: отход от христианства характерен для всего христианского мира. Но тут же, противореча себе (впрочем, кто теперь избегает противоречий, стараясь в нынешнем смятении отыскать начала и концы?), она относит Достоевского к своевольникам, убогим почвенникам, судя о нем с точки зрения «религии в пределах разума». Между тем отход совершился от подлинного христианства, в которое верил Достоевский, когда оно было в силе и славе и серьезным последующим кризисам еще не подвергалось.

Сергей Сергеевич тоже из лучших: судя по его высказываниям, он многое понимает и науковсество высоко не ставит. Но он сам целиком науковер (поэтому его так ошеломило, когда ему показалось, что тень писателя поцеловала его: в глубине души науковер в своей вере не стоек); в плену науковерия, он привык иметь дело не с самой жизнью, а с книжными

отражениями ее, с бескровным теоретизированием, лишаящим возможности действительного проникновения в жизнь, хотя внешне он будто бы горячо заинтересован в этом. Поэтому он не видит, что его вопросы, при упадке христианской веры, попросту несостоятельны, идут мимо цели. Он спрашивает тень Достоевского: ждать ли от русских спасения мира? Или они — бродило для вселенской квашни зла, удобрение для посева разложения и гибели человечества? Но кто же, в условиях безверия, может ему ответить? Достоевский жил и писал в мире, подтачиваемом безверием, будущим царством бога философов, но когда вера еще господствовала вполне.

При нынешнем верховенстве науковерческого благоразумия «спасать мир» какому-либо одному народу, считать его избранным для этого или не считать, было бы сверхбезумием: спасаться надо всем, всему миру. И полагать, что мы можем быть избраны, чтобы служить «бродилом квашни зла», не менее несостоятельно: это всего только отражение неоправданного метода двух мерок, для себя и для других. В XX веке бога философов «бродилом зла» с одинаковым успехом можно счесть и немцев, и китайцев, и даже американцев и другие большие народы, по величине и действиям несущие большие ответственности за общие судьбы. И надеяться на «спасение», именно на спасение, а не на достаточное более или менее преодоление кризиса, не на частичное только излечение, чтобы избежать смерти, окончательной гибели, — значит надеяться на чудо, которого не может быть. Чудо может совершиться — если есть веры «с горчичное зерно», — где ему взяться в царстве бога философов?

У всех у нас, когда мы путаемся в подобных сетях-ловушках, как путается Сергей Сергеевич, Н. Манделъштам и другие, нет им числа, есть вероятно только одно оправдание. Все мы, — наши отцы, вольные или невольные участники революции, и мы, их наследники, — обречены мучиться, повторяю, нерешимым до конца вопросом: как могло случиться, почему произошло величайшее наше несчастье, избыть которое нам не дано? Наша судьба, наше предопределение — все в этом вопросе, в обреченности на неизбежные и нескончаемые поиски ответа на него. Сколько бы ни пытались мы не только искать, но и как-то действовать, противопоставляя себя противной силе, — в конечном счете и эти попытки обречены оставаться

лишь поисками, а не ответом. А в этой обреченности возможны любые отклонения, ошибки, заблуждения, путаница — и возможны только приближения к истине.

И надежда у нас только одна. Как все в мире, зло тоже стареет, выдыхается — и может быть пришедшие после нас, кто родился позднее и не прошел весь наш путь, кто свободен от нашей обреченности, будут мучиться уже не над поисками ответа на «как случилось», а над решением: как беду изжить. Будем надеяться, что они с нею справятся.

Им не надо замахиваться на небывальщину, обещать поджечь море или мир, раздуть «мировой пожар»: все это было и все это лишь суета, хотя бы и в поражающих размерах. В условиях господства науковерческого благоразумия, поневоле надо действовать «в пределах разума», не пытаясь стать мировой спасательной командой, а спасаясь самим, спастись со всеми, со всем может быть еще не окончательно безнадежно больным миром. Некоторое начало таким попыткам положено (имею в виду предложения академика А. Сахарова), — будем верить, что эти попытки оставлены не будут.

А там, — как знать? — чудо может быть и произойдет.

Г. Андреев

Н. В. ВАЛЕНТИНОВ О ЛЕНИНЕ

С выходом новой книги Н. В. Валентинова — «Малознакомый Ленин» — Валентиновым фактически рассказана если не вся, то большая часть жизни Ленина: ранние годы; личные встречи с Лениным в годы его первой эмиграции; о жизни Ленина в годы его второй эмиграции (после революции 1905 года) и почти до его возвращения в Россию в апреле 1917 г. говорит «Малознакомый Ленин» и, наконец, в книге о нэповских годах и взаимоотношениях вождей Ленину уделено немало места.¹

Все эти книги читаются с неослабным, захватывающим интересом; читая их, жалеешь, что они слишком коротки. Жаль, что Валентинов почти ничего (кроме некоторых журнальных статей) не оставил о Ленине в 1917 году. Под его острым пером, драматические события тех месяцев обрели бы нужного хроникера. Читая Валентинова, я всегда вспоминаю верное замечание одного историка. «История интересна только тогда, когда она рассказана в деталях». У Валентинова немало обобщений, интерпретаций и общих заключений. Однако, сама история изобилует теми подробностями, о которых говорил вышеупомянутый историк.

¹ Первая книга Вольского-Валентинова «Встречи с Лениным» вышла с предисловием М. Карповича, в 1953 г. в изд. имени Чехова; английское издание этой книги, с предисловием Леонарда Шапиро, появилось в 1968 г. в изд. Оксфордского Университета. Ко второй книге Валентинова «Ранние годы Ленина», вышедшей в издательстве Мичиганского Университета в 1969 г. и к четвертой книге того же автора — о Нэпе, оппозиции, болезни и смерти Ленина и о возвышении Сталина (вышла в Институте Гувера при Станфордском Университете), предисловия написал Бертрам Вульф. В недавно вышедшей в Париже в изд. «Пять континентов» книге Валентинова «Малознакомый Ленин» автором предисловия является историк и публицист, личный друг Валентинова, Борис Суварин.

**
*

Из четырех упомянутых книг Валентинова, с точки зрения вклада в историю, наиболее ценной, по-видимому, окажется его «Встречи с Лениным». Тут мы имеем дело не с обработкой материала или писем, а с живой встречей Ленина с очень умным, хотя тогда еще молодым, собеседником и слушателем. У Ленина (мы это узнаем от Валентинова) была потребность иметь слушателя, которому он мог бы высказывать им продуманное и написанное. Во «Встречах» речь идет, главным образом, об одной из важнейших полемических работ Ленина, о его брошюре «Шаг вперед, два назад». В этой брошюре весь большевизм, а потому она сыграла большую роль в ускорении раскола только что учрежденной социал-демократической партии. Об этом периоде становления большевизма, Валентинов рассказал больше чем все историки взятые вместе.

Дело в том, что до рассказа Валентинова, о самом расколе и о намерениях Ленина царило неверное представление. До Валентинова все полагали, что Ленин — этот «вечный склочник» — шел на раскол с легким сердцем и сознательно, ибо он уже тогда якобы пришел к заключению, что с меньшевиками — этими оппортунистами и мягкотелыми догматиками — ему, революционеру и якобину, не по пути. Оказывается — и это ясно вытекает из рассказа Валентинова — Ленин вовсе тогда (в 1903-4 гг.) не считал, что раскол неизбежен. Наоборот, из разговоров Ленина с Валентиновым вытекает, что Ленин воспринимал этот раскол как какое-то... недоразумение.

Послушаем Валентинова: на его (Валентинова) вопрос в чем же главная суть внутривнутрипартийного разногласия, Ленин ответил: — В сущности, никаких больших принципиальных разногласий нет. Единственное разногласие такого рода — параграф I устава партии, — кого считать членом партии. Но это очень несущественное разногласие. Жизнь или смерть партии от него не зависит. Параграф I устава был принят на съезде не в моей формулировке, а Мартова. Оставшиеся в меньшинстве, ни я, ни те, кто меня поддерживали — о расколе и не помышляли. И все-таки он произошел. Почему? На это превосходно ответил Плеханов: произошла *la grève générale des généraux*. Некоторые партийные «генералы» обиделись за избрание их в редакцию «Искры» и в Центральный Комитет и отсюда пошла вся склока.

Этими «неизбранными генералами» были Аксельрод, Потресов (Старовер) и Вера Засулич. Это говорил Ленин 5 января (по старому стилю) 1904 г. Капитальное признание, ибо оно свидетельствует о том, что много месяцев спустя после 2-го съезда, на котором произошел раскол, Ленин сам не отдавал себе отчета об истинных его причинах. Не понимал этих причин и Плеханов. Не понимали действительных причин раскола и **многие** меньшевики. Понимал их нутром, инстинктом только «чужак» Акимов (Махновец). Предупреждения Акимова о том, что Ленин хочет навязать партии и стране свою диктатуру, и что «диктатура пролетариата», даже в толковании Плеханова, есть ничто иное как подавление свободы и всех других общественных движений, встречались съездом гомерическим смехом. Понимал суть спора и один из «генералов», а именно П. Б. Аксельрод; в своих «знаменитых» статьях в «Искре» (откуда уже ушел Ленин) Аксельрод, по существу, сделал прогностический анализ зарождавшегося ленинизма и большевизма. Аксельрод предупреждал, что «властная, централизованная» партия, «состоящая из интеллигентов и **ведущая** рабочий класс», превратится в «якобинский клуб» и что во главе такого клуба может стать нетерпимый «ортодоксальный» социал-демократ. Не называя его по имени, он, разумеется, имел в виду Ленина.

Сейчас, когда анализ Аксельрода (который Валентинов приводит очень пространно — см. «Встречи», стр. 169-172), в большой степени оправдался, вовсе не так уж важно был ли Аксельрод прав **во всем**; действительно, теперь приходится только улыбнуться когда читаешь, что якобинец Ленин приведет, по предсказанию Аксельрода, к торжеству якобинской «радикальной **буржуазии**». Нет, якобинец Ленин привел не к торжеству **буржуазии** (тогдашние марксисты только и знали о существовании буржуазии и пролетариата). Ленин привел к торжеству тоталитаризма и бюрократического «нового класса». Однако, важны тут не терминология и социологические ошибки Аксельрода, а политическая субстанция его анализа. Ведь и «диктатура пролетариата», по существу и с самого начала превратилась в диктатуру партийной олигархии, выражавшей уже тогда интересы «нового класса».

В этой связи, параграф № 1 устава партии — кого считать членом партии — был вовсе не «несущественным разногласи-

ем...», как это говорил Ленин Валентинову. Как раз напротив. В этой маленькой формальности скрывалось существо спора между большевизмом и меньшевизмом, между диктатурой и демократией. Ленин хотел создать партию профессиональных революционеров, **им самим** руководимую; меньшевики пытались создать социал-демократическую рабочую партию, на манер существующих в западных странах. Я подчеркиваю **им самим**, ибо одной страницей дальше, где он уменьшает значение параграфа № 1, Ленин, говоря о руководстве партии, о «дирижерской палочке» в партии, совершенно ясно намекает, что в этой партии эта палочка должна принадлежать ему. Вот его характеристика других «генералов» партии, которые могли бы у него эту «палочку» оспаривать.

«Плеханов — первоклассный ученый, но я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь мне указал, кого за последние 25 лет он организовал и способен ли он вообще что-либо и кого-либо организовать. О других — Аксельроде, Засулич, Старовере — смешно и говорить. Кто с ними имел дело — скажет: «Друзья, как ни садитесь, а в дирижеры не годитесь». Мартов? Прекрасный журналист, полезная фигура в редакции, но разве может он претендовать на дирижерскую палочку? Ведь это истеричный интеллигент. Его всё время надо держать под присмотром. Ну, а кто еще? Тупой Дан или Ворошилов-Троцкий?»²

Параграф № 1 так же как до того книга Ленина «Что делать?» явились обоснованием создания яacobинской и диктаторской партии. Вторым сигналом, оповещавшем о том, что на съезде собрались люди по существу имеющие между собой мало общего, был знаменитый инцидент с делегатом Посадовским. Поддержанный Плехановым, Посадовский заявил, что демократические принципы вовсе не являются для партии абсолютной ценностью и потому должны быть подчинены «выгодам нашей партии». Плеханов добавил, что в случае необходимости можно лишить буржуазию избирательных прав и разогнать, не отвечающий интересам пролетариата, парламент. Кто возмутились этими «социал-демократическими» мыслями или кто, пользуясь словами Ленина, услышав это, «впали в настоящую истерику»? Гольдблат из Бунда, Егоров из «Южного

² Ворошилов — второстепенный герой романа Тургенева «Дым» — олицетворение фразерства и позерства.

Рабочего» и... только. Кстати, Валентинов не указывает, что Гольдблат это псевдоним известного руководителя Бунда, последовательного антибольшевика Владимира Медема.

**
**

С точки зрения истории большевизма, как я уже сказал, «Встречи» являются наиболее значительной книгой Валентинова. С точки зрения же познания личности Ленина, недавно вышедший «Малознакомый Ленин» останется лучшей и единственной в своем роде книгой. В чем Ленин «малознаком»? Как он жил в тюрьме, в Сибири, в эмиграции? Каковы были его отношения с родными? Как он относился к товарищам? Как он себя вел в минуты опасности? Апологеты вроде Крупской, Бонч-Бруевича и отчасти Горького, имеют на все эти вопросы всем известные стереотипные ответы. Действительность, однако, была иной.

Из строго-документированной книги Валентинова выясняется, что легенды о том, что Ленин жил «впроголодь», нуждался и вообще сильно пострадал от самодержавия, основаны на полном незнании истины. Нужно, во-первых, отметить, что Ульянову-Ленину очень повезло в смысле семьи. Прежде чем покорить партию и Россию, Ленин покорила свою семью. Мать, сестры, их мужья, брат все жили «для Володи». Позже к этому семейному клану присоединились Крупская и её мать. Кстати, выясняется, что только его теща позволяла себе с Лениным спорить и держать себя с ним независимо. Остальные же считали его «уникальным» и потому почитали своей обязанностью жить, в большой степени, для него и выполнять все его просьбы.

Основой благополучия Ульяновых был (как Валентинов его называет) «Ульяновский Фонд», которым заведовала мать. Фонд был создан из денег, вырученных от аренды и продажи семейного поместья; впоследствии к основному Фонду прибавились наследства от дяди отца Ленина и от тетки Крупской. Жили Ленины хорошо, в полном достатке, хотя у них — и у Ленина и у Крупской — была привычка прибедняться; так, Ленин часто просил у своих родных деньги, якобы в долг; Шляпникову, члену Ц. К. в России, он писал, что «поколеваает» от безденежья и это в тот период его жизни, когда, по расчетам Валентинова, Ленин вполне располагал деньгами. Из не-

которых замечаний Крупской и Ленина выясняется, что в доме была прислуга, что жили они в пансионах, где прислуга чистила сапоги³, что в театр и кино супруги ходили часто, даже на спектакли до того неинтересные, что после первого акта они уходили; «товарищи смеялись: зря бросаете деньги...», свидетельствует Крупская.

Другая, в этом смысле, характерная для Ленина черта: он любил, по-видимому из соображений престижа, преувеличивать и раздувать свои литературные заработки. Так он сообщал о переводах книг, которые он никогда не сделал, о статьях, которые нигде не хотели печатать. Интересная деталь: одна из первых работ, которую Ленин послал для напечатания была пересказом (отчасти плагиатом) исследования В. Е. Постникова «Южно-Русское Крестьянское Хозяйство», вышедшего в Москве в 1891 году.

В эмиграции у Ленина и у большевистской партии появились и добавочные значительные ресурсы. Некоторые именитые представители купечества и промышленности обнаружили в себе «покаянную черту». В России были не только «кающиеся дворяне», но и кающиеся промышленники: известный Савва Морозов и его племянник Шмит, оба покончившие самоубийством. Как видим, у некоторых представителей русской буржуазии была явная тяга не только к физическому, но и к социальному самоубийству...

Валентинов подробно описывает денежные операции, связанные с наследством Шмита. Наследство составляло 720.000 рублей, очень большую по тем временам сумму. На часть этих денег претендовали и меньшевики, а потому они хранились в нейтральном месте, у вождей немецкой социал-демократии. Однако, вскоре, с целью получения всего наследства, боль-

³ Кстати о сапогах. Мне передали следующий весьма интересный факт. В начале двадцатых годов, во время процесса И. К. эсеров (Гоц, Тимофеев, Лихач и другие) в Москву защищать эсеров приехал председатель Второго Интернационала Вандервельде. Как европеец, привыкший в гостинице выставлять на ночь ботинок за дверь, он тоже самое сделал в московской гостинице. Советская печать, дабы скомпрометировать «социал-предателя», начала против Вандервельде кампанию... «Вот, мол, кто защищает эсеров; гордый советский человек не чистит ботинок зазнавшихся социал-предателей...» В советских газетах даже появились снимки башмаков Вандервельде.

шевики употребили такие методы (фиктивные браки с сестрами Шмита и т.д.), что немецкие «держатели денег» один за другим отказались от возложенной на них «чести». В результате всех этих дополнительных операций большевистские профессиональные революционеры могли получать ежемесячное жалование (или «диету», как они это называли) по 300 франков в месяц, сумму превышающую в два с половиной раза тогдашний средний заработок французского рабочего. «Элита», как видим, знала себе цену....

Надо, однако, сказать, что Ленин не был совершенным эгоистом в узко и смысле этого слова. Обожавшим и занимавшимся им родственникам, он отвечал любовью и вниманием. Он горячо любил свою мать (эту женщину трудно было не любить, пишет Валентинов); заботился о сестрах. Своей младшей сестре «Маняше», которая хворала и у которой не ладилось с учением, он советовал ехать за границу; «поездка тебя освежит, встряхнет, чтобы ты не кисла очень уж дома». Аналогичные советы он давал матери, хотя знал, что такие поездки будут оплачиваться «Ульяновским Фондом», совладельцем которого был и Ленин.

Известно, что наилучшими добродетелями русского революционера были товарищество и личное мужество. В тюрьмах, ссылках, этапах русские революционеры делили еду, одежду, деньги, а личное мужество традиционно почиталось непременным качеством революционера. Но как на этот счет обстояло дело у вождя большевистской партии? Во-первых, тюремный «стаж» у Ленина был небольшой. Ленин сидел в тюрьме всего 14 месяцев; потом был выслан на три года в Западную Сибирь. И вот как тюремную жизнь Ильича описывает Валентинов: «Пребывание Ленина в тюрьме было обставлено таким комфортом, что в огромной степени теряло свои тягостные стороны. Вопреки принятому обычаю рисовать мрачайшими красками жизнь «узников царя», его сестра принуждена признать, что «условия тюремного заключения сложились для него, можно сказать, балгоприятно... даже желудок его, — относительно которого он советовался за границей с одним известным швейцарским специалистом, — был за год сиденья в тюрьме в лучшем состоянии, чем в предыдущий год на воле». («Малознакомый Ленин», стр. 35).

Далее: — «Обслуживать арестованного Володю съехались

из Москвы мать, сестры Анна и Мария. Ленин имел в тюрьме особый платный обед и молоко. Мать приготавливала и приносила ему 3 раза в неделю передачи, руководствуясь предписанной ему указанным специалистом диетой. Получал он и предписанную ему тем же швейцарским специалистом минеральную воду. «Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят её из аптеки в тот же день, как закажу», — сообщал Ленин сестре Анне в письме от 24 января 1896 года. Напомним также о тюках книг, которые ему покупала и из разных библиотек доставала сестра Анна, чтобы он мог писать в тюрьме свою книгу». (Там же, стр. 35-36).

А вот как ехал и жил Ильич в ссылке: — «В отличие от товарищей, арестованных вместе с ним по одному и тому же делу, Ленин поехал в ссылку тоже с комфортом. Мать выхлопотала для него право ехать туда на собственный счет. Такой возможностью не располагали его товарищи, принужденные следовать в Сибирь «по этапу», в вагоне с конвоем, сидеть в пересыльных тюрьмах. Неравенство в положении столь бросалось в глаза, что вызвало у Ленина чувство неловкости. Был момент, когда он даже хотел отказаться от своих льгот, но в конце концов, пересилил себя и... не отказался. Выехав из Петербурга 1 марта 1897 года, Ленин заехал к матери в Москву, пробыл у неё несколько дней и 6 марта двинулся далее. От Москвы до Тулы — 200 километров — его сопровождали мать, сестра Мария, сестра Анна, её муж Елизаров. Остановливаясь для отдыха в городах на пути, Ленин прибыл в Красноярск 16 марта и пока ждал назначения места поселения, а мать хлопотала, чтобы его не послали на поселение куда-нибудь далеко, — он не плохо проводил время. У него были для этого средства. 29 апреля он писал матери: «Здесь я живу очень хорошо: устроился на квартире удобно — тем более, что живу на полном пансионе. Для занятий достал себе книг по статистике (как я уже писал, кажется), но занимаюсь мало, а больше шляюсь». (Там же, стр. 36-37).

Как жил Ленин в ссылке? Об этом имеется подробное описание Крупской. «Дешевизна в этом Шушенском (место ссылки Ленина, Д. А.) была поразительной. Например, Владимир Ильич на свое «жалование» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит... Правда, обед и ужин был

простават — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мясо, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича — тоже на целую неделю... В общем, ссылка прошла не плохо».

Ленин в ссылке приобрел столь упитанный вид, что приехавшая в Шушенское в мае 1898 года вместе с Крупской её мать, увидев его, не могла воздержаться от возгласа: «Эк вас разнесло!». «Он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере», сообщала Крупская Марии Ульяновой в письме от 22 мая 1898 г.

В отличие от Троцкого и раннего Сталина, Ленин физическим мужеством не отличался. Заметим, что и в 1905 и в 1917 гг. он приехал в Россию довольно поздно, когда события уже более или менее определились. В 1905 г. он играл маленькую роль. Его стремительное бегство во время одного собрания, куда нагрянула полиция, было рассказано женой Г. Алексинского, тогда видного большевика, на страницах «Нового Журнала». Когда при объявлении войны, австрийские власти арестовали Ленина, как «русского», он очень боялся, что его «укокошат». Арест в Австрии, в комфортабельных условиях, продолжался всего две недели; под поручительство социал-патриота Виктора Адлера Ленина скоро освободили и он мог уехать в Швейцарию и заниматься там организацией поражения царской России. Когда он ехал в апреле 17 года в Россию в немецком plombированном вагоне, он боялся, что его арестуют на вокзале; после июльских дней он думал, что его расстреляют; на суд он тогда побоялся пойти, хотя почти все его друзья, в том числе и многие большевики, считали, что расправы от «интеллигентских хлюпиков», как Керенский, Переверзев и другие — ожидать не приходится.

Руководить Октябрьским переворотом он явился, когда власть фактически была уже в руках Военно-революционного Комитета Петроградского Совета, в котором ключевые позиции были уже заняты большевиками. Известно также, что когда Ленин и его спутники подверглись в Москве, уже после революции, нападению бандитов, он не оказал никакого сопротивления.

Разумеется, поступая так осторожно, Ленин считал себя,

по праву, самым ценным «имуществом» партии, незаменимым вождем, которого нужно беречь.

Жизнь Ленина следует, в основном, разделить на два периода: до-октябрьский и по-октябрьский; второй период не подлежит разбору в этой статье, ибо Валентинов доводит свой рассказ в книге «Малознакомый Ленин» — до Октябрьской революции. Первый период, разумеется, менее драматичен, но без него нельзя понять Ленина второго периода и даже многого из того, что происходит в Советском Союзе сейчас.

В первом периоде энергия Ленина уходит почти исключительно на склоку. Он порывает с писателями-попутчиками (такие тогда уже были), сотрудниками газеты «Новая жизнь»; он чернит большевиков — сторонников философии Маха и Авенариуса, «богостроителей», «отзовистов», которые под руководством Богданова и других большевиков-интеллектуалов, окопались в группе «Вперед». Все, что он пишет в те годы, имеет своей целью «уничтожить», «ошельмовать», «набить морду» противнику. После его известной статьи «Партийная организация и партийная литература» (ноябрь, 1905 г.), в которой Ленин как бы предвосхитил и социалистический реализм и «инженеров человеческих душ» и весь тоталитаризм Сталина, Горький, всегда восхищавшийся Лениным за его «воинствующий оптимизм» (черта, по мнению Горького, «не русская») и потому «с поразительным терпением выслушивавший нотации Ленина», наконец, не выдержал и написал ему весьма резкое письмо. Самого письма (которое не появлялось в печати) Валентинов не видал, но его содержание рассказал ему сам Горький. И Валентинов так его передает: — «Что я написал Ленину? Написал, что он очень интересный человек, ума палата, воля железная, но те, которые не желают жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от него подальше. Создателем постоянной склоки везде являлся сам Ленин. Это же происходит от того, что он изуверски нетерпим и убежден, что все на ложном пути, кроме него самого. Все, что не по Ленину — подлежит проклятию. Я написал: Владимир Ильич, ваш духовный отец — протопоп 17-го века Аввакум, веривший, что дух святой глаголет его устами и ставивший свой авторитет выше постановлений Вселенских Соборов». (Там же, стр. 156).

Ярость и грубость, с которой Ленин обрушивался на ма-

хистов, богостроителей, отзовистов, то есть «впередовцев», некоторых биографов вождя большевиков приводили в смущение. Ко всем этим вышеперечисленным еретикам, принадлежал «цвет» большевицкого руководства — такие люди, как Богданов, Базаров, Луначарский, Максим Горький и другие. Валентинов объясняет эту непримиримость к «уклонистам» тем, что в те годы, после пятого года, Ленин оказался в роли «вождя разбитой революции», — «в которой наиболее пострадавшими были именно идеи и пути, провозглашенные Лениным. Вера в его руководство, его непогрешимость, несколько пошатнулась. Вместе с этим в авторитарную по духу партию ворвался совершенно ей чуждый, несвойственный дух критики вождя, разбор его ошибок. В части партии произошел в своем роде бунт, сначала на коленях, а потом и в более смелой форме, чему способствовала психология злого уныния и безнадежности, с которой часть эмигрантов прибежала из России. Некоторые из большевиков оказались чувствительными к указаниям меньшевиков, критиковавших ошибки Ленина и на этой почве среди них создалось «примиренческое отношение» к их взглядам, и, следовательно, признание возможности вместе с ними работать». (Там же, стр. 100-101).

Думаю, что это верно лишь отчасти, и что с этим объяснением Валентинова многие могут не согласиться. Во-первых, Ленина никак нельзя назвать «вождем революции» 1905 года. Ленин в первой революции играл очень маленькую, незаметную роль. Эта революция, начатая «Кровавым воскресеньем», сразу была подхвачена либералами — «освобожденцами» и будущими кадетами, руководителями «Союза Союзов». Решающим актом этой революции были «октябрьско-ноябрьские стачки», превратившиеся в генеральную забастовку. Именно последнее событие, декретированное и руководимое Петербургским Советом Рабочих Депутатов заставило Николая II-го пойти на уступки, призвать Витте и издать «Манифест 17-го октября».

Во всяком случае ярость Ленина по отношению к «инакомыслящим» из группы Богданова объяснялась, по-видимому, не только «разбитой революцией», вождем которой был не Ленин, но также и другой причиной. Согласно мнению некоторых бывших большевиков, которые впоследствии стали меньшевиками и с которыми мне пришлось беседовать на эту

тому (Ю. Денике, С. Шварц, Б. Николаевский), в те годы авторитет Богданова в большевицкой фракции был очень высок. У многих партийцев он был вторым, а у других почти равным Ленину. В вопросах теории и философии Богданов несомненно превосходил Ленина. Говорят, что Ленин этого терпеть не мог, ибо считал себя в вопросах марксизма непогрешимым и ни с кем несравнимым. Разумеется, Плеханова он кое в чем считал своим учителем; но то был Плеханов — человек другого поколения и не конкурент.

Ходом событий и условий, создавшихся после первой революции в России, Ленин вынужден был пойти на «объединение» с меньшевиками. «Объединение» это было вынужденное и нечестное. Большевики продолжали сохранять свой фракционный центр внутри вновь объединенной партии. Долго такое положение длиться не могло и в 1912 г. на Пражской конференции Ленин с своими «соратниками» полностью ушли из объединенной партии и учредили свою собственную. В числе этих «соратников», число которых не превышало двадцати, были четыре провокатора, которые по заданиям Охранного отделения, ревностно поддерживали ленинское настояние на расколе.

**
*

«Малознакомый Ленин» обнаруживается не только в быту и поведении нашего героя. Для людей, усвоивших образ лубочного, плакатного Ленина (а таких множество и не только в коммунистических странах), большой неожиданностью будет, согласно изысканиям Валентинова, умонастроение Ленина накануне войны, и накануне революции. Не надо забывать, что в концепции Ленина война и революция были тесно связаны. Война должна была быть «ускорителем» революции, особенно в России, которая была, по формулировке Ленина, «наиболее слабым звеном в цепи империализма».

«Нынешняя война, — заявлял Ленин, — война империалистическая, грабительская. Нужно провозглашать не мир, и долой войну — это поповский лозунг — лозунгом пролетариата должно быть превращение войны в гражданскую войну с целью уничтожения капитализма. С точки зрения рабочего класса наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма».

И как только Ленин узнал о происшедшей в 1917 г. Февральской революции, он в своих «Письмах издалека», а потом, по прибытии в Россию, в своих «Апрельских тезисах» изложил свой план уничтожения «буржуазного» режима в России (тогда, по его же собственному выражению, «самой свободной страны в мире»).

Однако, самой-то войны и особенно революции Ленин, несмотря на все предупреждения, исходящие из России, и не предчувствовал и близости их не ожидал. Так, своей сестре Маняше он пишет в ноябре 1912 г.: «Здесь все полно вестями о войне... Но я не верю, что будет война». Позже он пишет матери: «Я не очень верю в войну. Поживем — увидим». Горькому в декабре того же года: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но маловероятно, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». (Там же, стр. 144).

Еще меньше Ленин верил в близость революции в России. 19 февраля 1917 г. (то есть буквально за несколько дней до начала революции), он и Крупская планировали издание «Педагогической энциклопедии», то есть Ленин проектировал что-то такое, что было рассчитано на много лет. В письме своему шурину Елизарову, он подробно излагает свой план издания этой энциклопедии, одновременно опасаясь, что сей гениальный план может кем-нибудь быть перехвачен, украден... О надвигающейся революции он в эти дни не думает, хотя в письме к Инессе Арманд сообщает, что из России ему пишут, что «настроение там архиреволюционное»; в другом письме к Инессе Арманд, почти накануне революции, Ленин пишет: «Мрачна картина... оттого, что революционное движение растет крайне медленно, туго». (Там же, стр. 167).

Известно также, что в январе 1917 г., то есть за месяц до революции, Ленин на собрании в Цюрихе изрек: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв грядущей революции». Нет, ощущение близости революции у Ленина не было... Как невыгодно он в этом отношении отличается от Керенского, Милюкова, Родзянко, Маклакова, Чхеидзе и других, которые революцию предчувствовали и предсказывали.

«Малознакомый Ленин» предварен предисловием Бориса Суварина. Трудно было бы найти более подходящего автора для предисловия к такой книге. Оба — и Валентинов и Сува-

рин — знали Ленина лично. Первый, когда Ленин был только вождем большевистских групп в эмиграции и в России; второй — когда Ленин стал фактическим диктатором России и вождем Коминтерна. Суварин был тогда, в начале двадцатых годов, одним из руководителей французской компартии и ее представителем в Коминтерне, в Москве.

Автор монументальной и до сих пор лучшей книги о Сталине, один из лучших живущих знатоков коммунизма, Суварин, оценивая писания Валентинова о Ленине, считает, что «ничего подобного, ничего столь поучительного на эту тему не было опубликовано ни в России, ни вне ее». В устах такого авторитета эти слова значат много.

«Если бы не было революции, — пишет Валентинов, — Ленин умер бы простым малоизвестным эмигрантом и о нем вспоминали бы не больше, чем о Бабёфе, Бланки или Ткачеве». Но революция совершилась и Ленин оказался у руля диктатуры. При этих условиях, все меняется. Портрет человека, о котором написано тысячи тысяч страниц, все еще не закончен или, употребляя выражение одного советского поэта (цитируемого Валентиновым), «не дорисован».

Будем благодарны Валентинову, что он сделал много для «дорисовки» этого портрета.

Д. Ангин

ПЬЕР ДЭКС ОБ СССР И СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Недавно вышедшая в Париже книга Пьера Дэкса «Что я знаю о Солженицыне»¹ произвела сенсацию во французских политических и литературных кругах, и не столько из-за ее содержания, сколько из-за личности автора. Пьер Дэкс — видный французский коммунист, в прошлом, во время оккупации, — резистант, заплативший за это несколькими годами Маутхаузена, одного из страшных гитлеровских концлагерей; с 1953 до 1971 года он — главный редактор коммунистического литературного еженедельника «Лэ леттр франсез», директором которого был Луи Арагон, член ЦК партии. Словом, Пьер Дэкс всегда считался одним из оплотов французской компартии.

Правда, расхождения «Леттр Франсез» с генеральной линией партии в оценке «культурной политики» СССР начались довольно давно и обострились после занятия Чехословакии советскими войсками;² правда и то, что именно Пьер Дэкс в 1962 г. перевел «Один день Ивана Денисовича» и написал к нему предисловие, в котором указывал на исключительный талант автора и на политическое значение его повести. Но уже тогда это предисловие удивило и шокировало многих из тех, кто помнил, что за несколько лет до смерти Сталина тот же Дэкс публично обвинил в клевете и привлек к суду писателя Давида Руссэ, впервые рассказавшего французам о советских концлагерях.

Об этом неблагоприятном автобиографическом эпизоде Пьер Дэкс в своей новой книге не упоминает; но он откровенно признает, что прежде, то есть до разоблачений Хрущева, он отказывался верить в существование советских концлагерей. «Если бы они действительно существовали, моя депортация в Маутхаузен, смерть стольких моих товарищей потеряли бы всякий смысл. Очевидно, тогда я предпочел бы самого себя ослепить

¹ Pierre Daix. "Ce que je sais de Soljénitsyne". Seuil. Paris, 1973.

² В январе 1969 года продажа этого еженедельника была запрещена в СССР и других социалистических странах и вскоре после этого журнал «из-за недостатка средств» пришлось закрыть.

из страха, что не смогу дальше жить с мыслью, что коммунизм привел к такому позору. Но потом, после смутивших меня многочисленных фактов, — процесс Сланского, на котором осудили дорогих мне друзей, дело «убийц в белых халатах» и других — я стал понемногу понимать, что мое ослепление было ошибкой. Я понял, что защищая честь дела, за которое я боролся, я оказывается, выл вместе с волками. Те, что возвращались из лагерей, были моими, были **нашими** людьми... Постепенно, благодаря Эльзе Триолэ, передо мной открылся весь бездонный ужас сталинского террора», — так пишет Пьер Дэкс.

Но, узнав правду о лагерях, Дэкс все же утешался мыслью, что «с этим теперь покончено». Сталинизм — страшная болезнь, вроде рака, — говорил сам себе Дэкс, — но здоровый организм с ней справится: Хрущев умелый хирург. И Дэкс по-прежнему «закрывал глаза на действительность» — так пугало его «окончательное крушение идеала его юности».

В начале книги Дэкс рассказывает, как в 1962 году, когда Эльза Триолэ и Арагон поручили ему написать вступление к переводу «Ивана Денисовича», он, ни мало не колеблясь, написал, что опубликование этой повести «необратимое событие в процессе десталинизации и что возврата к прошлому быть не может». Но Эльза Триолэ, (которая, впрочем, и тогда и после печатала восторженные статьи об СССР), «безжалостно разбила» последние иллюзии Дэкса.

«— Откуда вы это взяли? — спросила она.

— Но послушайте, ведь это было бы невозможно!

На что Эльза возразила:

— В этой стране нет ничего невозможного.

А потом прибавила:

— Ведь лагеря все еще существуют и не могут не существовать... Полиция продолжает арестовывать всех, кто ведет себя неосторожно. Пусть это уже не тот террор, как во времена **Другого**, но все же всерьезно попадаетея немало народа... Правда ли, что это выздоровление или только временное облегчение болезни? В стране, где не существует общественного мнения, за эту публикацию отвечают только Солженицын и Твардовский... Вы этого не знаете, Пьер, но с этой книгой дело может кончиться плохо. Будьте осторожны — и из-за Солженицына».

И Пьер Дэкс, послушавшись Триолэ, написал новую версию предисловия, в которой выражал уже не уверенность в перемене, а только **надежду на нее**.

Эльза Триолэ, хорошо знавшая СССР, была, конечно, права. Не только Хрущев вскоре пожалел о том, что разрешил напечатание «Ивана Денисовича», но — по свидетельству П. Дэкса, — и многочисленные «сталинисты» французской компартии заявляли, что опубликование этой книги в СССР было ошибкой, а перевод ее на французский — чистым безумием. Зачем смущать и разочаровывать наших молодых энтузиастов? — говорили они. То, что допустимо в частных разговорах, не подлежит публичному оглашению.

Из рассказа Дэкса мы узнаем, что и другой видный коммунист, Пьер Куртад, — член ЦК и главный редактор «Юманите», — сказал ему как-то с глазу на глаз о России: «Эта страна — это Конго с термоядерными ракетами». Такого суждения П. Куртад, конечно, никогда бы себе не позволил в присутствии третьего лица.

Ознакомившись с первым напечатанным произведением Солженицына, Пьер Дэкс (сам — автор ряда романов) сразу угадал в нем не новичка в литературе, как многие тогда думали, а зрелого автора, наделенного исключительным талантом; угадал и его связь с великой русской литературой прошлого, с ее основными традициями — человечностью, независимостью и правдивостью. Он понял, что в «Иване Денисовиче» изобличается не только лагерь, но ставится под сомнение вся структура сталинского мира, роль партии, достижения революции.

Он говорит, что таким же откровением для него были и другие произведения Солженицына: «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», рассказ «Для пользы дела» и др.

П. Дэкс отмечает особенность композиции рассказов и романов Солженицына: все происходит в мире замкнутом — концлагеря, шарашки, ракового корпуса, — но духовное существо человека вырывается наружу, преодолевая колючую проволоку и слепые стены и обретая внутреннюю свободу. Солженицын, по мнению Дэкса, первый в советской литературе воскресил человека во всей его духовной и интеллектуальной сложности — и первый реабилитировал нормальный эротизм, безжалостно изгоняемый из литературы советскими цензорами. И, наконец, Дэкс указывает, что в «Августе 14-го» Солжени-

цын разбудил народную память, воскресив не искаженное, как обычно, пропагандой, а подлинное прошлое России.

Своей основной темой Пьер Дэкс считает описание борьбы Солженицына за право каждого думать и писать о том, что он считает истиной. Приводя множество документов, Дэкс подробно рассказывает о мытарствах Солженицына, — вначале встреченного хором похвал, а затем оказавшегося жертвой клеветы и преследований и прессы, и КГБ, и наконец, объявленного врагом Советского Союза и исключенного из Союза Советских Писателей.

Говоря о творчестве Солженицына и о переносимых им гонениях, Дэкс попутно разоблачает весь советский строй, — с его основания до сегодняшнего дня. Кажется даже, что судьба Солженицына для него лишь только предлог, яркий пример того, что ждет свободного и смелого человека *в стране лже-социализма*. Сам когда-то поверивший в «оттепель», Пьер Дэкс теперь с особенным упорством настаивает *на невозможности либерализации советского режима*. Ведь и Хрущев, — говорит он, — протестовавший против «культы личности», вовсе не намеревался изменять что-нибудь в прежней системе; напротив, он хотел еще усилить роль и значение партии. Ему и в голову не приходило, что искусство может быть свободным; для него, как и для его предшественников и преемников, искусство — дело Государства. «Партия не может допустить, чтобы в стране раздался хотя бы один не прославляющий ее голос: в таком случае все ее догматы ставятся под сомнение» — говорит Дэкс.

Основываясь на разных примерах, Дэкс рассказывает как, вскоре после падения Хрущева, зародился неосталинизм, который сначала развивался незаметно и осторожно, а потом, уже никого не стесняясь, распустился пышным цветом. «Это сталинизм без Сталина, без разнузданного террора, без капризов деспота, в новой, но, быть может, еще более опасной форме: более централизованный, лучше организованный, с еще усилившейся диктатурой. Партия, которая называет себя «голосом рабочего класса», на самом деле от этого класса давно оторвалась», — говорит Дэкс. Он указывает, что никакой демократии в стране и помину нет: народ не принимает никакого участия в управлении страной, всё решают верхи; выборы сводятся к комедии; население разделяется на строго

разграниченные касты, каких нет ни в одном капиталистическом обществе; одним доступны все жизненные блага, другие довольствуются крохами. Партийцы-бюрократы разъезжают по всему миру, а крестьяне не могут даже выехать из колхоза без «отпускной» (как при крепостном праве).

Что же касается инакомыслящей интеллигенции, то Дэкс указывает, что ее преследуют при Брежневе так же как преследовали при Сталине, и может быть — благодаря новым техническим средствам, — еще успешнее. Брежневские психбольницы, пожалуй, страшнее концлагерей. Неудобных поэтов судят за «тунеядство», как это было с И. Бродским. С голосом свободного мира считаются все меньше. Дэкс указывает, что Синявский и Даниэль были осуждены несмотря на протесты многочисленных международных организаций. Судьба русской литературы зависит от решений Союза Советских Писателей, который, как без всяких обиняков говорит Пьер Дэкс, является ничем иным, как филиалом партии, а может быть и КГБ. Для того, чтобы убедить в этом французских читателей, которым такое утверждение о Союзе Советских Писателей вероятно представляется диким, Пьер Дэкс среди других доказательств приводит рассказ о своей встрече в Париже с Ажаевым, автором когда-то «нашумевшего» казенного романа «Далеко от Москвы» и влиятельным членом ССП.

Это происходило в 1962 году, в самый разгар хрущевской «оттепели». Ажаев, ярый противник десталинизации, перессорился тогда со многими и был послан ССП «проветриться за границу». Вид у него, пишет Дэкс, был мрачный и расстроенный. «Не понимаю, чего так носятся с Солженицыны? — сказал Ажаев Дэксу, — у нас много писателей гораздо интереснее и значительнее его. Ну хорошо, он пострадал — но он уж слишком обозлен». — «Он говорил о Солженицыне, — прибавляет Дэкс, — об одном из величайших писателей своей страны, как о чужом, пришлом элементе, как о враге, которого надо бы удалить, — и тут я впервые понял, какую пропасть вырыл советский мир между русскими коммунистами и другими». — «Вы не сможете вычеркнуть его из советской литературы», — сказал Дэкс Ажаеву. Тот сухо возразил: «Нам одним решать, кто советский писатель, а кто нет». — «Но вы не знаете, — сказал Дэкс, — какую именно историю советской литературы напишут у вас, скажем, в 2000 году». — На это

Ажаев ответил с усмешкой: — «Эта история будет написана *нами*, товарищ». — Я возразил только одно, — прибавляет Дэкс, — все люди, воображавшие, что пишут окончательную версию истории, всегда ошибались. Я был тогда еще уверен, что те, кто будут стоять у власти в СССР в 2000 году, окажутся настоящими коммунистами, согласно идеалу Маркса, а не сталинской полиции».

С тех пор от этой уверенности у Дэкса не осталось и следа. Через несколько лет Дэксу пришлось убедиться, что победа осталась за Ажаевым и ему подобными: Солженицын был публично объявлен врагом и исключен из ССП. «Немыслимое совершилось, — пишет Дэкс, — неограниченная и упрямая власть вновь показала себя, попрала свои собственные законы, растоптала идею, на которой была основана, надежды, которые возлагали на нее другие народы. Если «Один день Ивана Денисовича» показался нам разрывом с тем, что в сталинизме было особенно бесчеловечным, то исключение Солженицына возрождает самые худшие традиции обскурантизма».

На исключение Солженицына из ССП реакция французской прессы была единодушной, и даже прокоммунистическая писательская организация — «Национальный Комитет Писателей» — напечатала резолюцию, тон которой сильно отличался от обычного тона по отношению к СССР. В составлении резолюции участвовали и Пьер Дэкс и Арагон с Эльзой Триолэ: — «Зачем с величайшими писателями СССР обращаются, как с вредным элементом? Это казалось бы совершенно необъяснимым, если бы мы не догадывались, что таким образом — при странном пособничестве некоторых товарищей по перу — пытаются запугать не только писателей, но всех интеллигентов, вообще хотят заставить их быть солдатами, марширующими в ногу на параде... Кто мог бы поверить, что в наши дни, в стране торжествующего социализма такая участь постигнет Солженицына, самого талантливого продолжателя традиций великой русской литературы? Ведь даже Николай II³ не принял никаких мер против Чехова, свободно напечатавшего 'Сахалин'...»

Но резолюция, конечно, кончается примирительными сло-

³ Ошибка: не Николай II, а Александр III; Чехов впервые напечатал статьи о Сахалине в 1890 году в «Новом Времени».

вами: левая интеллигенция не решалась окончательно порывать с СССР. — «Мы все же хотим надеяться, что в высоких правящих кругах этого народа, которому мы обязаны зарей Октября и поражением гитлеровского фашизма, найдутся люди способные понять какой вред нанесет это дело, и эти люди помешают ему свершиться...»

Увы, «людей этих» не оказалось.

В своем заключении Пьер Дэкс открыто и с небывалой резкостью нападает на современный советский строй. «Мы свидетели странного явления, — пишет он, — сильная и богатейшая страна, (полиция которой преследует инакомыслящих свирепее, чем при царе), пользуется научным прогрессом — хотя бы информацией — главным образом для подавления свободной мысли и подавления международного обмена идей. Чтобы убедиться в этом парадоксе, достаточно вспомнить какие произведения Чехов и Горький могли легально печатать до революции, и что писали сами большевики тогда в своей легальной печати. Нам, французам, трудно поверить, что революция может оказаться синонимом старого режима и реставрации...»

Анализируя неосталинизм, Дэкс указывает, что он основан на авторитарности, утилитаризме и полицейском сыске. Когда моральные критерии создаются государственным аппаратом, мораль исчезает: в СССР ее нет, — говорит Дэкс. На революцию, по его мнению, больше надеяться нельзя. Партия, задачей которой было освобождение людей, превратилась в партию угнетения; цель у нее одна — еще увеличить по возможности свою руководящую роль. Такая политика привела к смерти социализма в СССР, к смерти Коммунистического Манифеста.

Но странно, что несмотря на столь беспощадную критику «осуществленного социализма», Пьер Дэкс, оказывается, не изменил своему «прежнему знамени»: в своей книге он неоднократно уверяет читателя, что остался попрежнему убежденным коммунистом и марксистом и как бы он ни страдал от испытанных разочарований он все еще твердо верит в конечную победу «социализма с человеческим лицом».

Почти вся французская пресса отозвалась на книгу Пьера Дэксе. В интервью, данном левому еженедельнику «*Le Nувель Обсерватёр*» Пьер Дэкс вкратце так изложил свою основную

мысль: борьба Солженицына — наша борьба; мы не можем оставаться равнодушными, когда в СССР душат свободную мысль; мир стал так мал, что насилие над духом возможное в одной стране, грозит и другим. Приблизительно то же он повторил и на экране телевидения, отвечая на вопросы журналистов.

Можно, конечно, спросить: почему же Пьер Дэкс, который уже почти десять лет — со времени падения Хрущева — знал о возрождении сталинизма, только теперь счел нужным уведомить об этом французского читателя? Не потому ли, что прежде боялся за судьбу своего журнала «Лэ Леттр Франсез», существовавшего благодаря распространению его в социалистических странах? Теперь, когда журнал исчез, главному редактору терять нечего...

Но встает и другой вопрос: почему французская компартия до сих пор никак не реагировала на такое неслыханно резкое осуждение советского строя? Пока появилась только краткая, очень сухая заметка в «Юманитэ», извещавшая о выходе этой книги в свет.* Пьер Дэкс не осужден и не исключен из партии — а ведь исключали и не за такое. Поэтому невольно возникает подозрение, что это политический маневр, цель которого — убедить французов в том, что французская компартия не похожа на русскую и независима от нее, и что она действительно хочет — как неоднократно обещала во время последней избирательной кампании — гарантировать гражданам, если придет к власти, свободу слова, мысли и совести...

Будущее покажет, справедливо ли такое подозрение, искренен ли Дэкс или это (пусть рискованный, но) партийный маневр?

Е. Каннак

* Со времени написания этой статьи руководство французской компартии в лице ее «генсека» Жоржа Марше и одного из ее «идеологов» Ролана Леруа откликнулось на темы и мысли, высказанные П. Дэксом в его книге. В органе компартии «Франс Нувель» вспыхнула даже «полемика» между Дэксом и Леруа. И тем не менее для нормального ума остается совершенно непонятным, почему же даже после своего «полного прозрения» П. Дэкс остается членом французской компартии, которая является пятидесятилетним «нахлебником» КПСС, а этот «нахлебник» в отношении такого «клеветника» никаких «оргвыводов» не делает? Странная (и небывалая!) «ситуация». РЕД.

УХОДЯЩЕМУ — ПОКЛОН, ОСТАЮЩЕМУСЯ — БРАТСТВО

Несколько лет назад нечто новое стало входить в жизнь московской либеральной интеллигенции. Сначала отдаленно, потом все ближе и ближе, и вскоре не осталось дома, где любой разговор не скатывался бы к тем же заколдованным темам: новая жизнь... Запад... Израиль... мы евреи или русские?.. а как же *дело*?.. а березовая ностальгия... но воздух свободы... ах, что за время пришло!

— Ах, что за время пришло, — говорили одни с надеждой, другие с досадой. А время, действительно, пришло новое. Новая эмиграция была не далекой, вызванная к жизни мощным порывом, который грозил сломать традиционнейшее из советских понятий: страна как вечная тюрьма.

С детства помним мы: «границу — на замок!» С детства храним в памяти вбитое туда накрепко про отважного пограничника Карацупу и про верного его друга — собаку Индуса; только не в детстве и не все поняли, кого ловили герои-пограничники, в чью сторону шли следы неизвестных «нарушителей границы», кончавших жизнь если не от пули Карацупы или зубов Индуса, так от голода и цынги в сталинских лагерях. Десятки лет гибли люди в отчаянных попытках вырваться из страны-тюрьмы, окруженной кордонами; время от времени какой-нибудь смельчак объявлялся на Западе, удрав из рядов

Автор этой статьи — Роман Шмулович Рутман. Родился в 1934 году в Киеве. В 1963 г. — кандидат наук по кибернетике. В 1970 г. — доктор наук по кибернетике. С 1970 г. — старший научный работник Института АН СССР. Автор многих научно-технических статей. С 1970 г. принимает активное участие в движении евреев за право выезда в Израиль. В 1972 г., в ноябре, эмигрирует с женой и сыном. В настоящее время — профессор одного из университетов Тель-Авива. РЕД.

делегации, представляющей самую передовую в мире науку или литературу, либо наскучив долей дипломата-шпиона. Две волны выплеснула Советская Россия на Запад в двух самых страшных войнах, которые она вела, и после этого, казалось, прочнее прежнего стояла стена границы, ошестинившись внутри штыками и пулеметами, инструкциями и выездными комиссиями.

И вдруг...

По каким-то причинам в конце шестидесятых годов начали приотворяться калиточки, форточки, лазейки в плотно окружающей Россию стене. Было объявлено высочайше, что еврейским семьям будет дано воссоединиться в Израиле, и десятки тысяч заявлений хлынули потоком к изумленным властям. Но главная неожиданность была впереди. Оставалось еще неясным, лягут ли на стол, рядом с заявлением вильнюсского парикмахера, выездные анкеты писателя, музыканта, физика, что ездит в отпуск в Кизи и на Соловки, в жизни не бывал в синагоге и знает «по-еврейски» только тот десяток слов, вроде *КСИВЫ* и *ХОХМЫ*, которыми обогатился русский язык через Одессу-мату и блатной мир? Такая перспектива становилась вполне реальной, ибо изрядная часть московской либеральной публики могла рассчитывать на приглашение из Израиля, поскольку она или еврейского происхождения, или «объевреилась», переплелась с евреями кровными и родственными связями. И хоть получить вызов — это еще далеко не все, все же чаще забились сердца в десятках и сотнях домов. Как в сороковые годы писатель, критик, режиссер старался забыть о своей наследственной фамилии, повседневно и повсеместно пользуясь русским псевдонимом, так сейчас, он все чаще, между прочим, напоминал друзьям, что природное его имя — Меерович или Финкельштейн. Да и фамилии эти начали утрачивать неприятный для русского интеллигента местечковый колорит: чего уж тут, если каждый день слушаем про Голду, восхищаемся Голдой, а Голда — еврейская девочка Меерсон из Киева. К Израилю в шестидневную войну отношение было единодушным, его правое дело сомнению не подвергалось, его победа радовала всех, а у евреев вызвала слезы гордости. Само слово «еврей» потеряло неблагородный оттенок. Еще недавно оно неохотно произносилось даже между «своими». Так и говорилось: он «из наших» — этот афоризм, или его латинский эквивалент *ex nostris*, на самом деле был оскорбительнее для «наших», не желавших

произносить своего племенного имени, чем исконное польско-русское погромное «жид». Какие только замены не применялись в еврейской среде... А теперь с удивлением заметили вчерашние «французы», что и «еврей» может звучать гордо. Струи еврейского патриотизма забили в квартирах, выплескиваясь гейзерами из коммунальных кранов и из современных смесителей в кооперативных домах у аэропорта: пора! И русская поэтесса, мучась неведомым доселе раздвоением, пишет: «Моя печальная Россия, моя заснеженная ширь, моя возлюбленная Лия и Руфь, и нежная Рахиль»... Что-то новое вошло в дома, горизонты раздвинулись, и там замаячили — для кого гора Сион, для кого Эйфелева башня...

Будущее пугало.

Реальность отъезда бросала вызов каждому, кто хоть раз в жизни примерялся: а мог бы я навсегда уехать за рубеж? жить вне России? Размышления эти ни к чему не обязывали, и можно было заявить сгоряча: «ни минуты не сидел бы здесь», и можно было погрузиться над даниелевскими «Цыганками», проследить с тоской «к вольной воле заповедные пути», обрывающиеся у Бреста. Но вот все это стало волнующей реальностью, и нужно решать: ты в твои сорок, способен ли ты начать новую жизнь — новую, наверняка интересную, но столь же наверняка трудную? Не у одного, не у двоих все хитроумные аргументы против отъезда прикрывали страх перед неизвестным: здесь как-никак знаешь, чего опасаться, как на корку хлеба заработать. Иной раз эта корка оборачивалась дачей, машиной, степенью — вполне обеспеченное существование, иной раз и впрямь корка, коммунальный рай, и яснее ясного, что хуже не будет, а — страшно... А главное — здесь друзья, какая-то общественная жизнь, хотя бы и шопотом, и у тебя свое место в ней, а что *там*?

Я припоминаю встречи, бесконечные разговоры и больше всего — стихи. Уже много лет стихи и песни сопровождают нашу жизнь на каждом шагу. Может быть это потому, что в переломной период поэзия — самое точное отражение эпохи. Историкам нужно время на обобщения, стихи звучат сегодня.

...Вот по моей комнате мечется из угла в угол коротенький толстый человек, нежно любимый всеми, кто его знает — мечется и характерным жестом ломает пальцы. Он вне себя, потому что опять в ООН антиизраильская резолюция, «и ни одна

сука не вспомнит, почему израильские войска оказались на Суэцком канале!...» В пятидесятые годы, когда повзросление общества шло с невиданной скоростью, его стихи помогали нам расстаться с миражами, отрешиться от благой наивности, развенчать идолов. Он жутко обижается, когда кто-нибудь называет его поэзию рассудочной: «мои стихи просто очень точные». Теперь вот уже год как новая тема вошла в его стихи:

Что ж, и впрямь, как в туман, мне уйти в край, где синь,
а не просинь,
Где течет Иордан, хоть пока он не снится мне вовсе,
Унести свою мысль, всю безвыходность нашей печали
В край, где можно спастись или сгинуть, себя защищая,
Сгинуть, выстояв бой, в жажде жизни о пулю споткнуться,
А не так, как с тобой — от тебя же в тебе задохнуться.

(Это — Родине).

Надоели тиски. Что ж, уйти, чтоб потом неустанно
Видеть плёсы Оки в снах тревожных у струй Иордана?
Помнить прежнюю боль, прежний стыд, и бессилье,
и братство...

Мне расстаться с тобой, как с судьбою расстаться!

Пресловутое российское братство душ. «Почему у вас люди так сближаются?» — с завистью спрашивают иностранные гости. Ответ вроде бы прост: потому что лишены мы многого другого; потому что под гнетом человеческие чувства острее, и тянешься к себе подобному, к задушевному разговору, готов отдать себя целиком.

Все это правда. Но правда ли, что нигде так дружить не умеют, как в России? Или это одна из многих легенд, выдуманных в этой несчастной стране себе во утешение? И поддались мы незаметно уверениям, что ничего вне России нет, и березки только здесь растут, и друзья только здесь водятся. Что ж, поживем там — поймем. А скорее всего, ничего не поймем в той жизни: своя у нас будет доля, эмигрантская.

Родина! Оставить тебя, родной язык, друзей?

...Только что в тебе есть, если зная, как ты виновата,
Я боюсь в том краю, если все ж я решусь на такое,
Помнить даже в бою глупый стыд — не погибнуть с тобою.

Звонок в дверь: пришла женщина, отсидевшая многие годы в сталинских лагерях и вышедшая одной из первых.

— Очень трудно было мне расставаться с друзьями. Когда уходила из лагеря, было так стыдно перед остающимися, словно моя вина была в том, что я ухожу, а они остаются.

Но все же вы ушли?

— Все же я ушла.

II

Я выбираю свободу,
но не из боя, а в бой.
Я выбираю свободу
быть просто самим собой...

Это «глуховатый голос» большого русского поэта, как никто чувствующего современность, ее дыхание, ее язык. Новую угрожающую реальность, входящую в жизнь, он тоже почувствовал чуть ли не первым («и все меня ждут на Западе») и сразу же недвусмысленно определил свою позицию («но только — напрасно ждут»):

Но слаще, чем ваши байки,
мне гордость моей беды,
свобода казенной пайки,
свобода глотка воды.

Я выбираю свободу —
пускай груба и ряба.
А вы валяйте, по капле
выдавливайте раба.
По капле — и есть по капле,
пользительно и хитро.
По капле — это на Капри,
А нам подставляй ведро...

(К гуманисту с Капри у нас особый счет. Его знаменитое изречение о враге, который не сдается, вошло в арсенал душеителей наряду с «конвейером» и овчарками).

А нам — подавай корыто,
и встанем во всей красе —
не тайно, не шито-крыто,
а чтоб любовались все.

Гордая и достойная позиция. Но в стране, в которой мы живем, совершить кое-что «тайно» — тоже немалый подвиг. Ибо ищут. И находят. И шито-крыто оборачивается долгими годами лагерей. И человек, «что жил, ни к чему не готовясь», становится настоящим героем.

И это моя свобода —
нужны ли слова ясней?
И это моя забота,
как мне поладить с ней...

Но почему столько горечи и ожесточения? Может быть, надо еще убедить самого себя?

Прошел год или более. Квартира у Патриаршьях прудов; окна выходят на аллею, где в жаркий майский день сидели как-то князь тьмы и его будущая жертва; только сейчас ноябрь, и давно не ходит трамвай по такой особенной московской Малой Бронной... Он читает стихи; артистическое его лицо (Казанова? владелец ресторана в Кахетии? В больнице, куда ходили — и мы, и он — к общему другу, нянечка прозвала его «барин») выделяется в любом окружении. Он читает поэму о Польше, об учителе, который пошел в лагерь смерти со своими еврейскими учениками. В комнате в большинстве евреи, и есть польский гость, и разговор никак не уйдет от вечного этого клубка, намертво завязавшего три народа четыре столетия назад. «Когда я вижу поляка, я, как русский поэт, говорю ему: извините. Но потом я вспоминаю, что в моем паспорте стоит **еврей**, и я говорю ему: нет уж, **извините!**» Он рано прощается, потому что его ждут друзья — «замечательные люди, все борются за выезд в Израиль». Кстати, завтра с утра ему нужно в Шереметьево, уезжает большая группа.

Потом он напишет:

— Уезжаете? Уезжайте.
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука...

Темпы отъезда, действительно, нарастали, вызывали смятение. Если сейчас вопрос «кто же останется?» звучит как явное преувеличение, то вскоре каждый сможет назвать друга, близкого знакомого, однокашника, ушедшего «за облака». И всякий раз при прощании тамбур таможни вызывает к памяти

дверь крематория: так же безвозвратна потеря, так же за погромом остается целая жизнь, целый мир... А назавтра опять: «слышали? Алик подает заявление». — «Не может быть! Он же говорил, что уедет не раньше, чем самым последним»... И все решено у Патриаршских прудов, и Аннушка уже пролила масло, и через год половина сидящих здесь отнесет в Колпачный переулок свои заявления.

И он вроде бы примирится с этим («уезжаете — значит, надо, значит, так се и у и быть»), потребует лишь:

— Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их вечный сон!

Мертвые, лежащие в земле России — кому они принадлежат? Той земле, на которой вот уже четыреста лет внуки Давида плачут, рожают детей, спасаются от погромов, шьют ливреи — или той, где покоится гроб их пращура и которую их братья возделывают и защищают для себя, навеки? Веками стремились евреи быть хотя бы похороненными в земле предков. Есть кладбище в Палестине, что насчитывает более тысячи лет; туда переносили прах скончавшихся на чужбине.

И молодая поэтесса вступит с ним в спор, не желая унести с собой его «скрытую боль упрека»:

Пламя скорби летит, как знамя,
Сквозь последний печной заслон —
Это мертвые рядом с нами
По пустыне идут в Сион...

Величественные и скорбные сцены происходили в те дни в Шереметьеве. Старая еврейка увозила урну с прахом своего мужа, не дождавшегося этого часа; когда над взлетным полем звучал **кадиш**, замерли даже пограничники...

Идут и идут живые,

А за ними без слез и страха
Несть начала и несть конца —
Души павших встают из праха
И зовут своего певца...

Он неспокоен в этот день. Уезжает рано.

В этот вечер я впервые увидел **сионистов**, потому что он люди как люди, разговаривают по-русски; когда я спел им что позвонил попозже и попросил привезти ему гитару. Оказалось,

знал на **идиш**, растрогались. И мало чем отличалось внешне это собрание от других, во множестве виданных (у хозяйки был день рождения), хотя и лежала уже на всем печать отрешенности, да из разговоров понял я, что родители не поздравили дочь даже по телефону. Скоро, скоро придется и нам пережить подобное...

III

В тот год таких встреч было много по Москве. «Сионисты» и «демократы» встречались на проводах, потому что провожали уже общих друзей. В мае 1970 года уезжал Юлиус Телесин, активный «самиздатчик», вполне вероятно — будущая жертва КГБ, последние месяцы не оставившего его своим вниманием. Отправлялся он за рубеж, пожалуй, первым из «демократов». Провожавшие тогда в Шереметьеве заметно делились на две группы. Друг на друга поглядывали настороженно, но с любопытством. Так или иначе, встреча состоялась, и таким встречам суждено было с тех пор идти чередой.

В ту пору сионистское движение в центральной России набирало силу. На провода набивались (по сто—сто пятьдесят человек в квартиру) такие разные люди, которых при других обстоятельствах ни за что нельзя было бы встретить в одном месте: продавцы и шоферы такси, кандидаты наук, дантисты и музыканты, но больше всего те, кого в советских газетах называют технической интеллигенцией. Воистину, народное движение!

Еще вчера многие из них вполне вписывались в советскую систему, служили ей — если не верой, то правдой, сегодня они решились открыто противопоставить себя этой системе. Чудо пробуждения национального самосознания? Безусловно, да; но в стране официально господствующего шовинизма всякое национальное движение приобретает политический характер, и среди побудительных мотивов эмиграции трудно отделить национальные от политических. Некоторые только что повесили на стену открытки из Израиля, знаменовав этим первый в своей жизни вызов системе; другие уже годами тайком читали самиздат, делавший свое незаметное дело пробуждения человеческого достоинства. Теперь они увидели людей, о которых читали в самиздате, которые, как они догадывались, были к нему причастны сами. Они увидели тех, кто в отчаянной борьбе

против наступающего сталинизма шел в лагеря и тюрьмы, чтобы сохранить ту общественную атмосферу в стране, которая создала, в частности, предпосылки для возникновения массового сионистского движения.

Люди узнавали друг друга, хотя непонимания оставалось еще более чем достаточно. «Мне бы ваши заботы», — с изумлением прислушивался к спорам человек, уже два года безуспешно обивающий пороги во всех инстанциях: не так-то просто покинуть Россию, даже не имея внутренних колебаний на этот счет; увы, достаточно много внешних преград воздвигается на твоём пути. Но не было возврата к отчуждению, что стеной разделяло их еще несколько лет до того...

Уезжал из России тогда один еврей, который отсидел за сионизм немалый срок в советских лагерях. Пришли на проводы друзья, и среди них русский парень, тоже бывший политзаключенный, товарищ отъезжающего по лагерю. На проводах присутствовал и признанный сионистский авторитет. Увидев русского гостя, он потребовал, чтобы тот удалился:

— Как посмел ты, представитель угнетающей нации, прийти на эти проводы?..

Примерно в то же время человек, надолго ставший символом движения за демократические права в России, озадаченно вертел в руках конверт: женщина из Киева, долгие годы безуспешно добивавшаяся выезда в Израиль, просила о встрече, о помощи, и это заметно поставило моего собеседника в тупик:

— Что я скажу ей? Я не могу проникнуться ее чувствами. Израиль ровным счетом ничего не значит для меня, несмотря на мое еврейское происхождение...

Кстати говоря, опять странным образом евреи преобладали в российском либеральном движении. Это не прошло незамеченным: «Зачем, жидовское отродье, позоришь своего деда?» — это анекдотическая фраза из анонимного письма Павлу Литвинову. Подобное же письмо, тем же почерком и в таком же конверте, пришло и Ларисе Богораз, и в обоих письмах было: «убирайтесь в свой Израиль!» Может быть, это был не просто крик души хулигана, а намек информированного чиновника (конвертики-то были служебные, поспешил он на марки) — намек на ту относительную легкость, с которой власти начнут выпускать неугодных им людей...

Неприязненно следила за развитием событий и националистическая оппозиция. Для нее роковая роль еврейства в русской истории была давно осознанным явлением. Нигде — даже в Протоколах сионских мудрецов — не найти такой животной злобы, как в пасквиле, вышедшем зимой 1970-71 гг. из этих кругов, облеченном в форму письма к Солженицыну и принадлежавшем, по слухам, одному ленинградскому литератору. Еврейский заговор — причина всех бед России: голода времен коллективизации, репрессий 30-х годов, войны, репрессий 40-х годов, сегодняшнего экономического застоя. Солженицын тоже продался международной сионистской прессе, курящей ему фишам, и клеветает на русский народ. Бедный Солженицын! Находится немало евреев, что за одну лишь попытку критически осмыслить роль евреев в 20-е и 30-е годы («В круге первом») готовы обвинить его в антисемитизме. Нелегко занимать самостоятельную позицию среди яростных споров...

Сегодняшние «почвенники» в общем ничего против еврейской эмиграции не имеют, хотя и особых восторгов по этому поводу не проявляют («заварили евреи кашу, а теперь смываются»). Более сложные чувства у тех, других, к которым приходят друзья и говорят: «Я больше не могу; что дальше — новый арест? Для чего все это, в стране, где ничего нельзя изменить? Я решил уезжать, и вам то же советую». Это значит, одним другом, одним борцом будет меньше здесь, но и одним человеком, спасшимся от лап гебе, будет больше там.

К чести демократического движения, оно очень быстро определило свою позицию: право покинуть страну — это неотъемлемое право каждого человека; и вне зависимости от того, нравится ли нам это или нет, хотим мы этого для себя или своих друзей — мы поддерживаем борьбу за право на эмиграцию. В 71-72 годах добрую четверть материалов «Хроники текущих событий» занимает раздел «Борьба евреев за выезд из СССР». Нечего и говорить, что это было бы невозможно без активного участия «сионистов» в подготовке материалов «Хроники». Прежнее отчуждение погибло, оставаясь в основном в сферах идеологических споров с целью спасения чистоты сионистского знамени. Отчуждение сменилось фактической кооперацией.

Определенную роль сыграло в этом, конечно, и то, что сионист уже пошел другой. В сионистское движение пришли

люди с опытом и связями в демократических кругах. Принятие еврейской национальной идеи не означает для них отказа от прежних убеждений. Заметно повысился и культурный уровень движения: человек, впитавший лучшее в русской культуре и сам активно участвовавший в ее развитии, не удовлетворится песенкой вроде «через дюны Ашкелона, через горный кряж Кармель, мы проводим иммигрантов в нашу Эрец Израэль»...

Иной раз рецидивы сионистского пуританизма могут принять странный вид: уставшему от многомесячной борьбы человеку легко впасть в крайность, и глядишь — даже Новый год, самый милый, единственный неказенный праздник, еще год назад встречавшийся у общественной «сионистской» елки с весельем и хохотом, с Дед-морозом — теперь кажется чужим и опостылевшим пиром. И вот, встречу 1973 года кое-кто в Москве решил не отмечать — дескать, еврейского Нового года нам вполне достаточно... Но нормальному сотрудничеству это не мешает. Реже и реже приходится слышать что-нибудь вроде «Израиль — не прибежище для всякого антисоветчика». Еврейское национальное движение помогает своим союзникам в спасении от общего страшного врага — госбезопасности.

Далеко не все желают воспользоваться этой помощью. Горький, немного лобовой анекдот ходит сейчас: идет «сионист», видит — сидит «демократ» по-шею в дерьме. «Сионист» предлагает ему руку: «давай, вытащу!» — «Уйди, — отвечает «демократ», — я здесь живу... Не так все это просто, и только для красного словца можно назвать «дерьмом» все то, чем живет и среди чего борется лучшее в России.

Юра Шиханович, человек редкой душевной чистоты и скромности, заходил ко мне в вечер перед его арестом. Уже несколько месяцев вело КГБ с ним свою игру, исход которой сомнений не вызывал. В тот вечер разговор опять зашел о том же — не сделать ли ему попытку уехать. «Это моя страна», — отвечал Юра. Назавтра я читал протокол обыска, переписанный Юрой собственноручно: обычный его четкий почерк, ни одна буква не дрогнула, и в конце страницы не забыл он акурратно приписать «см. на обороте»...

И снова я слышу глуховатый голос, как акомпанимент ко всему, что происходит сегодня со страной:

Я выбираю свободу
и пью с ней нынче на ты.
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты,
где вновь огородной тяпкой
над всходами пляшет кнут,
где пулею или тряпкой
однажды мне рот заткнут.

Я выбираю свободу,
и знайте — не я один!
И мне говорит свобода:
«Что ж, — говорит, — одевайтесь
и пройдемте-ка, гражданин!»

«Пройдемте, гражданин» — опять и опять раздается вежливый голос гебешника — они теперь вежливы, но сроки от этого меньше не становятся.

Россия... Не уезжать от тебя, а уносить на подошвах сапог...

IV

А споры продолжались, споры кипели, яростные споры за живых и мертвых. Споры с врагами, с друзьями, с самим собой...

вдруг откуда-то издали тихо прозвучало:

Дай вам Бог с корней до крон
Без беды в отрыв собраться.

Эти слова — не для дискуссий: они для молитвы. И стихают споры, и прислушиваются спорящие к щемящим душу словам, в которых — вся боль расставания, когда режут по живому и трещат вырываемые корни, глубоко ушедшие в эту землю, осыпается и ломается крона, которой еще привыкать и привыкать к чужому солнцу, воздуху, свету...

Уходящему — поклон,
Остающемуся — братство.

Нет проклятий. Нет восторгов. Есть просьба к уходящим: «вспоминайте наш снежок посреди чужого жара» — и к родному краю:

Дай нам, вьюжен и ледов,
Безрассуден и непомнящ,
Уходящему — любовь,
Остающемуся — помощь.

Хоть остающийся и ближе, понятней, все же — **дай нам**, потому что оба мы — в пути, оба нуждаемся в благословении земли, которую, быть может, равно любим, хоть и выбрали разные доли, ибо разными путями выполняется Божий завет:

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
Выбирает всякий между:
Уходящий — меч и труд,
Остающийся — надежду.
Но в конце пути сияй,
По завету Саваофа,
Уходящему — Синай,
Остающимся — Голгофа...

Уходящему — Синай. Не Сион, это не оговорка. Уходящему — сорок лет блужданий по пустыне, горечь потерь, минуты отчаяния («лучше бы нам умереть в земле Египетской, когда сидели мы у горшка с мясом, когда ели мы хлеб досьта»). Но — свет будущего, грядущее постижение Закона, счастье потомков.

Остающимся — Голгофа. Давний и органический образ российской поэзии, философии, мироощущения. Вспоминается Тютчев: «удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Христос, распятый за Россию; Россия, распятая за человечество...

Нескончаем в сегодняшней России поток мучеников. Одно из самых благородных движений в истории дало их десятками. Один за другим идут они в лагеря, в ссылку, в психиатрические клиники, чтобы не торжествовала неправда, чтобы не угасала искра истины и человечности. Так естественно проецируются страсти Господни на российские реалии: «упекли пророка в республику Коми», и идет Мадонна по Иудее, оскользаясь на размокшей российской глине.

Кресты, горящие над равнинами; укоряющие глаза Христа над колючей проволокой, опять распятие в каком-то невозможном ракурсе, свечи и проволока, проволока... Это картины

Юрия Титова. Одна из них висит в квартире Петра Якира (не знаю, сохранилась ли она после ареста Якира). В этой квартире на проводах Титовых я сфотографировал ее: трое — мужчина, женщина и ребенок — на фоне восходящего солнца, освещающего полукруглый горизонт, по которому вытянулись вышки и проволока, проволока. А над всем этим — распятый Христос в терновом венке, и руки Его бессильно свисающие с креста, кажется обнимают этих трех... Неумолчно звучит рекем над Россней, и евангельские молитвы вплетаются в ее историю, которая пишется и пишется синоптиками «Хроники», имена же Ты их, Господи, веши...

И все же...

Так легко ухватиться за все оправдывающую, все объясняющую мысль: я гибну во искупление. Но не всякая жертва искупительна, не всякая жертва во спасение. «Тот, кто слаб», гибнет и потому, что не в силах жить и созидать, ему не под силу ни меч, ни блуждания по Синаю. Куда как легче орошать пьяными слезами свою и чужую гибель... Голгофа — место казни не только Христа, рядом с ним были распяты еще двое — повидимому, пьяницы и воры.

Но кто решится провести грань между смелостью и отчаянием, между одержимостью и пагубной страстью, между мудростью и расчетливостью? Да и «крут» не значит: силен. Это слово не нейтрально, и окрашено оно скорее отрицательно.

И не будем судить, не только потому, что надеемся не быть судимы. Жизнь сложнее, и сложна душа человеческая, где прекрасно уживается трагическое и низменное, Дон Кихот и Санчо Панса.

Не будем судить. Критерии каждодневного неприменимы при оценке трагического «отрыва».

Я устал судить сплеча,
Мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.

Голос пришел с юга. Голос русского поэта, как-то сказавшего, что он хотел бы быть рожденным еврейской матерью.

*Роман Рутман,
авг. 1972, Москва — февр. 1973, Иерусалим*

КОНЕЦ «ИНАКОМЫСЛИЯ» ИЛИ УРОК НА БУДУЩЕЕ?

Профессор Карел Ван Хет Реве, секретарь издательства «Фонд имени Александра Герцена» в Амстердаме, специализирующегося на публикации советского «самиздата» в обширной статье «Оппозиция в России. Как много достигли ее протесты?», опубликованной «Обсервером» 26 августа 1973 г. сделал в заключении оптимистический вывод: «В 1960 г. режим еще мог мобилизовать группу известных авторов выступить публично против Пастернака. В 1973, режим уже не может найти сколь-либо известного автора или критика, который бы выступил публично против Солженицына, или ученого, который бы выступил против Сахарова...» Прошло несколько дней и реальность опровергла этот поверхностный вывод. 40 советских академиков, среди которых трое являются лауреатами Нобелевской премии опубликовали 29 августа в газетах «Правда» и «Известия» резкое заявление по поводу выступлений академика Андрея Сахарова, заявив, что его деятельность «порочит честь и достоинство советского ученого». 31 августа в «Правде» было напечатано письмо группы известных писателей с заявлением против А. Сахарова и Александра Солженицына, причем среди подписавших это письмо были не только Михаил Шолохов, лауреат Нобелевской премии и ряд членов Секретариата Союза Писателей СССР, но и писатели Ч. Айтматов, В. Быков, С. Залыгин, известные как авторы либерального направления, активно сотрудничавшие ранее с Александром Твардовским и с «Новым миром».

Затем по определенной программе было напечатано в центральных газетах письмо большой группы академиков сельскохозяйственной академии (1 сентября), письмо членов ме-

Эта статья (под другим заглавием) напечатана по-английски в «Обсервер» 9 сент. с.г. Но в «Обсервер» текст статьи был сокращен. Мы печатаем оригинальный русский текст, присланный нам для «Н.Ж.» Ж. А. Медведевым. РЕД.

дицинской академии (2 сентября), большой группы композиторов и музыкантов (3 сентября), подписанное и такими известными композиторами как Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян, которые в прошлом сами подвергались гонениям. Эти коллективные письма дополнялись более резкими заявлениями рабочих, шахтеров, ветеранов войны, публиковавшихся во всех советских газетах, причем этим представителям «из народа» было позволено применять более сильные выражения и требовать лишения академика Сахарова тех почестей, которыми советский народ окружает своих ученых. Подобная организованная кампания может иметь одну цель — подготовить общественное мнение к более суровым мерам против Андрея Сахарова, чем просто критика в печати.

Не оправдалось и другое предсказание «экспертов» в области советологии. Тесно связанный с эмигрантской антисоветской организацией «Народно-трудовой союз» (НТС) журнал «Посев» после ареста Петра Якира в августе 1972 г. опубликовал на обложке портрет Якира и в статье «О борце и друге» сделал следующее предсказание «...Добиться покаяния — не выйдет. Судить... Скандальный политический процесс. Можно не сомневаться — органы правосудия постараются повернуть «дело Якира» быстро и бесшумно». Но уже в сентябре 1972 г. стало известно, что Петр Якир начал «раскаиваться» и рассказывать следствию всё, что было и то, чего не было. Процесс по «делу Якира» происходил с 27 августа по 1 сентября 1973 г. медленно и не бесшумно. Напротив, в советских газетах и в сообщениях ТАСС этому процессу уделялось небывало большое внимание. Подсудимые Петр Якир и Виктор Красин «покаялись» и подробно рассказывали о своих нелегальных связях с НТС и с эмигрантским издательством «Посев» и о том, что они были, по существу, платными агентами этой организации и поставщиками фальшивок для западных корреспондентов в Москве. Раскаиваясь в своем преступном сотрудничестве с контрреволюционной организацией «НТС», и заявляя о том, что они сумели найти истину с помощью следователей КГБ, Якир и Красин обвинили в «антисоветской» деятельности более 100 человек. Хотя ни тот ни другой из обвиняемых никогда не встречались ни с Солженицыным ни с Сахаровым, тем не менее и эти имена прозвучали на процессе в результате специально поставленных вопросов

прокурора. Обвинение было настолько ободрено сотрудничеством подсудимых, что получило от них заявление и о том, что все ранее направленные на Запад документы об использовании психиатрии в политических целях были фальшивками. Директор института психиатрии Академии медицинских наук СССР проф. А. Снежневский, вызванный в суд в качестве «эксперта» «подтвердил», что это были фальшивки, нанесшие вред советской психиатрии и что за 50 лет своей практики он не знает ни одного случая, когда здоровый человек был бы помещен в психиатрическую больницу. Это было, конечно, лицемерное заявление.

Суд над Якиром и Красиным закончился сравнительно легким наказанием, так как судьи учли раскаяние подсудимых. Но «дело Якира и Красина» далеко не закончилось. Ряд «свидетелей» после процесса были превращены в «соучастников» и недавно арестованы, так что всё говорит о том, что цепная реакция судебных процессов будет продолжаться.

Западные обозреватели и эксперты в области «советологии» еще долго будут задавать вопросы о том, почему столь быстро и столь просто было ликвидировано «демократическое движение», считавшееся реальной оппозицией? Почему мужественные «борцы за права человека», П. Якир и В. Красин, многие годы участвовавшие в издании подпольного журнала, от сотрудничества с НТС столь быстро перешли к сотрудничеству с КГБ? И что ожидает тех многих представителей советской интеллигенции, которые еще верят в то, что социализм может сочетаться с демократией, со свободой творчества, с созданием не только «детент» на высшем уровне, сохраняющим существующий равномерный рост баланса военного могущества двух, а в скором времени и трех сверхдержав, но и с настоящим сотрудничеством, при котором между странами будет происходить не просто обмен технической информацией и торговля, но и свободный обмен всеми формами культурных и интеллектуальных достижений людей?

Чтобы ответить на эти вопросы нужно вспомнить некоторые события недавней истории. Действительное развитие демократических тенденций в социалистических странах было связано с реалистическим анализом ошибок и преступлений сталинизма, начавшимся с известной речи Н. Хрущева в 1956 г. на XX Съезде КПСС. Этот процесс, происходивший

неравномерно в различных странах, достиг кульминационного периода летом 1968 г., после знаменитой «Пражской весны». В 1966-1968 г.г. осторожные попытки консервативных кругов в СССР хотя бы частично реабилитировать Сталина, вызвали отрицательную реакцию влиятельных представителей советской интеллигенции и некоторые из тех, кто выступают сейчас против Сахарова и Солженицына подписывали тогда не только письма о недопустимости оправдания преступлений Сталина, но и протесты по поводу суда над писателями А. Синявским и Ю. Даниелем. Обращение Солженицына к Четвертому Съезду писателей вызвало настолько широкую поддержку, что руководство Союза Писателей СССР разрешило редактору «Нового мира» А. Твардовскому опубликовать в журнале роман Солженицына «Раковый корпус». (Это разрешение было отменено в 1968 г. и набор романа был рассыпан). Могу также вспомнить и то, что моя книга по истории генетической дискуссии в СССР («Подъем и падение Т. Д. Лысенко»), которая сейчас объявлена «клеветнической», была в декабре 1967 г. единогласно одобрена для печати в издательстве «Наука» специальной комиссией Академии Наук СССР, состоявшей из 12 академиков и возглавлявшейся Вице-президентом АН СССР Н. Н. Семеновым, и включавшей академиков Н. Н. Блохина и С. Р. Мардашева, которые сейчас подписали письмо против академика Сахарова.

Но когда 21 августа 1968 г. полумиллионная армия вступила на территорию Чехословакии для «нормализации», эта «нормализация» неизбежно остановила и демократические процессы в СССР. Только небольшая группа «диссидентов», одним из организаторов которой был Петр Якир, решилась на проведение открытой демонстрации протеста на Красной площади. Когда несколько человек собрались на Лобном месте Красной площади, где их уже поджидали, чтобы арестовать, Петра Якира там не было. По его рассказу, который передавался в многочисленных легендах в зарубежной печати он был задержан милицией по дороге на Красную площадь. Но хотя **«попытка»** к совершению преступления карается по советским законам наравне с «совершенным» преступлением (это все знают по процессу группы евреев в 1970 г. задержанных еще на пути к аэродрому с целью захватить самолет), Якир не был осужден по делу о демонстрации и даже не был свидетелем на этом суде.

В очерке «Тайна переписки охраняется законом» (Макмиллан, 1972 стр. 586-589) я рассказал об одном человеке, который по непонятным причинам пользовался в Москве очень большой свободой в переписке с иностранными эмигрантскими центрами и получал по почте из-за границы литературу, которая на пути к другим адресатам обычно перехватывалась почтовой цензурой. Я рассказал и о том, как этот человек послужил причиной разгрома в начале 1968 г. небольшой группы демократически настроенных физиков. Хотя я и не делал вывода о том, что этот человек является провокатором, вывод этот напрашивался сам собой. Этот человек, назовем его начальной буквой его фамилии Г., в 1967 и в 1968 г.г. ездил за границу, где сравнительно свободно встречался с представителями ряда антисоветских организаций, выступая в роли друга некоторых советских диссидентов. В Москве Г. был известен еще и тем, что иногда раздавал некоторым писателям и ученым публикации «Посева» и НТС и старался познакомиться со всеми оппозиционно настроенными группами интеллигенции. К этому сейчас можно добавить и то, что Г. был близким другом Петра Якира и когда всем уже было ясно, что Г. — провокатор, Якир продолжал полностью посвящать его во все дела и с крайней враждебностью относился к предупреждениям по этому поводу. Когда Якир посещал в Москве иностранных корреспондентов, то он часто вызывал Г. и они вместе ехали на такси в иностранное «гетто» на Кутузовском проспекте. Пока Якир беседовал с иностранцами, Г. поджидал его в машине. В 1971-1972 г.г. у участников довольно неорганизованной «группы Якира» проводились обыски. Был проведен «обыск» и у Г., который после ареста Якира уже не имел связей с оппозиционными течениями. Но, хотя во время следствия по «делу Якира» были вызваны более 100 человек, Г. среди них не было. Более того, он не был даже исключен из партии и даже выговора не получил за свое более чем активное участие в «антисоветской деятельности».

Главное о чем спрашивал Г. во всех встречах с «диссидентами» — кто руководит созданием «самиздатного» журнала «Хроника текущих событий»? Уже с 1970 г. Петр Якир и сам не знал об этом, ибо стало очевидно, что все действия, все разговоры и все встречи Якира фиксировались соответствующими органами. Один мой знакомый не верил в возможность

подобной тотальной слежки. Тогда я предложил ему простой эксперимент. «Вот номер телефона Якира, — сказал я, — позвони ему и поговори о чемнибудь серьезном, предложи — «встречу с друзьями». После этого попробуй позвонить кому-либо еще и ты убедишься, что твой телефон отключен. Его тоже будут подсоединять к подслушивающему устройству, а это требует времени». Эксперимент имел полный успех. После разговора с Якиром телефон моего знакомого был отключен больше часа. Когда он стал работать снова, чистота звука исчезла, а голоса телефонных собеседников слышались немного тише. Прошло три года и хотя телефон моего знакомого работал нормально, он все еще относился к нему с недоверием — может быть, — думал он, — дело только в том, что техника подслушивания стала совершеннее, западный прогресс в области электроники вряд ли не был использован и для этой цели.

Но сами по себе публикация и распространение информационного «самиздатного» журнала не могут являться преступлением. Для классификации этих действий по статьям Уголовного Кодекса РСФСР нужно было бы доказать, что публикуемые в этом журнале материалы являются вымышленными и клеветническими, а они почти всегда были достоверны. Более простой путь для создания «преступного заговора», который был бы очевидным для большинства читателей советских газет, состоял в том, чтобы связать какую-то либеральную группу в СССР с открыто антисоветской эмигрантской организацией НТС, которая и по своему прошлому (сотрудничество с гитлеровцами во время войны) и по своему настоящему (публикация в своей программе и в ряде специальных статей в журнале «Посев» заявлений, оправдывающих террористические методы для подрыва советского строя), уже много раз создавала для КГБ необходимые прецеденты. «Идейно» связанное с НТС издательство «Посев» в ФРГ и издаваемые этим издательством на русском языке журналы «Посев» и «Грани» стали постепенно монополизировать в последние годы издания советского «самиздата». «Хроника текущих событий» стала регулярно публиковаться в ФРГ просто как «Специальные выпуски журнала 'Посев'». Этот журнал, бывший когда-то специализированным органом антисоветской эмигрантской группы, стал бес всяких оснований выступать в роли представителя всех оппозиционных групп в СССР, помещая на своих страницах не только статьи

из «самиздата», но иногда и очевидные фальшивки, составленные неизвестными авторами. Например, в январе 1970 г. в журнале «Посев» появилась грубая фальшивка — статья «Правда о современности», подписанная именем моего брата Р. Медведева и проповедывавшая примитивные троцкистские и маоистские идеи. Протест Роя Медведева, достигший редакции «Посева», не был опубликован. «Мы не уверены, — ответил в письме на мое имя секретарь редакции, — что является фальшивкой — опубликованная нами статья или полученный по почте протест». В результате этого Рой Медведев опубликовал свой протест в газете «Нью-Йорк Таймс» (от 26 апреля 1970 г.). Ответ «Посева», появившийся в «Ле Монд» (6 мая 1970 г.) имел столь же двусмысленный характер.¹

В 1971 г. издательство «Фонд имени Герцена» в Голландии опубликовало на русском языке «Программу демократического движения в СССР», написанную от имени «Организации демократов Прибалтики, Москвы и Украины», организации, которая никогда не существовала в действительности. Эта «Программа» по мнению многих моих друзей также являлась фальшивкой, написанной человеком весьма далеким от советской реальности.

Я не знаю насколько достоверны признания Якира и Кра-

¹ После публикации «объяснений» в газете «Ле Монд» журнал «Посев» не мог игнорировать протест Роя Медведева, но сообщил о нем в разделе «Редакционная почта» с различного рода насмешливыми примечаниями (Посев, № 5, 1970), стремившимися создать впечатление, что не опубликованная статья, а именно протест Роя Медведева является фальшивкой. Ответственный секретарь редакции журнала «Посев» А. Кандауров опубликовал вместо извинения письмо, адресованное Р. А. Медведеву, в котором, в частности, говорилось — «Конечно, и Вы и мы должны ежечасно считаться с возможностью провокаций. В частности, мы считаемся с возможностью того, что полученное нами за Вашей подписью заявление — тоже результат или часть провокации. На это указывает стиль письма и даже орфография».

«Посеву», повидимому, не очень понравился достаточно резкий стиль письма Р. А. Медведева. После этого я написал А. Кандаурову еще более резкое письмо, которое уже не могло бы вызвать у него сомнений в подлинности корреспондента. «Уведомление о вручении» вернулось ко мне с подписью Кандаурова, но текст письма уже не попал в раздел «Редакционная почта».

сина о прямых связях с НТС через направлявшихся в СССР иностранцев. Но нельзя удивляться, если эти показания соответствуют действительности. Я уже имел случай, находясь в Лондоне, выразить сомнение в подлинности одного «иностранца», посетившего от имени «Посева» в Москве несколько лет назад известного мне человека, причем с весьма необычной просьбой. В связи с моими сомнениями от издательства «Посев» последовал резкий протест. Один из лидеров издательства «Посев» В. Горачек определенно заявил, что этот иностранец действительно был направлен в СССР издательством «Посев». Главный редактор журнала «Посев» Лев Рар заявил недавно для газеты «Таймс» (1 сентября 1973 г.), что было бы неверно утверждать, что именно НТС управляет «Посевом» и что связь между ними является только идеологической.

Но я могу напомнить ему его же собственные слова на юбилейном собрании Издательства «Посев», опубликованные в журнале «Посев» в декабре 1970 г. «С того дня, — заявил Рар, — 3 июля 1945 года, когда в лагере перемещенных лиц под Касселем собралась группа единомышленников — членов НТС — и решила начать работать над созданием собственного издательства; с того августовского дня когда в новом издательстве вышла наша первая книга; с того 11 ноября 45 года, когда вышел первый номер нашего «Посева», наконец, с того августовского дня 46 года, когда вышел первый номер журнала литературы, науки и искусства «Грани» — пройден трудный и большой путь». (Могу добавить и то, что Лев Рар является членом Исполнительного Бюро Совета НТС).

Я должен отметить, что этот «путь» кончился тем, что оба журнала, да и все издательство «Посев» стало в последние годы слишком очевидно паразитировать на советском «самиздате», создавая для КГБ легальную основу для ликвидации этого «самиздата». С активностью НТС были связаны в последние годы несколько судебных процессов, включая и дело британского учителя Брука, который после четырех лет заключения в СССР был официально обменен на профессиональных шпионов, находившихся в британской тюрьме. Суд по делу Якира и Красина несомненно сильно дискредитировал некоторые демократические процессы в СССР. Но он еще раз показал, что помощь и поддержка реальным силам в СССР, стремящимся к настоящему научному и интеллектуальному сотрудничеству с

западными странами должны исходить прежде всего не от НТС и не от других специализированных «советологических» центров. Они должны осуществляться широкими слоями западной интеллигенции.

Попытки добиться в СССР определенных демократических реформ будут продолжаться. Но они теперь потребуют большей смелости, большей решимости и большей серьезности. Приобретенный печальный опыт показывает, что в ближайшем будущем значительно меньшее число людей сможет представлять своего рода «конструктивную оппозицию». Но влияние этих людей не будет определяться числом подписей под различными протестами.

А. Д. Сахаров, несомненно не будет молчать по поводу проводимой против него кампании, но нужно считаться и с тем, что репрессии могут коснуться и Сахарова, несмотря на его известность. Я не исключаю возможности высылки Сахарова из Москвы в какой-либо небольшой город, где будет затруднен его контакт с друзьями и с иностранцами. Для подобной меры нет необходимости проводить суд или исключение из Академии Наук СССР, хотя угрозу подобных действий следует принимать всерьез.

Академик Андрей Сахаров, когда он был избран в Академию Наук СССР 20 лет назад, был самым молодым членом этой академии за всю ее почти двухсотпятидесятилетнюю историю. Но его никто не знал, так как он работал в наиболее засекреченной области атомной физики. Трижды Сахарову было присвоено высшее в СССР почетное звание Героя Социалистического труда. Много раз получал он государственные премии. Но и об этом не было известно. Сахаров стал известен многим в СССР и за рубежом только летом 1964 г., когда он неожиданно на общем собрании Академии Наук выступил против псевдочеловека и шарлатана Трофима Лысенко. Это выступление Сахарова вызвало резкое недовольство Хрущева, всегда поддерживавшего Лысенко. «Академия Наук, — заявил Хрущев на официальном приеме, — должна заниматься наукой, а не политикой. Если Академия будет вмешиваться в политику, мы такую академию закроем». Но Трофим Лысенко и по сей день — Действительный член Академии Наук, хотя имя Лысенко стало нарицательным во всем мире для обозначения научного шарлатанства и авантюризма. В то же время академику Саха-

рову угрожают исключением из академии по чисто политическим мотивам. Если это случится и с протестом по поводу такого решения выступит «Посев», то никто в СССР не обратит на это внимание. Но если британские, американские и другие западные ученые, избранные ранее **почетными** членами Академии Наук СССР, заявят, что в случае исключения Андрея Сахарова из состава академии, они будут рассматривать свое пребывание в академии не как почет, а как позорную поддержку этой лицемерной организации, то такое заявление может повлиять на тех, кто оказывает на академию сильное политическое давление.

Жорес А. Медведев, 5 сент. 1973

БИБЛИОГРАФИЯ

В. В. ВЕЙДЛЕ. *О поэтах и поэзии*. ИМКА-Пресс. Париж, 1973 (203 стр.).

У нас много литературоведов-славистов и советских и западных, но почти нет литературных критиков и, вместе с тем, комментаторов и историков культуры на уровне В. В. Вейдле. Он стремится к тому, что теперь зачастую запрещается, к *пониманию* литературы и вообще искусства, и не боится иметь о нем свое собственное суждение. Он полностью владеет всеми методами формального анализа, а также ориентируется в истории, остро ощущает «музыку» времени. Его очерк, о петербургской поэтике дает, может быть, лучшую характеристику русской предреволюционной поэзии — «золотой поры» (как он говорит) т. н. серебряного века.

В 900-х г.г., в эпоху чаяний и вещаний символистов, пишет Вейдле, литературным центром была скорее Москва, хотя Мережковские, Сологуб, Блок жили в Петербурге. Около 1910 г. не только молодых петербургских поэтов, называвших себя акмеистами, но и многих символистов потянуло от расплывчатой романтики к предметности, к «прекрасной ясности», о которой писал Михаил Кузмин и к будничности, вдохновлявшей Иннокентия Анненского. Это и есть (в понимании Вейдле) петербургская поэтика, восходящая к Пушкину, к которому, после всех разочарований, умирающий Блок обратился с памятным посланием (Имя пушкинского дома / В Академии Наук). Это значит — пушкинская поэтика — не только акмеизм, но и многое другое, напр., поэзия москвича Владислава Ходасевича, который после революции переселился в Петербург. Суждения, вкусы Вейдле во многом определены, обусловлены петербургской поэтикой, но вместе с тем он стремится к объективности, которой нет и даже не может быть у многих писателей, отдающих предпочтение тому, что им близко в чужом творчестве. Так Гёте (пишет Вейдле) «завоевал себе право отвергать Гёльдерлина, Клейста, Жан-Поля — величайших среди младших современников». Но критик «должен ограничивать произвол своего выбора...»

Вейдле явно не любит всякие «чересчур» в искусстве, всё дисгармоническое, резкое, хотя бы и очень экспрессивное. Всё же, Вейдле-критик предельно объективный. Он сумел оценить поэзию Цветаевой, к которой был долго, по-петербургски, равнодушен. Многие

ее словосочетания он определяет, как жесткие, шершавые, но и очень выразительные, стихийные. Отмечу: термины эти классические и Вейдле напоминает, что Пиндара называли в Элладе «жестким» лириком. Жесткость он находит и в поэзии Пастернака. Но Пастернак (по его мнению) менее стихийен, чем Цветаева, менее «первичен» в своем вдохновении. Слова у Пастернака, отмечает Вейдле, «часто мешают слову, не дают ему высказаться». Отсюда — «выкрутасы», характерные для его ранних стихов, и их Пастернак впоследствии сам осудил. Вейдле утверждает, что после 1940 г. и в *Докторе Живаго* он нашел искомую им простоту. Не думаю: стихи он начал писать проще, внятнее, но его роман написан очень даже «притязательным» языком, хотя ему и хотелось писать просто, как Пушкин и Чехов.

Мандельштам, несомненно, мастер петербургской поэтики и Вейдле восхищенно комментирует его *Камень* и *Тристи*. Он признается, что не мог читать последние стихи Мандельштама, как читал те две книги. В стихах 30-х г.г., пишет Вейдле: «угадывается душевная мука, переходящая за пределы той, которая может быть выражена в искусстве». Всё же, пишет он, среди воронежских стихов есть вполне прекрасные.

Может быть, лучшая статья Вейдле посвящена мастеру ясной, четкой петербургской поэтики — Владиславу Ходасевичу. Вейдле убежден, что у Ходасевича есть не только всеми признанное мастерство, но и волшебство, точнее: он обладал «волшебным мастерством».

Очень хороша короткая статья об Ахматовой, о ее ранних стихах и о *Реквиеме*. Дополнение к этой статье находим в очерке о петербургской поэтике. А *Похороны Блока* дополняются недавней замечательной книгой Вейдле, посвященной Блоку. Ценно, что во всех своих очерках Вейдле делится и личными воспоминаниями о встречах со многими поэтами. Он проникновенно анализирует их творчество и, вместе с тем, поэты в его полу-мемуарных «эссе» живут и — слышатся их голоса.

Москвич Брюсов, пишет Вейдле, своим «капитальным ремонтом» обновил строительное дело, самые основы русской литературы, заложенные Пушкиным и давшие трещины в конце прошлого века. Это верно и хорошо, что у властного, холодного при всех своих страхах Брюсова, Вейдле выделяет его грустные, тихие и изумительные, будто бы даже нехарактерные для этого мастера, стихи: Цветок засохший душа моя. Вообще многое в своей критике Вейдле угадывает потому, что он и сам поэт.

В 3-м отделе книги — очерки Вейдле о поэзии. Вот его основная мысль: стихи делаются *не только из слов*, как уверял Малларме, а и из Слова. Слово-Логос — смысл, но не отвлеченный, а воплощенный

в звуках, без которых оно не может быть произнесено-поведано. Честь и слава Вейдле за эту простую «доктрину», разоблачающую пустоту т. н. формализма или структурализма, хотя Вейдле отнюдь не отрицает ограничительно-ценного формального анализа, которым владеет лучше, чем многие прославленные «киты» формального метода. Очень основательны и убедительны его комментарии к стихотворным текстам, к переводам стихов. У Вейдле целая драгоценная россыпь метких наблюдений, подтверждающих, что в звукомысле не исчезает смысл. Звукомысл — его собственный термин и очень удачный. Существенно, что он говорит о доверии к художнику, о вере в его искусство. Читатель, чтобы понять поэта, должен с ним хотя бы на время согласиться: «Не-христианин поймет Божественную Комедию, но при условии, что он сумеет вообразить себя христианином. Да и не религиозный это вопрос, а вопрос понимания поэзии как поэзии». Это — истинно, хотя и непонятно современным компьютерным литературоведам и почти лишенным интуиции ученым школы Ю. Лотмана.

Вейдле знал лично многих петербургских «формалистов», по заслугам ценил их, не соглашаясь с ними в самой основе их отношения к литературе и искусству. Он скорее по своей формации близок к таким немецким литературоведам как Шпитцер, Ауэрбах и Эрнст-Роберт Курциус, и многому научился у таких историков искусства, как Вёльфлин, Ригль. У них не было педантизма, свойственного многим русским «формалистам».

Нельзя не согласиться с простой и старой мыслью, о которой Вейдле постоянно напоминает: есть в искусстве смысл, есть — вопреки многим его бессмысленным истолкователям, и оно может и должно оцениваться интуицией и совестью (о чем недавно писала в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам). Еще на рубеже нашего века философы Виндельбанд и Рикерт утверждали, что некоторая субъективность неизбежна в гуманитарной области. Свои суждения Вейдле всегда подтверждает строгим анализом и, стремясь к объективности, — умеет понимать и чуждых ему поэтов. Пожелание: все очерки Вейдле о поэтике (помещенные в *Новом Журнале*, начиная с 100-го номера) тоже должны быть изданы книгой, которая, как и другие его труды, несомненно, найдет широкий отклик в России. Их также следовало бы перевести и на английский язык.

Юрий Иваск

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый Роман Борисович! Очень тронут тем, что Вы поместили в «Новом Журнале» рецензию коллеги Сечкарева на мою сравнительную историю славянских литератур. Я не имею обыкновения реагировать на рецензии моих работ. В данном случае я особенно хочу поблагодарить рецензента за упоминание им не упомянутых мною в книге русских писателей. Возможно, что это даст представителям «малых наций» понять, что я вовсе не писал какой-то «всеобщей истории славянских литератур» и покажет, что я вовсе не должен бы был упоминать десятки болгарских или белорусских писателей (иногда называются десятки имен), «заслуживающих внимания».

Но я несколько удивлен теми строками рецензии, в которых упоминается о моих критических (или просто отрицательных) замечаниях об американских университетах (будто бы в немецком оригинале моей книги их «еще больше», чем в английском переводе). Я таких замечаний не вижу и при писании книги ни о каких особенностях американских или иных университетов не думал. Сейчас, просматривая книгу, таких замечаний не нахожу. Если рецензент такие замечания нашел, то, по моему, он стал жертвой какой-то иллюзии. Об американских университетах, которые так различны и в которых работают несколько моих учеников и друзей, никаких замечаний я сделать не могу уже потому, что я с американскими университетами в общем мало знаком. Надеюсь, что это письмо спасет моих американских коллег и учеников от горького представления, что я их en bloc за что-то осуждаю.

Примите уверения в моем уважении и преданности.

Дмитрий Чижевский

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 111 «Н. Ж.» в публикации Л. Милн «К биографии М. А. Булгакова» дата на стр. 160 — Москва 4 февр. 1938 г. — относится не к письму А. Н. Поскребышеву, которое не датировано, а к предыдущему тексту, адресованному И. В. Сталину. И на стр. 169 («Примечания») дата убийства Я. А. Слащева должна, конечно, читаться 1929 г.

В кн. 111 «Н. Ж.» в предисловии к «Письмам М. В. Добужинского» напечатано: «его письма к Сомовым написаны с 1952 г. по 1959 г.». Должно быть: — «с 1952 по 1957 г.» РЕД.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Роман Гуль

ОДВУКОНЬ

СОВЕТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание: — От автора. — Читая «Август 14-го» А. Солженицына. — Цветаева и ее проза. — Победа Пастернака. — Георгий Иванов. — О творчестве А. Белого. — Об Илье Эренбурге. — Поэзия нарциссизма (Вл. Ходасевич). — А. Солженицын и соцреализм. — Книга Светланы. — Светлана и неандерталы. — О прозе Л. Ржевского. — Двадцать пять лет «Нового Журнала». — Сотая книга. — «Дунька» и Коряков. — Юлий Марголин. — Об инсинуации и русофобии. — Идея свободы — в русском народе. — Писатель и цензура в СССР.

Заметки о книгах: Ахматовой, Булгакова, Адамовича, Дундинцева, Вейдле, Окуджавы, Мочульского, А. Терц, Одоевцевой, Клюева, свящ. Ельчанинова. Кузнецовой, Чиннова, Цветаевой, Седых, Буниной, Краснова, гр. Зубова, Нарокова, кн. Щербатова, Космана, Бертенсона, Берберовой.

В книге 320 стр. Цена книги — 6 долл.

Книгопродавцам обычная скидка.

Заказы направлять: по адресу «Нового Журнала»
и во все русские книжные магазины.

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИЛЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1973 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1973 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
